Геннадий
Семенихин

НРАВОУЧИТЕЛЬНЫЕ сюжеты

г. Свердловск







Геннадий Семенихин

Нравоучительные сюжеты

Рассказы, повесть

«Современник»
Москва
1979

Семенихин Г. А.

С30 Нравоучительные сюжеты: Рассказы, повесть.— М.: Современник, 1979.— 285 с. (Новинки «Современника»).

Новый сборник известного советского прозаика Геннадия Семенихина включает в себя большой цикл коротких рассказов, объединенных общим заглавием, давшим название и всей книге. Рассказы посвящены теме человеческой твердости и мужества, теме любви, дружбы, новых человеческих отношений, рожденных социалистическим строем.

В книгу вошли также некоторые уже известные читателю рассказы и повесть «Послесловие к подвигу», неоднократно входившая в ранее изданные сборники писателя.

С $\frac{70302-156}{М106(03)-79}$ 58—79 4702010200 Р2

Нравоучительные сюжеты

Дорога

Мать вывела меня на залитый солнцем пригорок и указала на небольшую группку людей, медленно передвигавшихся по степи.

— Там работает твой отец,— сказала она.— Пойди и отнеси ему обед. Иди прямо по дороге.— Помедлила и прибавила: — Дорога ведет только вперед.

Я пошел. Мне было тогда всего шесть лет. С волнением отправился я в свое самое первое самостоятельное путешествие. Я был босой, и дорога тоже была босая. Ни гравием, ни асфальтом она не была покрыта. Только следы от телег да бричек. Но она действительно вела вперед.

Когда мне исполнилось восемь, в погожий сентябрьский день с ранцем за спиной я пошел по дороге в школу. На моих ногах были новые черные ботинки, и дорога, по которой я отправился в школу на свой первый урок, тоже уже не была босой. Руки людей придали ей профиль, а проезжую часть вымостили булыжником. Ее с гордостью называли шоссейной.

Когда мне было пятнадцать и я уходил на вступительные экзамены в техникум, я был обут в легкие парусиновые туфли, а дорога покрыта асфальтом. По ней было приятно шагать. Дорога вела вперед, и мне думалось только о будущем. В розовых мечтаниях представал тот день, когда дверь отчего дома навсегда закроется за мной и я поплыву по волнам непонятного и загадочного взрослого человеческого океана с его страстями, радостями и невзгодами.

Прошли годы. На суше, на море и в воздухе я исходил много дорог. Как-то, в глухую военную ночь, ле-

тел наш бомбардировщик к цели, прокладывая в звездном небе свой собственный курс. Оставалось совсем немного. Но грянули с земли вражеские зенитки и подбили мотор. Выхлопы дыма предупредили о том, что он скоро откажет. Самым безопасным было вернуться. Но под металлической обшивкой крыльев висели бомбы, а до порта, где притаились фашистские корабли, оставалось лететь не больше пяти минут, и командир экипажа по самолетному переговорному устройству запросил:

— Дойдем или вернемся?

— Дойдем! — ответил штурман.

А я в тесной, пахнущей металлом, рубке стрелка-радиста вспомнил залитый солнцем пригорок и ту босую, первую в своей жизни дорогу. Вспомнил, чтобы сказать:

— Дорога ведет только вперед!

Мы отбомбились, а потом вернулись на подбитом моторе на свой аэродром.

...Давно уже отгремела война. На полях былых сражений проложены новые дороги. Их тысячи тысяч. Бетонные, железные, асфальтированные. Каких только нет! У меня подрос сын. Недавно он пошел в школу.

— Иди и не бойся, мальчик, дорога ведет только вперед! — услышал он напутственные слова.

А мне подумалось, как много откроется перед ним новых дорог: на суше, на море, в воздухе и даже в космосе. Не все они будут гладкими и легкими. Но какую бы он ни выбрал, она поведет его только вперед!

Высота

Высота, высота! Подоблачная или заоблачная, озаренная солнцем или покрытая седыми тучами, высота, с которой даже в ясную погоду самые большие города, распростершиеся внизу темными контурами, кажутся вымершими, потому что не увидишь оттуда ни трамваев, ни тем более пешеходов,— разве не радуешь ты сердце летчика! И не может летчик, по-настоящему влюбленный в свою профессию, жить в долгой разлуке с высотой.

Павел Быков хорошо знал, отчего последние дни

в санатории проходили так медленно. Ни пляж с берегом, густо облепленным отдыхающими, ни ослепительно яркая зелень кавказской ривьеры, ни постоянные экскурсии в горы — ничто теперь не могло развеять его скуки. Павел ощущал, как стосковался по семье и товарищам, по раздольному полю аэродрома, по реву выруливающих на старт и взлетающих с бетонной полосы реактивных истребителей и по тем редким минутам затишья, когда слышались неумолчные трели жаворонков, этой «аэродромной» птицы, как шутя называли их летчики и техники.

Лежа на горячем песке, Быков лениво смотрел на взбитую ветром синеву морских волн, набегающих на берег. Мысленно он был уже в полку, видел себя докладывающим командиру, седоватому худощавому полковнику Бородину о возвращении из отпуска, садящимся в кабине истребителя на жесткое сиденье. Лишь вспомнив о майоре Глебове, Быков нахмурился. Это воспоминание пришло, как дождевая туча на ясное безоблачное небо. С Глебовым, тем самым Глебовым, с которым они в суровую зиму сорок первого года пришли в полк, провоевали до Дня Победы, в одном указе были награждены Звездой Героя Советского Союза, у них произошла размолвка. На первый взгляд, причина ее была не настолько серьезной, чтобы поколебать десятилетнюю дружбу. Он, Быков, никак не мог выпустить в самостоятельный полет молодого летчика, недавно окончившего военную школу. Потеряв всякую надежду на то, что этот лейтенант способен овладеть скоростной машиной, Быков написал подробный рапорт командиру полка, в котором докладывал, что новичок неспособный к летному делу человек и его следует перевести в легкомоторную авиацию. Полковник Бородин три дня не давал никакого ответа, но как-то строго посматривал на Быкова при каждой встрече. А потом созвал узкое совещание старших офицеров и в присутствии всех зачитал этот рапорт. Павел до сих пор помнит, как в руке у Бородина трепетал листок, исписанный его мелким почерком, а с тонких губ срывались сухие фразы.

— «Исходя из всего вышеизложенного,— медленно читал полковник,— я считаю, что ни последовательные тренировки, ни дополнительная индивидуальная работа

не помогут лейтенанту Кострикову овладеть техникой пилотирования на современном истребителе. Считаю, что его целесообразно перевести из истребительной авиации в малоскоростную».

Быков слушал и морщился, как от боли. «Какие сухие казенные слова». Но было уже поздно. Полковник отложил в сторону рапорт, и Павел ощутил на себе его суровый взгляд.

— Легко судите, майор Быков,— осуждающе произнес командир полка.— Не сумели воспитать и обучить, а теперь спешите отделаться. А вы задумывались над тем, имеете ли вы право на такой вывод?

— Полагаю, что имею,— упрямо возразил Быков.

И вот в эту-то минуту в разговор вмешался его старый друг майор Глебов:

— Разрешите два слова, товарищ командир?

Полковник кивнул головой.

— Говорите.

— Я думаю, что майор Быков принял далеко не все меры, чтобы подготовить лейтенанта Кострикова к полетам на реактивном истребителе.

— Вот как! — вспылил тогда Быков.— Так, быть может, вы его в свою эскадрилью возьмете, майор Глебов?

— И возьму,— отрубил товарищ.— Именно за этим я и обратился к товарищу полковнику.

А потом наступила развязка. Кострикова перевели в эскадрилью Глебова, и за какие-то полгода он стал довольно прилично летать на реактивном МИГе. Утверждение Быкова о том, что этот молодой офицер невосприимчив к летному делу, оказалось битым. Павел и сам уже видел, что ошибся грубо и непростительно, но обида на друга от этого только росла. «Нечего сказать, а еще вместе штурмовали пригороды Берлина! Разве он не мог разубедить по-товарищески. Сразу при всех старших офицерах полка полосанул».

Глебов пришел на вокзал провожать Быкова в отпуск как ни в чем не бывало, но прощание у них получилось сухое, натянутое, и теперь Павел плохо себе представлял, какой будет встреча.

День стоял солнечный, но ветреный. На железной дощечке, прибитой к столбу у входа на пляж, напротив слова «шторм» было написано мелом: «два балла».

Однако купающихся было много. Павел уже дважды бросался с вышки в соленую теплую воду. Покинул он пляж без четверти три, потому что ровно в три ему должен был позвонить старший брат Гордей, только вчера приехавший отдыхать в соседний санаторий. По размякшей от солнца асфальтовой дорожке Быков направился к белому зданию, окруженному эвкалиптами. На широкую лестницу с каменными ступенями падали тени. В пустынном холле ожесточенно звонил телефон. Дежурная сестра лениво сняла трубку, ворчливым голосом осведомилась:

— Кого вам? Героя Советского Союза Быкова? Вот он вошел.

Павел услыхал в трубке раскаты далекого веселого голоса:

— А ну-ка взгляни на циферблат, братишка. Можешь убедиться, что и мне свойственна ваша военная точность. Без одной три.

— Это делает тебе честь, Гордей,— улыбнулся Павел.— Когда же увидимся? Хочешь приехать сам? Давай, я буду ждать. Двадцать пятая комната.

Быков повесил трубку и пошел к себе. Едва успел побриться, за окном послышался скрип тормозов. Быков вздрогнул, потому что мысленно отдалял эту встречу. «Нет, не Гордей. Не мог он так быстро. От «Красной зари» до нас все-таки с десяток километров. Однако надо одеться». Павел открыл дверцу шкафа. Снимая с вешалки легкую выглаженную рубашку, задел локтем висевший рядом китель. Мелодично зазвенели ордена под Золотой Звездочкой. Быков взглянул на свои сильные загорелые руки со следами обгоревшей кожи и, подумав о предстоящей встрече, ощутил легкое волнение. В глубине души, в чем он и сам признавался себе весьма редко, Павел считал своего старшего брата Гордея неудачником, и для этого, как ему казалось, имел все основания. В самом деле, у Гордея, которому сейчас было под сорок, жизнь сложилась не совсем удачно. Юношей он поражал всех своими артистическими способностями. Если в городском Дворце культуры показывали «Отелло» или «Без вины виноватые» зал битком набивался зрителями, и все они восторженно аплодировали крепко сложенному юноше с резко очерченными плечами, игравшему заглавные

роли. Это и был десятиклассник Гордей Быков, сын старого шахтера Игната Петровича Быкова. Гордей отлично учился, слыл хорошим физкультурником, в особенности увлекался конным спортом. Но больше всего его тянул к себе театр.

Преподаватель математики Михаил Васильевич Пирогов, которого ребята сокращенно называли меж собой Михвас, обучавший Гордея и Павла, нередко стирал с лица слезу, любуясь на сцене старшим Быковым.

Однажды в далекий уральский город приехал знаменитый трагик, уже поседевший старик с умными проницательными глазами. Его звали на один из самодеятельных спектаклей. Гордей в тот вечер играл особенно сильно, хотя одна только мысль о том, что за ним наблюдает человек, способный сразу же вынести приговор, приводила его в трепет. После спектакля, когда зал опустел, этот артист вместе с директором шахты подошел к Гордею и положил ему руку на плечо.

— Можете далеко пойти,— сказал он скупо,— но для этого нужен труд, ой какой труд! Если не боитесь, приезжайте в Москву учиться. Поддержу.

Этот вечер и решил судьбу Гордея. После десятилетки он уехал в Москву. Учился Гордей на отлично, несколько раз уже выступал в эпизодических ролях на сцене одного из столичных театров, прислал на родину две вырезки из газет с рецензиями, где одобрительно отзывались и о нем. Но потом в семье Быковых произошло несчастье. Проводя отпуск в родном городе, Гордей решил участвовать в скачках с препятствиями. Времени для тренировки было мало, а навыки в джигитовке он уже растерял. В самую ответственную минуту перед прыжком через «гробик» лошадь испуганно вздыбилась, и он выпал из седла, больно ударившись о деревянные брусья. Два года после этого пролежал Гордей с поврежденным позвоночником, а когда встал на ноги, от прежней силы остались лишь большие с широкими твердыми ладонями руки, которыми часто во время ходьбы приходилось ему опираться теперь на палку.

Выжив после несчастья, Гордей не мог уже мечтать о сцене и, окончив педагогический институт, остался в родном городе преподавателем русского языка и ли-

тературы в той самой средней школе, где учился сам.

Последний раз братья виделись в сорок пятом. После войны, получив Золотую Звезду, Павел вместе с женой Наташей и сыном приехал на родину в отпуск. Наташа быстро подружилась с женой Гордея, тоже учительницей. Гордей преподавал всего лишь четвертый год. И хотя он с радостью отзывался о своей новой профессии, по всему чувствовалось, что в душе у этого человека еще не зажила тяжкая рана и он постоянно испытывает зависть ко всем физически полноценным людям. Так, по крайней мере, думалось младшему брату сейчас, когда он вспоминал свою последнюю встречу с ним.

Погруженный в раздумье, Павел не сразу откликнулся на осторожный стук в дверь. В комнату, заметно прихрамывая, вошел Гордей в крестьянской косоворотке, давно вышедшей из моды, подпоясанной узким ремешком, и расшитой тюбетейке на белокурой голове. Братья обнялись, а потом Гордей, все так же хромая, но стараясь не опираться на толстую самшитовую трость, которую держал в руке демонстративно приподнятой над полом, слегка попятился.

— А поворотись-ка, сын, как говаривал Тарас Бульба,— пробасил он.

Братья внимательно рассматривали друг друга. Были они очень схожи: оба широкоплечи, белокуры, с упрямыми складками в углах рта и глубоко посаженными серыми глазами. Только Павел выше Гордея ростом. Но это лишь казалось от того, что поврежденный позвоночник заставлял его ходить как-то косо, наклоняясь в правую сторону.

— Я думал, что ты встретишь старшего брата при полном параде,— укорил Гордей, усаживаясь на пододвинутый стул.

— Так ведь тридцать два по Цельсию,— махнул рукой Павел.

— Это не ответ,— укоряюще возразил брат.

Они стали расспрашивать друг друга о семьях, о службе. Размахивая руками, Гордей описывал брату недавно отстроенное новое здание десятилетки.

— Понимаешь,— горячился он,— ни чердаков, на которые мы когда-то забирались курить тайком ото всех, ни узких лестниц, все светло, окна выходят на ре-

ку и в сад... вид, как в санатории. А шахту ты бы и совсем не узнал. Подземный дворец, а не шахта. Встал бы наш батька из гроба да посмотрел на угольный комбайн второй половины двадцатого века, слеза бы его прошибла.

Всматриваясь в загорелое лицо брата, Павел с удовлетворением отмечал про себя необычную перемену. Гордей опять стал таким же шумливым и веселым, каким был в юности. Горестные складки больше не собирались над его переносьем и в жестах сквозил прежний задор. Раньше он не любил вслух говорить о своем недуге, болезненно морщился, когда приходилось в присутствии других брать в руку палку. А теперь он шутливо поигрывал расписанной по-кавказски самшитовой тростью, будто носил ее лишь для украшения. Эта перемена радовала Павла, ожидавшего увидеть брата таким, каким он был при последней их встрече: сдержанно вежливого внешне, подавленного и удрученного душевно. Гордей с интересом расспрашивал Павла о системе слепой посадки и полетах на первых реактивных конструкциях. От приглашения отобедать в столовой решительно отказался, но когда брат достал из шкафа заранее приготовленную бутылку армянского коньяка, открыл сардины, тонкими ломтями нарезал колбасу и сыр, глаза у Гордея заблестели:

— Вот это отлично, Павлик. Пропустим ради встречи по рюмочке, не взирая на субтропическую жару.

После первой Гордей покраснел, достал старомодный клетчатый платок и отер вспотевший лоб.

— Покурим?

Павел подал пачку «Северной Пальмиры», но брат отвел его руку.

— Благодарствую, у меня свой самосад... наш, уральский. Хочешь и тебя угощу, если, разумеется, старшим офицерам не зазорно самосад курить на шестом послевоенном году.

— А разве от этого этикет фронтового офицера пострадает,— засмеялся летчик и стал с удовольствием сворачивать самокрутку. Две струйки дыма встали над их белокурыми головами.

— А ты не замечаешь, что я теперь повеселел! — с вызовом спросил Гордей.— Ведь наверняка помнишь, каким я был при последней нашей встрече? Вы небось

меня жалели с Наташей, думали, что до гробовой доски буду тосковать о случившемся? Сознайся, жалели?

— Было,— коротко подтвердил Павел и вопрошающе посмотрел на брата. Он никак не ожидал, что сразу начнется этот откровенный разговор. Гордей, заметив его смущение, понимающе покачал головой:

— Вот и сейчас для тебя неожиданность эти мои слова. А ведь в них больше закономерности, чем неожиданности. Послушай, Павлик. Бывают у человека события, ломающие его характер, психологию, душевные силы. Ты летчик, и это тебе не надо объяснять. Небось и ты в первый воздушный бой вступал совсем не таким, каким в последний. И нервишки сдавали и сердце екало. Вот и у меня так. После катастрофы в годы войны я в педагогическом учился. И как было горько сознавать, что ты неполноценный человек, что инвалидность отдаляет тебя от людей, защищающих твой дом и твою судьбину. Каждой фотографии фронтовика, появившейся в газете, завидовал. И одна мысль все время точила: а разве ты не мог быть таким, если бы не поврежденный позвоночник? Ведь и сила какая была. Ведь помнишь, Павлик, как я подковы голой рукой на спор гнул... ну, вот.— Гордей закашлялся, и большой кадык на его шее пришел в движение. Помолчав, выпустил облако горьковатого самосадного табачного дыма.— А учительская доля нелегко мне поначалу давалась. Ой, как нелегко. Сам понимал, что на моих уроках ребята были рассеянными и равнодушными. Это и вовсе выводило из равновесия. Нет, думал, ни Ушинского, ни Макаренко никогда из тебя не выйдет. Однажды чуть не расплакался с досады в пустой холодной учительской. Долго в ней просидел с поникшей головой. Помню, за окнами уже мелькали звезды, когда на мое плечо легла чья-то рука. Глаза поднял — надо мной доброе лицо седого Михаила Васильевича. И голос его добрый, все понимающий. «Что, плохо?», «Плохо, Михаил Васильевич», «Не получается?», «Не получается», «А вы знаете почему? Потому что вы еще и не представляете, какой великий и благородный наш труд, поставить девчонку или мальчишку на ноги, сделать настоящим человеком. Их сорок в классе, и все они сливаются у вас в глазах. А вы научитесь различать каждого, знать его душу, тогда все пойдет как по

маслу. Я письмо получил сегодня с фронта, и оно для меня дороже любого ордена. Сколько я с ним бился в свое время, каким неподдающимся считал. И вот за все мои старания благодарность,— он протянул мне листок, и я прочел подчеркнутые старым учителем слова.— «Дорогой Михаил Васильевич! Пишет вам тот самый детдомовец Костя Волков, который столько раз выводил вас из себя. Если вы успели поседеть, то считайте, что половина седых ваших волос на моей совести. Но вы сделали меня человеком. Я не знаю ни отца, ни матери. Сейчас моя танковая рота готовится форсировать Днепр. Подошел в сумерках начальник политотдела и сказал: «Слушай, старший лейтенант Волков. Ты должен первым провести своих танкистов по переправе. Это трудно и очень опасно. Но когда ты пойдешь сквозь завесу вражеского огня, думай о самом для тебя любимом человеке, о том, что ты идешь в бой за него, и тогда никакая смерть не будет страшна. И не важно, кто это будет: отец, мать или жена, лишь бы это был самый дорогой тебе человек». Я его выслушал и ответил: «А у меня нет ни отца, ни матери, ни жены». Начальник политотдела несколько растерялся: «Так кто же у тебя самый дорогой человек на нашей советской земле?» И тогда я ответил: «Наш классный руководитель Михаил Васильевич». И вот эта беседа, Павлик, душу мне перевернула. Откуда и силы взялись, и слова на уроках не казенные, а душевные, бьющие в самую точку. Словом, та минута, вернее, тот вечер в холодной учительской и добрый Михаил Васильевич опять толкнули меня к жизни.

Летчик вглядывался в зарумянившееся лицо Гордея, преображенное вдохновением, видел улыбку в заблестевших глазах и больше не ощущал неловкости оттого, что он здоровый, полный сил и бодрости присутствует при этой исповеди родного брата, физически надломленного на всю жизнь. Павел потянулся к бутылке и вновь наполнил рюмки.

— А как ты теперь с Михаилом Васильевичем? По-прежнему в большой дружбе? Я ведь тоже когда-то у Михваса учился.

Улыбка сбежала с лица старшего брата, и он тяжко вздохнул.

— Теперь как и прежде. А вот в прошлом году

серьезно поссорились, и это было для меня опять-таки испытанием характера.

— Из-за чего же?

— Разошлись в оценке одного ученика,— медленно проговорил Гордей,— что нередко бывает в учительской практике. Учился у нас в седьмом «А» Миша Белогривов, хилый болезненный мальчик. Был отличником, потом сполз на двойки. На педсовете Михаил Васильевич обрушил на него свой гнев, поставил вопрос об оставлении на второй год. Я промолчал, но в душе с ним не согласился. Хотелось все-таки узнать, что же мешает этому Мише Белогривову. Познакомился с ним поближе и увидел, что мальчик во многом не виноват. Невеселая жизнь у него сложилась. Мачеха паренька заедает, отец пьет горькую. Прежде чем делать выводы, надо было в быт этой семьи вмешаться, а Михаил Васильевич этого не сделал. Вот я и срезался с ним на следующем педсовете. Долго потом в душе терзался вопросом, а верно ли сделал, имел ли право покритиковать такого опытного педагога, у которого сам учусь и еще долго буду учиться. Ведь кто я такой? Учитель с пятилетним стажем, а он половину жизни своей отдал школе. Два его ученика Герои Советского Союза, один в доктора наук вышел. И все же чувство долга заставило выступить против. Долг, Павлик, не обязаловка какая-нибудь. Это выше. Меня никто не принуждал вмешиваться в это дело. Миша Белогривов ученик из другого класса, ответственности за который я не нес. Я бы мог спокойно закрыть глаза, сделать вид, будто ничего не замечаю, оправдаться перед собственной совестью. Да ведь совесть, она какая. Не позволила мимо пройти. Ведь речь шла о живом формирующемся человеке. Мы должны были сделать его хорошим полноценным гражданином, на второй-то год оставить легче всего. Вот я и распалился, нашумел.

Весь педсовет был на моей стороне, кроме одного Михаила Васильевича. Неделю он со мной не разговаривал и не здоровался. Даже в учительскую избегал заходить, если видел в приоткрытую дверь мою палку у вешалки.

Гордей затушил в пепельнице самокрутку и покосился на рюмки.

— Может, допьем, братишка?

— Стоит ли торопиться,— остановил его Павел.— Коньяк не чай — не остынет.

Гордей, улыбаясь, посмотрел на жаркое солнце, стоявшее за окном в безоблачном голубом небе.

— Опасность иная, ведь может согреться,— пошутил он.

— Нет, Гордей,— упорствовал брат,— сначала доскажи, чем все это у вас кончилось.

Гордей медленным движением руки пригладил растрепавшиеся волосы:

— Любопытно кончилось. Целую неделю старик при встрече со мной хмуро отворачивался. Я уже потерял всякую надежду, что мы с ним найдем когда-нибудь общий язык. Чувствовалось по всему, что его человеческую гордость я оскорбил до самой глубины. Видно, он и ночей не досыпал, думая о педсовете. И вдруг в один из дней, когда я медленно ковылял домой, услыхал за спиной легкий хруст снега. Сразу подумалось, человек меня догоняет изо всех сил, потому что дышит он тяжело. Оборачиваюсь и вижу седые усы Михаила Васильевича и его поблескивающие очки. «Гордей Игнатьевич,— окликнул меня старик,— остановитесь, пожалуйста, на минутку. Ну и шагаете же вы, целый километр за вами гонюсь». Какая-то добрая беззащитная улыбка тронула его губы. Старик приблизился и положил руку на мое плечо. «Гордей Игнатьевич, вы должны меня простить. Вы преподали мне справедливый, хотя и несколько жестокий урок. Правда часто жестока и нелегко воспринимается тем, кому она адресуется. Я не исключение, потому что тоже поболел и посердился на вас. Вы правы, Гордей Игнатьевич, давайте вашу руку. Видно, я устарел, совсем устарел, если перестал понимать азбучные истины. Ошибся я, неправильно отнесся к этому Мише Белогривову». Кончилось тем, что он завернул ко мне на обед, засиделись мы до глубокой ночи, и с тех пор дружба у нас еще крепче пошла. И пареньку стало лучше, создали ему все условия, хорошо он окончил класс.

Гордей улыбнулся и взглянул на брата.

— Поди, надоел тебе своими рассказами? Давай выпьем все-таки. Отменный коньяк. Надо будет с собой пару бутылок захватить. Одну себе, одну Михаилу Васильевичу. Старик по воскресным дням употребляет

рюмочку, говорит, от нее здоровья прибавляет. А в лютые морозы с крепким чаем по старинке пьет.

Павел притронулся к большой тяжелой ладони старшего брата с синими вздутыми жилами.

— Ты меня этим своим рассказом никак не мог утомить. И знаешь почему? У меня в жизни похожее недавно произошло.— Гордей смерил брата внимательным заинтересованным взглядом. Все больше и больше проникаясь к нему уважением, Павел вдруг подумал о том, что вот сидит перед ним человек, которому ничего не утаивая можно все рассказать о своей уязвленной гордости. И он подробно, удивляясь тому, что это получается как-то легко, будто речь идет вовсе не о нем, а о каком-то третьем, мало знакомом ему человеке, поведал о своей размолвке с Глебовым.

— С меня ведь спрос малый,— закончил он с неловким смешком.— Взлетел, покрутился в воздухе и сел. Тут и финита. А ты — учитель, одно слово что стоит. Может, и мне дельное подскажешь?

Гордей скатал хлебный шарик, спросил в упор:

— Стало быть, всерьез поссорились?

— Да нет,— вздохнул младший брат.— Поссорились не то слово. Внешне все осталось, как было. Любезно разговариваем, даже с женами ходим по праздникам в одни и те же компании. Но вот, понимаешь, осталось что-то такое на сердце. Накипь какая-то. Я, разумеется, понимал, что правда не на моей стороне, но мучила другая мысль. Почему Глебов не мог меня поправить по-другому. Ведь мы же старые товарищи. Когда-то в дни войны я сам водил его в боевой полет, спас однажды от «мессера», зашедшего в хвост. Разве во имя дружбы не мог он поступить по-иному, не ставить вопрос так резко.

— Нет, нет,— вдруг прервал брата Гордей и даже застучал тяжелой самшитовой тростью об пол,— о мягкости не может быть и речи, надо бояться этой мягкости, если речь идет о долге. Стал бы Глебов тебя уговаривать мягко, ты бы с ним попросту не согласился. У него характер сильный, но и у тебя не слабее. Вы же, черти, оба летчики! А если бы ты не согласился, то и ошибка осталась бы неисправленной, и человек пострадал.

— Легко судить,— запротестовал Павел,— а мне-то

как. Столько лет дружили, и вот... теплота, искренность, где они? Будто кто выкрал. Словно кошка начала меж нами дорогу перебегать и остановилась, а никто ее назад не повернет.

— В этом ты прав,— кивнул Гордей.— Трудно кошку с дороги дружбы заворачивать. Только пойми, что кто-то один из вас должен сделать это первым.

— Он не сделает,— убежденно заметил Павел, имея в виду Глебова.— Он гордый, да и к тому же прав.

— Значит, первый шаг должен сделать ты.

— Ты думаешь? — встрепенулся Павел.

— Не думаю, а уверен,— подтвердил старший брат.— В такой ситуации надо поломать в себе ложный стыд, Павлик. Согласен, что это тяжело бывает. Так же тяжело, как и воздушный бой в небе выиграть. А может, и еще потяжелее.

— Потяжелее,— в тон ему вымолвил Павел.— Самое тяжелое это наступать на самого себя.

— Ну, вот видишь, понятливый ученик,— засмеялся Гордей и, поднявшись, захромал по комнате без своей трости.— Впрочем, тебе виднее: легче или трудней. Ты уже у меня высоко летаешь, тебе и карты в руки.

Он опять подошел к стулу, на котором сидел младший брат, ласково взъерошил ему волосы. Но тот отрицательно покачал головой.

— Нет, Гордей, я ниже тебя летаю. Это ты со своей самшитовой клюкой высоко летаешь на высоте человеческой,— взволнованно проговорил летчик, стараясь не глядеть в упрямые глаза брата. Он чувствовал в глубине души, что новой неизведанной силой наполняет его этот прямой откровенный разговор.

Был уже поздний вечер, когда братья стали прощаться. Павел проводил Гордея до автобусной остановки, ласково поддерживая его за локоть.

— Слушай, Павлик,— вдруг озорно воскликнул Гордей.— Вот бы сейчас песню сыграть. Ну хотя бы нашу «Рябинушку» уральскую, что ли. А то «С неба полуденного жара не подступись, конная Буденного рассыпалась в степи».

— Что ты,— рассмеялся летчик,— милиционер арестует. Сейчас же борьба за тишину.

— Значит, и про Буденного нельзя?

— Нельзя. И про Буденного.

— И с гармошкой пройти нашей уральской, на клавиши ее подавить?

— Тоже нельзя.

— Жаль. Когда-то и я очень любил с гармонью пройтись по окраине и песню спеть. Придется отложить. Чего доброго, попадешь на стенд с великолепным названием «Они позорят город-курорт».

Гордей еще больше развеселился, снова попытался пройти несколько метров без помощи трости.

— Видишь, как у меня получается. Еще десятка два ванн, и я взапуски со своими школьниками буду бегать.

Подошел большой голубой автобус, и Гордей занял место у окошка.

— Ты же смотри,— крикнул он брату сквозь шум заведенного мотора.— Первое, когда приедешь, протяни руку товарищу.

— Обещаю,— откликнулся Павел, но этого слова старший брат, очевидно, не расслышал, потому что голубой автобус качнулся и быстро проплыл мимо летчика. В освещенном окне Павел в последний раз увидел Гордея, махавшего на прощанье ему рукой. Проводив автобус, Быков медленно побрел по набережной, с наслаждением вдыхая прохладный солоноватый воздух. Покрытое темной летней ночью море с шумом плескалось о песчаный берег. Где-то высоко в звездном небе прогудел самолет, и его два маленьких огонька, зеленый и красный, опять напомнили майору Павлу Быкову о скором возвращении в далекий отсюда город, где базировался его родной полк. И Павел подумал о том, что вскоре и он так же вот высоко пролетит над землей в первом после отпуска учебно-боевом полете в одной паре со своим товарищем Глебовым, вновь и вновь переживая радостное ощущение покоряемой высоты.

Иван Пташкин

Совсем недавно на одном из самых глубоких эскалаторов старого таганского метро меня обогнал невысокого роста генерал-майор авиации с Золотой Звездой

Героя Советского Союза и орденскими планками на кителе, вероятно куда-то очень спешивший, потому что он прыгал через две-три ступеньки, совсем не беря в толк солидно это или не солидно применительно к его высокому воинскому званию и возрасту. Обгоняя, он бросил на меня короткий пристальный взгляд, а я вдруг заволновался и подумал: где я уже видел эти невозмутимо-беззаботные глаза, чуть заостренный нос, добрый мягкий подбородок, с ямочкой, и все лицо, худощавое и до боли знакомое, несмотря на морщины и складки, порожденные тремя десятками прожитых после войны лет.

И память тотчас же высекла: Двоевка. Кто же забудет осень сорок первого года, когда любая встреча с людьми, идущими вместе с тобой горькими дорогами отступления, врезалась в сознание навечно.

Выйдя из метро, я нагнал генерала, а когда был на расстоянии трех-четырех шагов, тот внезапно остановился, так что я на него буквально налетел. Генерал обернулся и захохотал:

— Ну, что? Озадачил?

— Пташкин... Ванюшка! — воскликнул я, хмелея от радости.

— А ты думал, что не узнаю тебя, Шорников,— откликнулся генерал весело, и мы обнялись.— Айда ко мне,— предложил он.— Мои в Сочи уехали, квартира пустая. Посидим по-мужицки одни, былое житье вспомним. У меня, правда, одно неотложное дельце, но я его с помощью телефона обтяпаю, и баста.

Через полчаса я сидел в его трехкомнатной квартире в одном из тихих таганских переулков. Следы плохо стертой пыли убеждали в том, что муж далеко не ревностно выполняет заповеди уехавшей жены. Пока Иван (отчество его я забыл, потому что было бы смешно, если бы мы, девятнадцатилетние, называли друг друга в сорок первом году по отчеству) накрывал на стол и готовил на кухне фирменное холостяцкое блюдо — яичницу с салом, я вспоминал его судьбу, которая чуть было не закончилась трагически, и чего-чего, но того, что он станет генерал-майором авиации, я бы никогда не смог предвидеть.

В ту пору над Вязьмой и расположенным вблизи от нее нашим аэродромом Двоевкой стояла изумительная

осень. Она не хотела считаться ни с кровопролитными боями, ни с пожарищами, ни с горечью обездоленных, потерявших кров людей, горестными толпами уходящих с насиженных мест на восток.

Ваня Пташкин прибыл в наш полк с небольшой группой сержантов, только что окончивших школу летчиков-истребителей. Но если другим везло, то ему никак. В первом бою он оторвался от строя и пришел на аэродром один с десятиминутным опозданием, озадачив тем самым нашего командира полка геройского майора Логвиненко, сбившего за первые месяцы войны десять вражеских самолетов, что было тогда чуть ли не рекордом на фронте. Шлепая себя кожаной крагой по голенищу сапога, что было признаком его наивысшего гнева, Иван Игнатьевич свирепо приговаривал:

— Нет, из этой пташки орла никогда не сделаешь! Ох и наградила же судьба меня кадром!

А на следующий день случилось это. Возвращаясь из третьего по счету полета, по непонятным ни для кого причинам Иван Пташкин принял рулежную дорожку за посадочную полосу и по всем правилам осуществил на нее заход. Разбив на куски два совершенно исправных истребителя и повредив третий, он, к счастью для себя, отделался лишь легкими ушибами. Майор Логвиненко хватался за кобуру с недвусмысленным видом.

— Расстреляю!— кричал он.— Собственными руками расстреляю паршивца. Пусть что хотят потом со мной делают. Шутка ли сказать, какое преступление сотворил щенок. Фашистский целый полк такого урона не мог бы за одну атаку нанести. Вывести из строя четыре самолета и в такое время!

Ярость командира полка перешагнула все апогеи, когда, обернувшись, он увидел, что только что совершивший такое преступление мальчишка, сняв пилотку, спокойно ловит в траве кузнечиков.

Вечером приехал следователь военной прокуратуры и по всем правилам снял допрос.

— Я вас пока не арестовываю,— грустно заключил он,— но за пределы части прошу не отлучаться, иначе осложните свою судьбу.

Ночью в нашей землянке никто из молодых летчиков не мог заснуть. Иван беспокойно ворочался с боку на бок и наконец спросил:

— Как вы считаете, ребята, меня расстреляют?

— Не думаю,— ответил сержант Крошкин после долгого всеобщего молчания.— Скорее, пошлют на передовую. И треугольники снимут при этом с петлиц.

— Это бы еще хорошо было,— заключил Пташкин, но тут же с обычной своей детской беззаботностью прибавил: — А впрочем, давайте спать. Утро вечера мудренее.

А утром мы проснулись от ожесточенной зенитной пальбы и, поспешно одевшись, высыпали из землянки. Все замерло на аэродроме. В лучах утреннего солнца мы увидели, как заходили на самолетные наши стоянки двенадцать двухкилевых «Мессершмиттов-110». У входа в штабную землянку, схватившись за голову, метался командир полка Логвиненко. Наши короткокрылые истребители И-16, сиротливо прижавшись к земле, ожидали своей гибели. Взлетать в такой ситуации было самоубийством. И вдруг от нашей землянки в сторону самолетных стоянок метнулась чья-то щуплая невысокая фигурка.

— Назад! — яростно закричал майор Логвиненко, поднося к губам рупор.— Назад, кому говорю!

Но бежавший не оглянулся. Без шлема, в одной пилотке, он впрыгнул в стоявшую на правом фланге командирскую машину, отмеченную красной ломаной стрелой, и быстро запустил мотор. Фашисты уже делали третий разворот. А когда смельчак взлетел прямо со стоянки, поперек летного поля, пара «мессеров» устремилась в атаку. Он поднялся под пушечными очередями, рискуя ежесекундно быть расстрелянным в упор, и, не сворачивая, атаковал в лоб ведущий фашистский самолет. Нам казалось, эта атака длится целую вечность. Многие отводили глаза в сторону, и обычная картина осени сорок первого года рисовалась им. Падающий истребитель, прошитый фашистскими очередями, взрыв, столб пламени и черного дыма над летным полем. И вдруг, когда уже оставалось несколько секунд до столкновения, фашистский флагман скользнул в сторону, потерял высоту и врезался в землю. А смельчак атаковал другой «мессершмитт» с какого-то немыслимого и совершенно неграмотного разворота. Короткая трасса разрубила фашистскую машину пополам. Трудно сказать, отчего именно паника обуя-

ла остальные экипажи, но все оставшиеся десять самолетов врага развернулись на сто восемьдесят градусов.

Мы опомнились, когда командирский И-16 зарулил на стоянку, но были как громом поражены, когда увидели, что из тесной пилотской кабины «ишачка» в одних тапочках и неподпоясанной гимнастерке вылез Иван Пташкин и бросился к командиру полка докладывать о своей первой победе.

— Да разве можно такого орла отдавать под суд! — закричал майор Логвиненко, заключая летчика в объятия.

...— Яичница поспела,— прервал в эту минуту мои воспоминания генерал Пташкин.— Смотри, какая поджаристая корочка на сале. Бери нож с вилкой и начнем орудовать. Да ты чего такой мрачный? — неожиданно спросил он так, словно бы пистолет ко лбу моему приставил, и тут же рассмеялся.— Знаю, знаю, про ту историю мою вспомнил. Да, была история,— продолжал он задумчиво.— Ох, как тяжело дались мне эти первые два сбитых самолета. Но ведь после них были еще двадцать шесть, ибо если бы их не было, то, как ты сам понимаешь, не был бы я ни генералом, ни тем более Героем Советского Союза.

— Но ты же шел тогда на явную гибель, Иван. Взлетать под пушечными очередями двенадцати таких вооруженных стервятников это все равно, что на расстрел идти.

— Вот я и шел,— неожиданно прервал меня Пташкин и печально улыбнулся. А я вскочил:

— То есть как это?

— А ты что же думал: мужество, отвага, беспредельная смелость и так далее. Нет, брат. Я ведь погибнуть хотел всего-навсего. Но погибнуть достойно, не по приговору военного трибунала. Чтобы семье не было за меня стыдно. Семья у нас хорошая: отец был красногвардейцем, старший брат на КВЖД смертью храбрых пал, сестра первая в районе ударница... разве ж такую семью можно было позорить. Вот я и полез в эту кашу. А потом такая ярость взяла. Неужели, думаю про фашистов, вы такие непобедимые, неужели вам морду набить нельзя. Вот и победил. А вообще, сложная штука человек, и даже сам не всегда разбе-

решься в побудительных причинах твоих собственных поступков.

...В тот вечер мы долго просидели над сковородой с холодной яичницей и двумя, налитыми по верхнюю каемочку, фронтовыми гранеными двухсотграммовыми стаканами коньяку.

Слеза командарма

1

Ежегодно в один и тот же апрельский день у ворот небольшого солдатского кладбища, появившегося после войны в нескольких километрах от автострады Дрезден — Берлин, останавливается длинная черная машина. Из нее выходит высокий плечистый военный с лицом задубелым от солнца и ветра, и крупными звездами генерала армии на погонах. В зависимости от погоды и обстоятельств одет он бывает по-разному. Если весеннее небо посылает на землю мелкий моросящий дождь, обновляющий бытие людей и природу, он облачен в защитного цвета форменный плащ. Если ясно и солнечно — на военном старательно пригнанный костюм, успешно скрывающий его порожденную временем грузность. А когда идут учения,— он появляется в полевой форме, перепоясанный ремнями, в грубых пропыленных сапогах. Водитель или адъютант, сидящий обычно на переднем сиденье, выносит из машины пышный букет белых цветов и молча передает генералу. А тот берет его в жесткие сильные руки и несет к недавно покрашенной арке так, словно это не цветы, а охапка мелко нарубленных дров.

Точными уверенными шагами генерал армии проходит мимо длинного ряда могил и останавливается у одной из них, у той самой, найти которую может даже с закрытыми глазами. В мраморный столбик над ней вделана фотография военных лет, а с нее улыбается бесхитростно молодой парень с лейтенантскими погонами на фронтовой гимнастерке и россыпью пшеничных густых волос над чистым, без единой морщинки

лбом. И во взгляде, и в разлете не слишком густых бровей, и в очертаниях широкого лица есть не сразу улавливаемое сходство с лицом генерала армии. Так и кажется, что и тот в свои двадцать два или двадцать три был точно таким. Под фотографией краткая надпись: старший лейтенант Иван Павлович Буслаев. И дата смерти: апрель 1945 года.

Распахнув полы форменного плаща, генерал армии тяжело опускается перед могилой на одно колено, так что оно глубоко вдавливается в очень еще влажную весеннюю землю и горестно произносит:

— Ну здравствуй, Иванушка, здравствуй, лапушка. Вот и свиделись снова.

Молчит далекое от городов и деревень солдатское кладбище, только шмель гудит над какой-то из могил. Неторопливыми движениями генерал начинает обкладывать цветами основание мраморной пирамиды. Бритые губы плотно сжимаются, будто не хотят выпустить еще несколько скупых слов. И все-таки раздаются они в кладбищенской тишине:

— Уж ты прости меня, лапушка, видно, никогда не выпрошу у своей судьбы прощения... не уберег.

По сурово-неприветливому, словно высеченному из камня лицу генерала сбегает слеза и быстро исчезает, размываясь в глубоких морщинах. И давнее горе оживает в серых глазах пожилого человека, словно опять видят они то же самое поле, на котором не было в апреле сорок пятого солдатских могил, а стояло всего-навсего два десятка видавших виды, потрепанных в боях танков Т-34, около которых озабоченно суетились механики-водители, командиры экипажей и башенные стрелки.

День был уже на исходе, и беспокойные сумерки опускались на чужую землю, исхлестанную воронками от взрывов и следами от гусениц, когда въехал генерал-майор танковых войск Буслаев, принявший под командование армию, на эту поляну в сопровождении двух танков. Молодцевато выпрыгнув из своей «единицы», направился к танкистам.

Сына он увидел еще издали. Размахивая сорванным с головы черным шлемом, тот о чем-то горячо спорил с окружившими его танкистами. Теплый весенний ветерок ласкал мягкие пшеничные волосы. Увидев отца,

Иван подобрался, водрузил шлем на голову и по-уставному доложил:

— Товарищ командарм, второй батальон шестьдесят третьего полка занял указанный рубеж. Командир батальона лейтенант Буслаев.

— Уже старший лейтенант, вот тебе погоны с новыми знаками различия,— улыбнулся отец и, протягивая их, хмурясь, перешел на деловой тон.— Далеко же вы вырвались, ребятушки. Очень далеко. Все мои расчеты опередили.

— Так ведь порыв-то какой,— блеснул белыми крепкими зубами в улыбке замполит батальона Крошкин,— одно слово — агония фашизма наступила.

— Агония-то агонией,— поправил командарм,— однако от бдительности она нас не освобождает.

Потом, обняв сына за плечи, отвел его в сторону, пытливо вглядываясь в родное, высушенное бессонницей лицо, спросил:

— Как дела, лапушка?

— Добиваем господина Гитлера и иже с ним,— беспечно улыбнулся старший лейтенант.— Настроение у ребят лучше не придумаешь, отец.

— Так-то оно так,— хмуро согласился тот,— только не нравится мне ситуация. Основные части еще под Коттбусом, а ты от них на шестьдесят километров оторвался. С горючим и боеприпасами у тебя-то как?

Беспокойно оглянувшись по сторонам, Иван огорченно вздохнул:

— Меня это тоже тревожит, отец. Бензобаки у моих ребят почти сухие, а боеприпасы тоже на исходе. Утешаю себя только тем, что Берлин в кольце и немцы с белыми флагами из каждого леска теперь выходят сдаваться.

— Выходят, да не все,— сдержанно заметил командарм.

Под ночным пологом неба, среди мириадов звезд разной величины слитно гудели авиационные моторы. Армадами наплывали на Берлин наши бомбардировщики, а небо над осажденным городом клокотало от панической зенитной пальбы, заглушаемой взрывами сброшенных бомб. И от одной мысли, что все скоро кончится и наступит странная тишина, в которую даже не сразу поверишь после четырехлетнего фронтового

существования, сердце у командарма радостно забилось. Но он тотчас же пресек радужные мысли, подумав о том, что из любого нахохлившегося в сумерках леска не только могут выйти немцы, с белым флагом сдающиеся в плен, но и прозвучать выстрел из фауст-патрона, пробивающего даже танковую броню. Широкая его грудь под новенькой полевой гимнастеркой высоко поднялась и опустилась от вздоха.

— Ладно, сынок, боеприпасы и горючее ты скоро получишь. Сам возьму это дело под контроль, чтобы ускорить, а будет время, вместе с трудягами из боепитания к тебе подскачу. Но ты держись.

— Ты тоже берегись, отец,— улыбнулся старший лейтенант,— ведь до победы считанные дни, как я полагаю, остались. Надо, чтобы мать нас обоих дождалась.

Генерал крупными шагами направился к своей «тридцатьчетверке». Исчезая в люке, в последний раз посмотрел на сына. Широко расставив ноги, Иван махал ему рукой. Апрельский ветер шевелил пшеничные волосы. На губах у сына была улыбка какая-то виновато-грустная, будто он заранее за что-то отца прощал, и на мгновение командарма полоснуло по сердцу нехорошее предчувствие. Только на мгновение, не дольше. А потом мотор танка зарычал, задрожала бронированная обшивка, и, окутавшись облаком дыма, «тридцатьчетверка» рванула с места. Высекая искры, траки со скрежетом вынесли ее на узенькую булыжную дорогу, ведущую к автостраде.

2

Двадцатичетырехлетний майор дивизии СС барон Герман фон Вирхов с тонкими чертами нервного лица и голубыми глазами, воспаленными от бессонницы, поджарый и чуть сутуловатый, он напряженно всматривался в сектор обзора сквозь прорези своего головного танка. Он тоже был командиром батальона и вел теперь на север двадцать крестатых машин, чудом вырвавшись из боя под Дрезденом. Переваливаясь с бугра на бугор, врезаясь гусеницами в плодородную незасеянную землю, оглашая грохотом окрестности, танки мчались вперед. Неожиданно фон Вирхов сбросил ско-

рость. Зоркие глаза его распознали на ближайшей лесной опушке среди рыжих сосновых стволов два таких же точно, как и его, танка. Распахнув верхний люк, майор задержал колонну и поднял в воздух призывно руку. Тотчас же от опушки отделились два танка и двинулись ему наперерез.

— Кто такие? — властно окликнул фон Вирхов, когда машины приблизились. Щуплый, покрытый веснушками обер-лейтенант спрыгнул на землю и, подбежав к его танку, старательно откозырял:

— Герр майор, докладывает командир роты Брейтаг. Мы вырвались из окружения и не знаем куда идти и к кому присоединиться.

— Сколько у вас машин? — резко спросил фон Вирхов.

— Готовых к боевым действиям осталось восемь. Два танка выведены из строя и дальше не могут следовать, остальные сгорели вместе с экипажами.

— Постройте остатки роты и приведите сюда,— распорядился майор.

Когда остатки незнакомой танковой роты разбитым усталым шагом подошли к головному танку, все экипажи фон Вирхова были уже построены. Барон поднял руку в тонкой франтоватой коричневой перчатке и тугим от напряжения голосом воскликнул:

— Хайль Гитлер! Солдаты фюрера! В эти трагические для нашей Родины дни я призываю вас выполнить свой последний долг. Все сметая на своем пути, с яростью ниббелунгов, мы должны прорваться сквозь огненное кольцо к Берлину, чтобы усилить бронированный кулак фюрера, способный нанести решающий удар по Красной Армии. Вперед на север, друзья!

Танки, построившись клином, рванулись по весеннему полю. Огибая погрузившиеся в тревожные потемки деревни и маленькие города, не появляясь на больших дорогах, решительно двигались они на север. Выдвинув два танка в боевое охранение, майор фон Вирхов вел свой усилившийся батальон вперед словно стаю голодных волков, утративших от отчаяния обреченных всякую осторожность. «Попался бы какой-нибудь советский пехотный полк на привале,—зло думал фон Вирхов, и голубые его глаза стекленели от яро-

сти.— Всех бы уничтожил до единого, никого бы не пощадил».

Мозг фон Вирхова работал четко и холодно. Майор твердо знал, что ни его самого, ни остатки его растрепанного батальона уже не спасет никакая сила, а самого его, если и возьмут в плен, то ни за что уже не пощадят. Тонкий его рот презрительно подергивался. Фон Вирхов уже не верил ни в «Великую Германию», ни в фюрера, ни в сверхсекретное оружие.

В узкой прорези танка он видел угасающие зарницы заката. Он знал, что за этими зарницами придет новый день. У него нового дня уже не было.

Два передних танка внезапно остановились, и в шлемофоне командир батальона услышал лаконичный доклад, начинавшийся так надоевшим ему за всю войну словом «ахтунг». Командир переднего экипажа сообщал, что видит впереди группу советских танков, численностью в двадцать единиц, но они не делают никакого передвижения, связанного с изготовкой к бою, и ведут себя крайне пассивно. Сначала доклад этот озадачил фон Вирхова, но поразмыслив, он уточнил:

— Говорите, двадцать?

— Так точно,— ответили из боевого охранения.

— Это хорошо,— оживленнее отозвался барон,— у меня двадцать восемь. Следовательно, численный перевес на нашей стороне.— И он передал по рации короткую команду: — Солдаты фюрера! В атаку! Покажем, на что мы способны даже в эти трагические дни.

3

Старший лейтенант Буслаев одним из первых услышал гул моторов, доносившийся со стороны автострады, и решил, что подходят автомашины с горючим и боеприпасами. «Это определенно отец со взводом танков прикрывает службу боепитания,— улыбнулся он про себя,— ну и тревожится же он за мою судьбину. А разве я не так за своих детей тревожиться буду, когда Ольга их мне нарожает!» — подумал комбат, вспомнив девчушку из медсанбата с двумя косами-ручейками за спиной и карими глазами, всегда подернутыми веселыми искорками. Он потер руки и вполголоса обратился к рядом стоявшему замполиту:

— Вот теперь порядок будет в танковых войсках, дорогой Фрол Матвеевич. И снаряды получим, и баки аж до самой имперской канцелярии зальем, чтобы фюрера своевременно увидать.— И вдруг осекся. Гул моторов нарастал, но никак не был похож ни на автомобильный, ни на наш, танковый. Иван Буслаев, похолодев, отчетливо понял, что на таких нотах ревут, устремляясь в атаку, фашистские танки Т-4.

— Вот мы и влипли, Фрол Матвеевич,— сказал он замполиту глухим голосом.— Это немцы.

— Я уже понял, Ванюша,— вздохнул замполит.— В плохой переплет мы попали. У нас только восемь по-настоящему заправленных танков, остальные временные огневые точки, не больше.

— Ничего не поделаешь,— согласился с ним комбат,— драться с фашистами за нас никто не придет.— И громко выкрикнул: — Танкисты, по машинам! Покажем гитлеровцам, что не зря мы сюда пришли от самого Сталинграда.

Воздух над землей стал светлеть, и теперь уже явственно было видно, как, переваливаясь с бугра на бугор, еще не открывая огня, мчатся вперед фашистские машины. Восемь пригодных к бою «тридцатьчетверок» ринулись им навстречу, и первые снаряды с коротким вздохом, сотрясая холодный предутренний воздух, вспахали землю. Иван Буслаев повел восьмерку на врага. По его приказу «тридцатьчетверки» открыли огонь, и один из фашистских танков сразу же задымил и волчком завертелся на месте. Но и наш один из восьми, сразу пораженный двумя прямыми попаданиями, окутался дымом. Буслаев отсчитывал секунды. Он знал, что вот-вот иссякнет в баках горючее и второй атаки произвести не придется. А с первой поразить вражеский головной танк не удалось. Слишком погорячился Буслаев, очень рано открыл огонь. Искусно маневрируя, фашистский командирский танк, не сбавляя скорости, мчался навстречу. И вдруг машину Буслаева резко встряхнуло, так что он едва удержался на месте.

— Товарищ комбат! — отчаянно выкрикнул командир орудия.— Фриц нам болванкой срезал пушку.

Меньше минуты оставалось на раздумье. Минута слишком небольшой отрезок времени. Но и за нее, как

показалось Ивану Буслаеву, вся жизнь пробежала перед ним и только лишь для того, чтобы высечь в сознании два удручающих коротких слова: «Ты погибнешь, Иван. Ты неминуемо погибнешь, и другого выхода у тебя теперь нет». Старший лейтенант увидел тоскливые лица своих подчиненных и горько вздохнул. Еще бы! Кому же хотелось погибать за считанные дни до падения Берлина. Никто не знал, сколько их осталось: может быть, пять, а может, и три. Ясно было одно — мало! Но и другое было не менее ясно, что не доживет теперь его экипаж до этой большой радости. Чернота шлемов резко подчеркивала побледневшие лица танкистов, ожидавших от командира последнего приказа. А старший лейтенант вдруг подумал об отце, только об одном отце, и у него сиротливо сжалось сердце: «Как ему будет трудно потом всю жизнь!»

Новый удар, как показалось Буслаеву, накренил набок «тридцатьчетверку». Острый запах дыма наполнил танк, дышать стало нестерпимо тяжко. Никто не видел, они только поняли, что клубы огня уже бегут по обшивке. И тогда, разомкнув сухие губы, комбат приказал:

— Идем на таран!

...Майор СС барон фон Вирхов не сразу понял, что замыслил русский, а когда понял, худое, бледное его лицо застыло на несколько мгновений. Но только на несколько. Он подумал в эти несколько мгновений о том, что никогда не увидит своего родового имения под Штутгартом, дряхлого отца, отставного генерала еще первой мировой войны, жену Амалию и двух белокурых крошек Генриетту и Марту. В прорези машины фон Вирхов видел, что смертельно раненный советский танк несет на своей броне ему навстречу клубок ярко-бурого огня. Фон Вирхов знал силу этого огня. У него еще было время сманеврировать и уклониться, но барон стиснул тонкие бескровные губы и подумал: «К черту! Я офицер Великой Германии! Пусть весь мир перевернется, но я не сверну!»

И танки столкнулись. Объятые пламенем, они застыли в самом центре разыгравшегося неравного боя. Рассвет уже осветил землю, розовые полоски, появившиеся на востоке, предвещали ясный теплый день. Со стороны автострады к месту боя на большой скорости мчалась целая колонна танков. Ивану Буслаеву так

и не пришлось узнать, что это их армия спешила к окраинам самого Берлина и что его отец несколько изменил маршрут, чтобы снабдить горючим его батальон.

Над одной из «тридцатьчетверок» открылся люк, и в наступившей тишине голос советского танкиста, усиленный мегафоном, раздался над полем боя.

— Ахтунг, ахтунг! — И русский офицер объявил на немецком языке: — Советское командование приказывает вам немедленно сдаться и сложить оружие. Если через десять минут приказание не будет выполнено, все вы будете уничтожены огнем советских танков!

Лязг гусениц и гул моторов немедленно прекратился, и над поляной возникла тяжелая тишина. «Тридцатьчетверка» с командирской единицей на борту остановилась у танков, погибших в огненном таране, и высокий плечистый человек в полевой форме, но без знаков различия на погонах, спрыгнул на землю и, стараясь не гнуться от навалившегося на него горя, прошагал к тому месту, где зеленая нежная трава почернела от дыма и пламени.

Он уже все знал. Не желая верить в случившееся, ощущая, как голова наливается тупой неистребимой болью, он скользил взглядом по земле, отыскивая среди обломков металла тело сына. Иван лежал на чужой и неласковой, сырой от наступившего рассвета земле в обгоревшем комбинезоне. Его залитое кровью лицо осталось нетронутым огнем, лишь шея была немного прихвачена. Командарм встал на колени перед телом убитого сына, осторожно снял с его головы обуглившийся шлем. Холодный и жесткий предутренний ветерок шевельнул светлые волосы на голове погибшего.

— Прости меня, лапушка,— каким-то выцветшим голосом сказал командарм.— Не успел. А как спешили!

Над землей поднималось солнце. Немцам уже перевели, что погибший командир танка сын командарма, и они, дрожа от страха, смотрели на большого сурового плачущего человека, ожидая своей участи. Генерал резко выбросил руку, указывая на солнце.

— Видите! Оно не для вас восходит.

Один из пленных, сутуловатый рыжий обер-лейтенант, понимавший по-русски, пересекшимся голосом спросил:

— Вы будете нас расстрел?

Командарм резко выпрямился:

— Нет. Мы не фашисты. Мы с пленными не воюем.— И, обратившись к замполиту, кратко распорядился: — Прикажите отвести пленных на ближайший сборный пункт.— И, уже не сдерживая ярости, ткнул на гитлеровца пальцем.— Слышите, вы! Поедете на Волгу, может быть, даже под Сталинград. Будете строить то, что разрушили. И только попробуйте плохо!

— Товарищ генерал,— тихо спросил замполит,— тело комбата возьмем с собой?

Буслаев отрицательно покачал головой.

— Нет, похороним здесь.— Потом подошел к обгоревшему трупу барона фон Вирхова и, не желая к нему притрагиваться, долго вглядывался в тонкое выхоленное лицо, на котором даже смерть не в силах была стереть выражение злой замкнутости. «А ведь он моему ровесник»,— грустно подумал Павел Степанович. Из глубокой задумчивости его вывел голос замполита.

— Товарищ генерал, а с этим как? — спрашивал тот, указывая на труп фон Вирхова.

— Тоже похоронить,— сухо сказал командарм.— Только не здесь, а подальше. Здесь будет кладбище наших воинов, погибших при наступлении на Берлин.— Горько вздохнул и прибавил: — Он, этот майор СС, тоже отважно дрался. Только за неправое дело.

Длинная черная машина безмолвно стояла у ворот солдатского кладбища, а генерал армии все еще медлил уходить от могилы Ивана. Давно высохла на щеке суровая солдатская слеза. С грустью подумал Буслаев о том, что уже четверть века прошло со дня гибели сына. Сам же он уже поседел, хотя и старается всегда сохранять бравую поступь. Сколько городов за это время выстроено, сколько людей успело родиться и стать взрослыми, сколько старых самолетов и танков заменились новейшими, но рана, та самая глубокая рана, что была получена в апреле сорок пятого, никогда не зарастет. И вглядываясь в юное лицо на фотографии, вделанной в кладбищенский памятник, грустно улыбнулся Буслаев. «Ты хоть не стареешь, лапушка. А я-то с каждым годом все ближе и ближе к своему закату».

И генерал армии подумал о том, что сейчас у него

под командованием уже давно не корпус, а тысячи людей, одетых в военную форму, разного возраста и разных национальностей. Среди них много и таких, что годятся ему в сыновья. Да, у него теперь тысячи сыновей. Иногда это лихие десантники в голубых беретах и тельняшках, иногда летчики-истребители с боевых реактивных машин, летающих с двойной скоростью звука, иногда ракетчики и артиллеристы или самые дорогие среди всех — танкисты, при встречах с которыми всегда замирало сердце и сладкой острой боль наливались глаза.

Несмотря на свое высокое звание и должность, генерал армии Буслаев любил беседовать с ними и, если уж начинал разговор, то долго не мог закончить,— так не хотелось расставаться с этими великолепными парнями. Среди них попадались и такие, кому было по двадцать два — двадцать четыре года, иногда поразительно похожие на погибшего Ивана, до того похожие, что так и чудилось Павлу Степановичу, будто он вот-вот услышит и его голос.

У него теперь было много сыновей и только единственного, родного по крови, не было среди них.

Хорошая штука жизнь

Между реальностью и вымыслом всегда существует дистанция. Но в одном случае она бывает длиннее, а в другом короче.

Ночной проходящий поезд увозил меня из старого южного города в Москву. На перроне под мелкой сеткой дождя остались провожающие. В авиационном гарнизоне только-только завершилась читательская конференция по моей повести, и в глазах у меня до сих пор стоял огромный, залитый светом зал, заполненный летчиками, техниками, солдатами и сержантами срочной службы.

Не знаю, возможно, я и не прав, но кажется мне, что многие авторы испытывают неудобство, когда присутствуют на обсуждениях своих произведений. С одной стороны, когда тебя слишком бурно расхваливают, тебя не покидает чувство неловкости и стыдливости и

тебе становится не совсем от этого приятно. Но еще более неприятно бывает, разумеется, если ругают.

Сейчас я не испытывал этого чувства. В памяти остался какой-то очень добрый искренний разговор людей, оценивавших мою работу со знанием дела, как бы примеривавших поступки и судьбы героев на себя. И все-таки что-то омрачало хорошее настроение, и когда скрылись в окне последние станционные огни, я тотчас же вспомнил встречу с командиром гарнизона. Когда я очутился в его кабинете, этот человек, озабоченный огромной ответственностью за судьбы сотен людей и боевую технику, спокойно встал из-за стола и протянул доброжелательно руку. Он был худощав и высок. Лицо в резких складках делало его хмурым, и как я узнал впоследствии, он выглядел значительно старше своих лет.

— Здравствуйте,— произнес он скупо.— Я ведь тоже ваш читатель и скажу по совести, эта повесть мне особенно понравилась по одной причине. Обязательно приду вечером на обсуждение. Да мы и потом увидимся.

Но на конференцию он не пришел. Ни за столом президиума, ни в первых рядах его я не обнаружил и от этого стало как-то не по себе. Невольно подумалось: возможно, он хотел сделать какие-то очень суровые замечания, но потом передумал и попросту решил пощадить.

Набрав скорость, поезд врезался в ночную пустоту и дождь. Стук колес стал ритмичным и убаюкивающим. Не успел я расстелить постель, как в дверь постучали. Я открыл и едва не отступил от удивления: на пороге в синем спортивном костюме, какие сейчас заменяют в дороге пассажирам старомодные полосатые пижамы, стоял нерешительно улыбающийся начальник гарнизона. В одной руке у него была бутылка шампанского, в другой пакет с красными крупными яблоками.

— Можно? — осведомился он.— Не помешал? — и, получив приглашение садиться, расположился напротив, поставив свои дары на столик.— Не удивляйтесь, пожалуйста. Я тоже еду в Москву.

Лицо его при вечернем освещении казалось добрее, чем было оно днем, в кабинете. Даже морщины будто расправились, а улыбка сделала его совсем добрым.

Уже не было в серых глазах сосредоточенной строгости, свойственной иным командирам в те часы, когда они правят свою нелегкую службу. Эти глаза стали какими-то беззащитно-мягкими и грустными в одно и то же время. Разлив в бокалы шампанское, полковник сообщил:

— А я ведь уже знаю. Конференция прошла отлично. Но вам не бросилось в глаза одно обстоятельство?

— То, что вас на ней не было?

— Вот именно. Однако, ради всего святого, не подумайте, что это произошло от какого-нибудь высокомерия или чего еще. Все гораздо проще и сложнее. Но сначала давайте-ка выпьем за знакомство.

Мы чокнулись, и полковник раздумчиво повторил:

— Все гораздо проще и сложнее. Я не пришел на конференцию, потому что боялся расплакаться.

Чего угодно мог ожидать я, но только не такого признания.

— Да-да, не удивляйтесь,— усмехнулся полковник.— Именно так. Я читаю все, что написано об авиации. У вас в повести есть один эпизод: у молодого летчика загорается самолет, а он над большим городом, и если катапультируется, то машина упадет на центр. И он тянет на ВПП. Это место читал я ночью, под лампой с зеленым абажуром, как сейчас принято выражаться, когда речь идет об офицерском досуге. Жена у меня учительница. Она сидела напротив и проверяла школьные сочинения. И вдруг при своих седых висках я всплакнул. А человек я далеко не сентиментальный, даже суховатым иные подчиненные меня считают. Жена удивленно подняла голову: «Ты что, Павлик?» Взяла из рук книгу, прочла ту же самую страницу и тоже стала вытирать глаза. И знаете почему?

Я затаил дыхание, ожидая, что полковник начнет распространяться о художественных дотоинствах этой сцены, но он, это прекрасно угадав, ласково улыбнулся:

— Она у вас хорошо написана,— эта сцена. Но дело вовсе не в том. У старого летуна слезу выжать трудно. Но точно такое, о чем вы написали, произошло и со мной, но, разумеется, несколько по-иному, конечно. Год назад, в такую примерно погоду и в этот же

самый час я возвращался из учебного полета в стратосферу и над нашим городом, над самым его центром истребитель мой загорелся. Противопожарная система ничего не дала. С земли немедленно пришел приказ катапультироваться. Еще бы,— добродушно усмехнулся он.— Ведь не кто-нибудь, а сам командир оказался в катастрофическом положении. Но тогда мне было совсем не до иронии. Сбить пламя не удается, а внизу город огоньками переливается. Уже и рассвет наплывает на землю. И если я катапультируюсь и брошу самолет, он полыхающим костром рухнет на жилые кварталы и сколько погубит человек даже и предвидеть трудно. И я короткую команду на землю послал: «Обеспечьте полосу».— Полковник вздохнул, отпил глоток шампанского из стакана.— Остальное было, как принято говорить, делом техники. Как я подводил машину к земле и делал завершающий четвертый разворот — и вспоминать не хочу, потому что красный туман перед глазами стоял. Помню, что в кабину уже ворвалась страшная жара, на нос бежит окаймленная огнями полоса, а я думаю: «Вот и последняя твоя посадка, Павел. Прощай жена, прощайте дети, друзья и товарищи». Шасси повиновались, как ни в чем не бывало вышли. Но как они толкнулись о бетонку, я не услышал: все затянула кромешная темнота... И вдруг очнулся я и не знаю, сколько времени прошло. С востока на аэродром серый пасмурный день движется, а в нескольких метрах от меня на ВПП горят шесть костров. Это мой самолет, разбившийся на шесть кусков при посадке пылает, а его усиленно поливают две пожарные машины. Я же стою на ногах, лишь в голове отчаянный звон. И бежит ко мне техник самолета Коля Шапкин во весь опор, лицо синее, как у покойника. В трех шагах замирает, словно честь отдать хочет. «Товарищ полковник, вы... вы... живы?» А я с таким усилием первый вздох из себя выжал. «Слушай, говорю, у тебя закурить найдется?» Коля Шапкин по карманам своим послушно пошарил, целую пачку от радости сует, а потом, после того как я одну папироску вытащил, спичку зажженную протягивает с такой осторожностью, с какой только к ребенку огонь можно подносить. Рассвело еще больше, и вижу я воздух над летным полем: чист, как вода в роднике, чуть синеват от

рассвета, травка под ногами мягкая. Я затянулся и подумал: «Эх, до чего же хорошая штука жизнь!»

Полковник замолчал, а я, не воздержавшись, воскликнул:

— Да если бы я знал, что таким может оказаться финал, я бы сцену в повести только бы так и написал!

Начальник гарнизона громко рассмеялся:

— Но кто бы вам поверил, что такое может произойти на самом деле в авиации? Да я бы первый возмутился и написал бы в издательство, что это вопреки жизненной правде! — Он подлил в стаканы шампанского и весело мне подмигнул:

— А все-таки хорошая штука жизнь. Вот за это и выпьем!

Белый-пребелый снег

Серая лента скованного крепким морозом шоссе набегает на капот автомашины. Почти неслышно шуршат на большой скорости покрышки. Рыжая лисица выскочила на опушку леса, сторожко повела ушами, воинственно подняла хвост, но тотчас же метнулась назад. И снова тихо. Припорошенные поземкой мохнатые ели стоят по обеим сторонам дороги. Считанные километры остаются до Ржева, куда держим мы путь.

Словно ковром устлана сейчас земля. Белый-пребелый снег, мягкий и удивительно чистый, лишь чуть-чуть, когда уж сильно присмотришься, лежит повсюду: на опушках и лесных проталинах, на ветвях вечнозеленых елей и сосен. Какой он удивительно пушистый и нежный, и как эта нежность сочетается с его белизной. Двадцать пять лет не был я в этом краю, не видел этого густого леса, но кажется мне, что он остался таким же, точно каким и был, только широкое асфальтированное шоссе заменило узкую дорогу с выбоинами на проезжей части. Но что-то заставляет мучительно задумываться. «Снег! — восклицаю я про себя.— Он тогда не был белым-пребелым». И память с предельной точностью возвращает все то, что было здесь более четверти века назад, когда южнее Ржева кипели не на жизнь, а на смерть жестокие бои с фашистами. Машина мчит-

ся сейчас по тем самым местам, откуда до линии фронта было рукой подать. Тогда тоже стояли морозы и мела легкая поземка. По дороге к переднему краю подтягивались видавшие виды полуторки и трехтонки подпрыгивали на ухабах и рытвинах, тянулись конные обозы. Пешим строем шли пехотинцы из резервных частей. Земля ухала и стонала от взрывов. Еще не нюхавшие пороха ребята в не по росту пригнанных шинелях с опаской оглядывались, когда проносились над их головами снаряды и мины. А снег... он был в тот день красным от человеческой крови. На нем стыли солдатские трупы, в беспорядке валялись перевернутые повозки, чернели остовы сожженных танков. Исхлестанные осколками, жалобно стонали ели и сосны, а то и рушились на землю, вырванные с корнями на месте падения крупнокалиберных фугасок. Раненых было так много, что транспорта в батальонах и полках хватало лишь для эвакуации с поля боя самых тяжелых. Те, кто был ранен легко и мог идти, добирались в медсанбаты пешком.

В километре от наших траншей на рыжем стволе поваленного дерева сидел смуглый небритый солдат с двумя треугольниками сержанта в петлицах, изодранной, подгоревшей снизу шинели и правой рукой в пропитанных кровью бинтах.

— Эй, дорогой друг, — окликнул он меня, — будь добрым человеком, достань из моего кармана кисет, может, еще потрусить оттуда что можно.

— Угостись моим табачком,— предложил я и помог свернуть ему самокрутку.— Где это тебя так?

Смуглое лицо сержанта с жестким восточным разрезом глаз вдруг потемнело.

— Понимаешь, какая глупость, если бы хватило солдатской мудрости, я бы сейчас этих бинтов не носил. У меня в отделении бойцы, ты знаешь, какие бойцы? Один богатырь другого богатыря лучше. Кто первым брал вражескую траншею? Мое отделение брал. А потом я высунулся над бруствером и сам видишь, что получилось. Мои богатыри в наступление дальше пошли, я тоже хотел с ними с этими бинтами остаться. А командир: «Иди, иди медсанбат». Вот я и иду, а они воюют. Думаешь, не обидно? Еще как обидно. Приеду на родину, а меня спросят: «Как ты там воевал, Мур-

таз?» А что я землякам отвечу? Скажу, из-за глупой башки пулю от снайпера получил? Разве это ответ для мужчины?

— Успокойся,— прервал я его,— ведь наша армия еще не на Берлин наступает. Хватит впереди и на твою долю боев.

— Правильно говоришь!—оживился сержант.— Много, много еще впереди, и Муртаз успеет отличиться так, чтобы детям не было за него стыдно. Слушай, у тебя есть дети?

Я отрицательно покачал головой.

— Нет.

— А у меня есть. Два мальчика. Одному четыре годика, другому пять. Я в Самарканде живу.— Его черные глаза вдруг потускнели, и самокрутка замерла в жестких пальцах с каемкой земли под ногтями. Только синеватый дымок расплылся над обшлагом шинели.— Ты знаешь, как хочется их увидеть? Страшное дело война, с нее не все возвращаются. Только лучше совсем не вернуться, чем вернуться в родной кишлак или город трусом. Ты верно сказал, добрый человек: боев впереди много. Только знаешь о чем Муртаз часто думает? Вот об этом снеге. На нем убитые наши товарищи сейчас лежат, и он красный от крови. Он нам сейчас кричит: идите вперед! Сильно кричит. А я хочу видеть его другим: белым-пребелым. Таким, как наш хлопок в моей родной Зеравшанской долине!

Тридцать лет прошло после этой встречи. Я почему-то верю, упрямо верю, что, преодолев на своем пути все солдатские невзгоды, может быть еще не однажды побывав в госпиталях, Муртаз с орденами на груди возвратился в родной Самарканд. Давно уже выросли его дети и трудятся во славу нашей земли. А снег... он сейчас именно такой, каким хотел его видеть мой случайный знакомый, как и тысячи других воинов: он белый-пребелый, совсем как хлопок в далеком и солнечном Узбекистане.

Вратарь

За телефонистом первой роты Виктором Королевым водилась одна слабость. В прошлом, еще до службы

в армии, он играл вратарем в студенческой команде «Энергия» и был ярым поклонником кожаного мяча.

Виктор любил рассказывать про свои футбольные похождения. Это была его самая излюбленная тема. Едва лишь речь заходила о футболе, он весь преображался. Рыжие лохматые брови слетались над переносьем, в серых глазах появлялись искорки, а щеки, покрытые мелкими веснушками, дрожали от смеха. Он так и сыпал профессиональными словечками и остротами, говорил быстро, словно боялся, что его кто-нибудь перебьет. Его длинная, худая фигура непрерывно двигалась то влево, от вправо, то вверх, то вниз, будто в эти минуты он отбивал футбольные мячи. Над ним часто шутили.

— Ой, Королев, формируется сборная СССР, и тебя берут основным вратарем. Завтра вызов по телеграфу получишь.

Если его хотели обидеть, то говорили:

— Товарищ телефонист, не путайте позывные. Вы на фронте, а не на футбольном поле, где можно путать все, что угодно, и даже бить по своим воротам.

И этого было достаточно. Виктор краснел до корней волос. Даже уши начинали пылать.

Но если забыть о том, что в перерывах между боями он надоедал всем нам своими футбольными историями, то в остальном Королев был хорошим добродушным парнем. А однажды случилось такое, что заставило нас всех другими глазами посмотреть на него. Произошло это под деревней Войновка, которую гитлеровцы ни за что не хотели отдавать в наши руки. Ночью вражеский батальон пошел в контратаку. Гитлеровцы напали внезапно, и сразу же лес был разбужен свистом снарядов, противным воем мин. Потом мелкий, но дружный треск раздался совсем рядом с блиндажом, с верхнего наката посыпалась сухая земля. Виктор, сидевший у телефона, не успел толком ничего сообразить, как блиндаж уже опустел. Последним выбегал командир роты. Задержавшись на верхней ступеньке, опустив автомат стволом вниз, он успел скомандовать телефонисту:

— Поста не покидай, Королев. Держи связь с «Тереком».

Виктор хотел было спросить, куда надо звонить еще,

но командира роты уже и след простыл. За стеной блиндажа нарастала автоматная перестрелка, где-то совсем близко слышалось спокойное постукивание пулемета. Виктор схватил в руку трубку и стал звонить. Стараясь перекричать грохот боя, он вызывал командный пункт батальона:

— «Терек», «Терек», я — «Ленинград», я — «Ленинград!» Эх, перервана линия!

Королев бросил трубку, ставшую теперь бесполезной. Она глухо звякнула, ударившись о деревянный стол.

Виктор выскочил из блиндажа в надежде увидеть кого-нибудь и послать на исправление обрыва, но вдруг остановился на пороге как вкопанный. Прямо на него бежали фашисты! На всю жизнь запомнилась эта минута. В предутренней мгле серели тонкие стволы берез, раскачивались кусты на опушке леса, в лицо неприятно ударял колкий сыроватый ветер. Немцев было больше десяти. Он увидел зеленые шинели, оскаленный рот офицера. Враги были в шагах семидесяти от блиндажа. Кто-то из них вскинул автомат и дал короткую очередь. И она, эта очередь, словно бы разбудила телефониста, вывела его из оцепенения. Королев схватил автомат, дал наугад две очереди. Вероятно, пуля кого-то задела, потому что до него донесся крик. Фашисты залегли за деревьями. Один приподнялся и бросил что-то в него. «Граната»,— догадался Виктор. Она, кувыркаясь в воздухе, летела прямо в блиндаж. Стоя у входа он слышал зловещий свист. И на одну лишь секунду, а то и на десятую, вспомнил солдат зеленое поле стадиона, всегда казавшиеся ему большими под перекладиной ворот заполненные трибуны, тугой звон мяча.

— Беру! — крикнул он яростно и прыгнул вперед. Мгновения оказалось достаточным, чтобы швырнуть назад немецкую гранату. Грохнул взрыв. Но, очевидно, граната упала в стороне и никого не поразила, потому что уже другая засвистела в воздухе. Он подхватил ее на лету и с тем же ожесточением швырнул обратно:

— Получай назад, фашистская морда!

Истошный стон раздался за деревьями.

— Ага! Не нравится,— в ярости закричал Виктор.

Изогнувшись в нечеловеческом прыжке, он поймал третью гранату и бросил в кусты.

Но не услышал ее взрыва и новых пронзительных криков. Что-то больно ожгло плечо, лес закачался, сделался неожиданно красным и пропал из виду. Виктор повалился на землю, слепо ткнувшись руками в земляную насыпь блиндажа.

Пришел он в себя в палате полевого госпиталя. Открыв глаза, увидел перед собой командира роты Звонова и старшину Круглова. Они были в белых халатах, с автоматами в руках.

— Прямо из боя,— пояснил командир роты.— Целый немецкий батальон разгромили.— И, бережно поправив краешек съехавшего одеяла, прибавил: — А ты, Королев, молодец. Один блиндаж отстоял. Ты ловил гранаты, как футбольный мяч. Словом, ты настоящий вратарь.

Старшина Круглов улыбнулся:

— Да, ты защищал блиндаж не хуже, чем ворота своей «Энергии».

— Лучше,— твердо произнес Виктор, и его лохматые брови нахмурились.— Тогда я защищал ворота студенческой команды, а в последнем бою... я не знаю, товарищи, может, это и не так, только мне показалось, будто я защищаю ворота нашей страны. Большие ворота. Разве же я мог пропустить!

Пыльная буря

Почему всякое печальное расставание смывается дождем? В тот весенний вечер было именно так. Низкие тучи затянули зеленые горы и полоску песчаного морского берега, цеплялись за крыши шестнадцатиэтажных домов-башен и обломки древней крепости на холме, звенели капли об асфальт городских улиц, потеки размазали афишу с фамилией заезжего эстрадного певца. Троллейбусы поднимали целые тучи брызг. Казалось, что над всем человечеством шел угрюмый проливной дождь.

Полковник Страхов стоял у входа в здание желез-

нодорожного вокзала и с надеждой смотрел на прилегающую к нему широкую площадь. «Нет, не придет,— огорченно думал он, поглядывая время от времени на часы.— Ясное дело, не придет, и зря я тут мокну. Да и осуждать ее не за что. И я бы на ее месте так поступил». Он досадливо снял с головы отяжелевшую фуражку с авиационным крабом, стряхнул с ее намокшего верха капли и снова водрузил на голову. И вдруг под бровями с сединкой в зеленых колких глазах сверкнула радость. Он увидел, как, огибая лужи, торопливо пересекает привокзальную площадь женщина под зонтом в сером кожаном пальто. В руке у нее алел букетик красных гвоздик.

Страхов побежал навстречу и остановил ее где-то посередине площади. Он схватил ее за руки: и за ту, что сжимала зонтик, и за другую, в которой был букетик цветов, крепко их сжал.

— Валентина, вы пришли.

Она ответила ясной доброй улыбкой:

— А как же иначе. Ведь дружба есть дружба.

Полковнику было за пятьдесят, женщине под тридцать. Худощавое смуглое лицо с большими темными глазами, омытое дождем, было удивительно свежим и привлекательным. Узкий подбородок, отмеченный родинкой, весело вздрогнул, когда она сказала:

— Пощадите, пожалуйста, зонтик. Если я его уроню, погибла моя прическа, двухчасовой труд парикмахера. А ведь на нее я израсходовала последнюю хну.

Страхов выпустил ее руки, а женщина протянула ему букетик.

— Это вам. Семь красных гвоздик, лучше под таким дождем найти не смогла. Довезите до Ленинграда, очень прошу. Их же легко сохранить.

— Зачем же вы убеждаете, я ведь не возражаю. Сердечное спасибо за подарок. Как жаль, что до отхода осталось восемь минут.

— А где же ваш чемодан? — обеспокоенно спросила женщина.

— Уже в купе, Валя. Идемте.

На перроне дождь набросился на них с еще большей яростью.

Где-то в горах шевельнулся гром. У входа в вагон Валентина решительно тряхнула головой.

— В купе не пойду. Здесь хоть поговорить свободнее можно.

Но они ни о чем не говорили, лишь обменялись грустными улыбками. А когда зажегся зеленый огонек светофора, она тихо попросила:

— Если в будущем году приедете навестить своего друга, позвоните и мне. Буду рада.

Полковник сделал к ней нерешительное движение, но резко его прервал, потому что подумал: «А можно ли, да еще у всех на виду?»

И тогда Валентина смело его обняла и поцеловала в губы. И он тоже ее поцеловал и побежал за двинувшейся вперед подножкой вагона, а потом долго махал из тамбура, пока не скрылась из глаз высокая прямая фигура Валентины, продолжавшей стоять под дождем.

Вместе со Страховым в одном купе ехали двое: щеголеватый немолодой блондин сидел без пиджака в кремовой льняной рубашке с ярким широким галстуком, явно заграничного происхождения, и равнодушно читал газету. Русоволосый парень в синем спортивном костюме взбивал подушку на второй полке. Оборотившись, прищурился и насмешливо спросил:

— Это была ваша дочь, товарищ полковник?

— Нет.

— Значит, любимая девушка,— бесцеремонно рассмеялся он.— Тогда, как говорится, вам можно только позавидовать. В ваши годы, и такая красивая. Значит, седина в бороду, а бес в ребро?

Страхов резко тряхнул головой, так что рассыпались густые волосы, в зеленых глазах его полыхнуло бешенство, но он взял себя в руки и погасил в них недобрый огонь. Лишь полоска рта побелела, потому что нелегко далось ему это. Пожилой пассажир отложил газету и укоризненно посмотрел на парня в спортивном костюме. А полковник нежно поправил в вазочке одну из семи гвоздик, подаренных ему при прощании. От пожилого пассажира это движение не укрылось, и он мягко улыбнулся:

— А в самом деле, товарищ полковник? Нас не случайно озадачил прощальный поцелуй. Для поцелуя взрослой дочери ему не хватало сдержанности, а для поцелуя влюбленной женщины он был слишком застен-

чивым, даже стыдливым. Одним словом, со всех точек зрения нетипичный поцелуй.

Страхов неопределенно пожал плечами.

— Не угадали, дорогие попутчики. Все гораздо проще и сложнее. Четыре дня назад эта хрупкая женщина спасла мне жизнь. Мне и еще девяти пассажирам рейсового самолета АН-2.

— Вот так сюжетец! — воскликнул парень в спортивном костюме.— Так расскажите же нам об этом незаурядном случае. В дороге принято повествовать о самом интересном. Традиция!

— Успеется,— усмехнулся Страхов и вышел из купе.

Прислонившись горячей щекой к холодному стеклу, он долго смотрел в окно набиравшего скорость поезда. Длинной желтой полосой тянулись вымокшие от дождя песчаные пляжи с голыми топчанами и тентами, пустынные совершенно. Шторм накатывал на берег огромные пенистые валы. «А зачем я на него обиделся, на этого парнишку. Что он может понять?» Страхову хотелось сейчас думать только о Валентине и о тех томительных, полных риска минутах, что пришлось пережить ему четыре дня назад. Сейчас он был твердо убежден в одном: сколько бы не прожил он еще и в какой бы день его не спросили, он со всеми деталями расскажет о пережитом. Такие минуты врезаются в человека тем ярким светом воспоминаний, без которых немыслимо оценить прошлое.

В этот далекий от Ленинграда горный край Александр Николаевич Страхов прилетел проведать старую мать и родного брата своего бывшего воздушного стрелка Вани Ольхова.

Два дня прогостил он в их новом домике, прилепившемся к подножью горы на месте старенькой сакли, продуваемой ветрами всех направлений. На третий день надо было возвратиться в город. Когда он приехал на маленькую, начинавшуюся от обрыва взлетно-посадочную площадку, зеленый АН-2 уже стоял возле вагончика, заменявшего аэровокзал. Страхов отметил, что бортовой номер был другой. Сюда он летел на ноль два, а на фюзеляже этой машины стояла цифра одиннадцать. «Стало быть, с другим экипажем полечу»,— подумал он, садясь в самолет. Все пассажиры уже ус-

пели разместиться, и ему осталось самое крайнее место в хвосте.

Пассажиры были дисциплинированные: они уже пристегнулись ремнями, не дожидаясь, когда к этому их призовет борт-механик.

Второй пилот был на месте, лишь кресло командира экипажа пустовало. Страхов еще ничего не успел подумать по этому поводу, как мимо него пробежала девушка в аэрофлотовской форме, придерживая на затылке растрепанный ветром «конский хвост», прическу, к которой всегда иронически относился Страхов. На смуглых щеках словно круги на воде расплылись ямочки. Усаживаясь на пилотское сиденье, она озорновато усмехнулась и негромко сказала второму пилоту, совсем молодому с щеточкой усов, явно отпущенных для солидности:

— Ого, Сеня, нам, кажется, явно повезло. Отставной полковник, да еще с Золотой Звездой Героя. Прикрытие надежное.

— Прикрытие,— проворчал Сеня,— можно думать, всю Великую Отечественную войну с ним рядом прошла.

— А почему именно с ним,— засмеялась Валентина.— Впрочем, ты не ошибся. Лет двадцать пять назад он действительно был ой как ничего. Оглянись.— И засмеялась, потому что перед взлетом на нее всегда накатывало веселое настроение.

— Это уж тебе лучше судить,— буркнул Сеня.

Мир устроен так, что человек часто не знает, что о нем говорят другие, если эти другие даже находятся в нескольких шагах от него. Вот и полковник Страхов никогда не догадался бы, что сказала о нем летчица, наградив веселым ребячливым взглядом своего помощника Сеню, расположившегося перед взлетом на своем правом сиденье.

Тем временем Страхов, позевывая, смотрел в маленкое круглое окошко. Выжженное ветрами и солнцем поле взлетной площадки с пролысинами на траве лезло в глаза, своим однообразием напоминая многие другие площадки, с каких ему приходилось подниматься в войну. «А ведь девчонке-то на обрыв взлетать придется,— сочувственно подумал он,— сердчишко-то не екнет?»

И опять мысли перенеслись к прошлому. Эта пло-

щадка почему-то напомнила последнее наступление на Берлин и день, когда, проштурмовав Зееловские высоты, он привез на полевой аэродром в задней кабине своего ИЛа мертвого воздушного стрелка Ваню Ольхова. Возвращаясь, он уже знал, что случилась беда, потому что еще при отходе от цели стрелок замолчал и ни на один его вызов по СПУ не ответил. Знал, но упорно верил в то, что Ольхов лишь ранен и потерял сознание, но не убит и еще возвратится в строй воюющих. Слишком дорог был ему этот розовощекий мальчишка с голубыми мечтательными глазами, умением быть беспредельно наивным на земле и беспредельно спокойным в воздухе. Когда их атаковали вражеские истребители, он с беззаботностью ребенка, увидавшего яркую новую игрушку, выкрикивал: «Дядя Саша! На нас «мессер» прет. Серый, как скорпиончик. Разрешите я его поближе подпущу?» А потом рявкал в задней кабине крупнокалиберный пулемет, «мессер» поспешно отваливал в сторону, а бывало и начинал дымить.

Александра Страхова в полку считали везучим. От самого южного выступа Орловско-Курской дуги дошел он невредимым до Одера, сделал более ста боевых вылетов, но ни разу не был при этом сбит, ни разу не садился за пределами аэродрома. И все эти сто вылетов защищал его с хвоста Ваня Ольхов. А сейчас он молчал. Пытаясь развеять недоброе предчувствие, Страхов мысленно подбадривал себя: «Ничего, оклимается Ваня и опять будет летать. За одного латаного двух нелатаных дают».

Но оклиматься Ване Ольхову не довелось. Его холодное тело из залитой кровью кабины Страхов вытащил своими руками, решительно оттолкнув при этом санитаров, и впервые за всю войну заплакал навзрыд.

— Эх, Ванька, Ванька, мальчишечка ты мой незадачливый! Долго же она охотилась за тобой, блондинка с косой в руках, и подстерегла тебя все-таки.

Теперь он ежегодно во время отпуска добирается в этот аул, чтобы хотя бы два-три дня побыть в обществе старой престарелой матери Вани, бывшей учительницы, и его младшего брата, которому теперь тоже уже под пятьдесят, но он все еще работает в бригаде механизаторов.

...Страхов горько вздохнул и оборвал свои воспо-

минания. Фюзеляж зеленого АН-2 уже сотрясался от запущенного мотора. Под нижними плоскостями прижимались к земле чубчики сухой чахлой травы. Полковник с интересом оглядел своих спутников по перелету. Три студента в белых легких рубашках, приткнувшись друг к другу черноволосыми головами, разгадывали кроссворд, рядом дремала беременная женщина, у другой горянки в ногах стояла объемистая плетеная корзинка, с какими ездили из этого аула на городской рынок. Два старика, одетые в черкесские шерстяные рубашки с газырями, у одного на поясе болтался кинжал в инкрустированных ножнах, степенно беседовали о каких-то мирских делах на своем родном языке.

В эту минуту самолет начал разбег. «Еще посмотрим, как-то ты взлетишь,— лениво подумал полковник, но через пару минут одобрительно улыбнулся: — Молодец! Честное слово, молодец девка!» А ветер уже подбрасывал АН-2 над обрывом, под которым живописно-зеленые расстилались узкие улочки аула, взбегающие к подножью гор. А потом потянулось ущелье, раструбом выходящее к морю, и самолет летел не над его отрогами, а над его дном на самой низкой высоте. «Подремлю-ка я,— зевнул Страхов.— Ведь до посадки еще больше часа»,— и с удовольствием закрыл глаза.

Сколько он проспал, он бы никогда не мог ответить и потом. Он очнулся от сильного толчка. Что-то неладное творилось с самолетом. Приподнявшись на сиденье, второй пилот непрерывно кричал пассажирам:

— Привяжитесь получше ремнями, кому говорю!

Машину било сильными частыми толчками, и вдруг она так резко встала на крыло, что пассажиры повисли на ремнях. Беременная женщина вскрикнула, у студента выпал из рук журнал с кроссвордом. Но прошло несколько секунд, и самолет вернулся в горизонтальный режим. Полковник глянул в окно и вздрогнул от неожиданности. Живописных отрогов ущелья, поросших веселой зеленой травкой, как не бывало. Со всех сторон АН-2 окружала коричневая кромешная мгла. Самолет бросало из стороны в сторону, и Страхов испугался, что его перевернет на спину, и девушка не справится с пилотажем. Он сорвался с места и бросил-

ся в кабину. Увидел ее сосредоточенный мрачноватый профиль и капельки пота над закушенной верхней губой. И вдруг, задрав капот, «аннушка» всему наперекор полезла вверх на высоту, вспарывая коричневую муть. Страхов решительно протянул руку к штурвалу.

— Что вы делаете? — крикнул он повелительно.— Немедленно уходите под нижнюю кромку.

Девушка стремительно обернулась, и темные большие ее глаза вспыхнули гневом.

— Пассажир, вернитесь на свое место!

— Как бы да не так! — взревел полковник.— Если я попал на борт вашего деревянного изделия, я тоже отвечаю за тех, кто со мною рядом. Отдайте управление, девчонка несчастная.

— Пассажир, идите на место,— уже более миролюбиво ответила летчица. Машина вдруг провалилась вниз сразу на несколько десятков метров, и второй пилот в панике отнял руки от штурвала.

— Спокойнее, Сенечка,— язвительно заметила она,— иначе после посадки отведу тебя к невропатологу. Причем самолично.

«Аннушка» полезла вверх, и стрелка высотомера вернулась в прежнее положение.

— Откуда вы взяли, что надо вниз,— не оборачиваясь, но еще более миролюбиво спросила она у Страхова.— В горах уходить под нижнюю кромку облаков — верная возможность сыграть в ящик. А это не входит в мои планы. Вот перепрыгнем пыльную бурю, и все будет в порядке.

— А если движок захлебнется, что тогда? — огрызнулся Страхов.

На губах летчицы появилась неопределенная усмешка.

— Тогда, по всей вероятности, мы будем этот разговор завершать в раю,— совсем некстати улыбнулась она.

Натужно гудя мотором, самолет лез все выше и выше. Постепенно стала редеть коричневая мгла, над ее верхней кромкой проступило голубое небо. Спокойным голосом летчица посылала на землю отрывистые слова:

— Вас поняла... небо вижу... все в порядке.

Страхов, оглянувшийся назад, коротко сказал:

— Там, кажется, беременную пассажирку тошнит.

— Обождет,— грубовато ответила летчица,— от этого еще никто не умирал.

Пыльная буря оставалась позади, и даже мотор гудел теперь веселее. Впереди с большой высоты уже отчетливо просматривались контуры города, омытого морем, здание аэровокзала и самолетные стоянки аэродрома. Теряя высоту, АН-2 заходил на посадку со стороны моря. Бежала навстречу серая бетонка, и вот колеса застучали по ней. Подпрыгивая, «аннушка» зарулила на стоянку.

Борттехник раскрыл дверь и коротко объявил всем находившимся в самолете:

— Рейс окончен, товарищи пассажиры.

Страхов спустился на землю последним, но сразу отстал от своих соседей. Что-то его тяготило, мешало ускорять шаги, и он прекрасно знал что. Хотелось еще раз посмотреть на молодую строптивую летчицу. Он обернулся и увидел, что женщина, покинув фюзеляж АН-2, стоит под винтом самолета и держит руками конец холодной лопасти. И смотрит ему вслед. И тогда он решительно направился к ней. Летчица нисколько не удивилась; и можно было подумать, что она знала: по-иному быть и не могло.

Он приближался медленно, но твердо, и когда оставался последний шаг, она бросила лопасть винта и головой ткнулась в его пропылившийся китель. И было непонятно, смеется она или плачет. Он только видел вздрагивающий от налетающего ветерка «конский хвост», хотел погладить ее по голове, но не осмелился.

— Спасибо вам,— тихо проговорила женщина.

— Вот как! — усмехнулся Страхов.— Сначала окрик — убирайтесь на свое место, а потом спасибо. Да за что же?

Она подняла голову:

— А за то спасибо, товарищ полковник, что помогать мне кинулись. Я ведь по-настоящему растерялась от того, что первый раз в пыльную бурю попала. А когда увидела вашу Золотую Звездочку и значок летчика первого класса, сразу злость и уверенность пробудились. Но зачем вы под облако советовали мне уходить? Вот чудак! В горах этого делать нельзя — погибель.

Страхов охотно признался:

— А ведь я в горах никогда не летал, тем более на

АН-2. Я в войну ИЛы пилотировал. А на них, если в плохую погоду попал, лучше к земле прижиматься, потому что в облаках всегда столкнуться с соседом боишься.

— Когда это было? — задумчиво спросила летчица.

— С сорок третьего и до конца войны.

Она как-то печально улыбнулась:

— В ту пору меня и на свете не было. Меня в конце сорок пятого в детдом подкинули. Родителей своих не знаю, да и видеть их не хочу,— произнесла она жестко.— А в детдоме задумались, как назвать, и назвали Валентиной Ивановной. А фамилию Мошкина дали.

— Ошиблись,— тихо рассмеялся полковник.— Вы не Мошкина, вы — Соколова. Вы сегодня одержали такую победу, что по такому поводу не грех из бутылки шампанского выстрелить.

Темные глаза Валентины прищурились:

— Что же, я не возражаю. Приглашайте!

* * *

От ярко освещенного в южной ночной темноте аэровокзала городок, где обитали летчики и техники авиаотряда, находился не более, чем в километре. Ночных рейсов было мало, и гул двигателей лишь раз прорезал тишину за то время, пока Страхов и его спутница прошли это расстояние. С гор потянуло холодом, и ее острые плечи под узкими форменными погончиками зябко вздрогнули. У пятиэтажного крайнего дома Валентина остановилась и кивнула на светившееся окно.

— Муж дожидается,— сказала она вяло.— И опять пьяный, наверное. С тех пор как пошел работать в службу быта, пьет почти каждый день.

— А это ничего, что в такую поздноту я с вами,— смутился Страхов.

Она засмеялась:

— Неужели вы думаете, что меня по ночам всегда мужчины провожают? Эх, Павел Николаевич, сегодня у меня день особенный. Первое, можно сказать, летное происшествие в жизни пережила.

Она умолкла, и за этой ее неоконченной фразой полковник уловил оставшиеся недосказанные слова и без труда понял, что они, эти слова, были бы о нем.

И окончательно растерявшись, продолжая глядеть на это ярко освещенное окно, он тихо спросил:

— А вы с ним живете дружно?

— По всякому,— с вызовом ответила Валентина.

В темноте он не видел ее глаз, только по голосу понял, насколько она печальна. И, поддаваясь ее печали, подумал полковник о своей нескладной жизни. Страхов женился в конце войны прямо на фронте на полковой радистке Вере Полозовой, но она умерла от тяжелой неожиданной болезни, оставив у него на руках пятилетнего Сережку. Через несколько лет он женился снова на бойкой зеленоглазой сотруднице концертного гастрольного бюро, но она оказалась весьма вероломной и не однажды предавала его, находившегося в бесконечных командировках. В конце концов они разошлись, и с тех пор, вот уже около десяти лет, он жил одиноко, потому что сын вырос, окончил геодезический институт, женился и уехал на Дальний Восток.

Страхов смотрел на молодую летчицу и вдруг подумал о том, сколько счастья смогла бы подарить ему такая женщина, будь они вместе.

Она молчала, думая о чем-то своем. Потом, словно очнувшись, каким-то нерешительным призрачным движением погладила его руку:

— Во сколько завтра уходит ваш поезд?

Он ответил.

— Я вас обязательно приду проводить,— произнесла она твердо, и они расстались.

* * *

Вот о чем вспомнил полковник Александр Николаевич Страхов, стоя в коридоре вагона. А когда он возвратился в свое купе, то подумал о том, что в том же коридоре вместе с этими воспоминаниями он оставил целую страницу своей жизни и что она уже никогда больше не повторится, как и многое в судьбах человеческих. И, напряженно улыбаясь, он сказал своим спутникам:

— Вы ждете от меня интересного рассказа? Дорожной новеллы? Простите, но ничего подобного не последует. Все это я выдумал от начала и до конца. Давайте-ка лучше найдем еще одного партнера и расчертим пульку. Дорога все-таки дальняя.

Шире шаг

— Шире шаг! Только тогда ты добьешься удачи! — говорил старшина Егор Волков, и эта строевая команда звучала в его устах по-особенному. Широколицый, с ярким здоровым румянцем на щеках и хитроватым прищуром темных глаз, он почти всегда улыбался, обнажая молочно-белые крепкие зубы, никогда не знакомившиеся ни с одним инструментом стоматолога.

Несмотря на некоторую грузность своей фигуры, Волков был крайне подвижным, полным энергии человеком и гонял нас, курсантов школы стрелков-радистов, на совесть с утра и до отбоя, придираясь и к плохо выглаженному подворотничку гимнастерки, и к неряшливо заправленной койке, не говоря уже о плохо вычищенной после стрельбы винтовке, небрежно поставленной в пирамиду. Бывало, мы возмущались, и кто-нибудь говорил о старшине нарочито громко, чтобы тот услыхал:

— Житья не стало от татарина. По две шкуры в день готов спустить с каждого.

А Волков оборачивался, перехватив эти слова, и до ушей расплывался в улыбке.

— Я вам действительно татарин,— оскаливался он в ухмылке.— Но татарин какой? Я не из тех татар, которые Россию под игом держали. Я татарин казанский.

А с каким самозабвением командовал он строем, если вел его в столовую! От нашего аэродрома до столовой было чуть более километра. Бывало, что после классных занятий либо учебных полетов выстраивал он роту и, расправив бравым одним движением на гимнастерке складки над туго натянутым ремнем, подавал команду, с шиком проглатывая букву «а»:

— Шагом арш!

В весеннюю или осеннюю хлябь асфальт на дороге покрывался нередко тонкой предательской корочкой льда, по которой трудно было идти даже обыкновенным шагом. Но какие только мучения не посылал на наши головы старшина Волков. Обегая строй, он весело прикрикивал:

— Раз, два, три... раз, два, три! Стрроевым! Запевай!

Подкованные наши сапоги гремели по ледяному по-

крову дороги, и шагавший в середине строя курсант Сотников звонко начинал:

Пропеллер, громче песню пой,
Неся развернутые крылья...

Мы подхватывали, но горланили вразнобой, чтобы досадить упрямому старшине, а тот, это прекрасно понимая, тотчас же выигрывал завязавшуюся дуэль.

— Плохо поете! — выкрикивал он.— Аттстаить! Шире шаг! Не слышу ноги! — и подавал ту самую команду, которая мгновенно повергала всех нас в тихую злость и уныние.— Бе-гом!

А что такое бежать, когда, как тебе представляется, весь земной шар покрыт гололедом. Солдатские подковы скользят по ледяной поверхности шоссе, и тебе кажется, что вот еще секунда, другая и ты растянешься по всем правилам. А старшина знай себе улыбается да подстегивает:

— Шире шаг... живей... Востриков, почему и зачем в строю качаешься. Ты разве вчера был у тещи на блинах? Она тебе их с самогоном подавала, что ли?

И каким же облегчением было услышать голос наконец-то смилостившегося старшины:

— Шагом... раз, два, три!

Рота замирала у краснокирпичного здания столовой, отстучав положенное количество «шагов на месте». А потом мы врывались в просторный зал, и он наполнялся веселыми голосами, звоном ложек и вилок. Запах вкусного борща заставлял нас немедленно прощать немилосердного старшину. А Волков сидел среди нас и с завидным аппетитом опустошал свою миску и, не гася улыбки, повторял свой, очевидно, ему очень нравившийся афоризм:

— Шире шаг, ребята. Только тогда ты добьешься удачи!

22 июня 1941 года над всей нашей страной взорвалась мирная тишина. Мы стояли на территории Западного Белорусского Военного округа. Уже на третий день войны девятка СБ вылетела бомбить танковые колонны, рвавшиеся в направлении Минска. Ее повел командир нашей эскадрильи капитан Безродный, добрый, не очень речистый человек, с несколько суровым обветренным лицом. При этом он был таким же спокойным, каким бывал

всегда, когда летал на полигон бомбить учебные цели. В задней кабине за пулеметной турелью сидел старшина Егор Волков. Это был жестокий кровавый вылет. При отходе от цели девятку атаковали восемнадцать «мессершмиттов» и сожгли три наших бомбардировщика. Волков непрерывно отстреливался от целой четверки и сумел сбить один вражеский истребитель.

— Шире шаг, командир! — весело закричал он по внутреннему переговорному устройству.— Проклятый фашист горит и кувырком летит на землю.

А из пилотской кабины в ответ донесся короткий стон.

— Я ранен, Волков. Теряю сознание. Выпрыгивай!

— Никак нельзя, командир! — громко закричал старшина.— Нам нельзя погибать. Война только начинается. Мы должны дотянуть.

— Знаю,— донеслось из пилотской кабины слабо,— ты сейчас скажешь...

— Шире шаг, товарищ командир!

— Только тогда добьешься удачи,— закончил за него капитан Безродный.— Буду стараться, как ты-то сам?

Но задняя кабина не ответила. Безродный не знал, что в эту самую минуту осколок близко разорвавшегося снаряда пробил плексиглас и смертельно ранил старшину. И через минуту примерно, прежде чем навеки закрыть глаза, напрягая последние силы, успел произнести Волков:

— Ничего, командир, шире шаг!

Мы похоронили Егора на самом краю аэродрома, потому что в воздухе непрерывно висели фашистские «юнкерсы» и не было возможности сделать это на далеком от гарнизона городском кладбище. Комья сухой, потрескавшейся от зноя земли застучали о крышку его гроба.

...Сколько прошло с тех пор военных и мирных лет! Но я никогда не забуду широкое улыбающееся лицо Егора Волкова, его добрые с хитринкой глаза и зычный настоящий старшинский голос, которым он нами командовал. И всякий раз, когда мне бывает трудно, я всегда повторяю себе в укор его короткую фразу:

— Шире шаг! Только тогда ты добьешься удачи!

Умирал человек

Умирал человек. Был он еще не стар, если не считать седых волос да густой сетки преждевременных морщин под глазами. Был он ученый и строитель, недавно повернувший огромную реку в новое русло. Был он из тех, чьи портреты печатались в газетах и о ком говорили дикторы телевидения в последних известиях. Человек знал свою болезнь и беспомощность врачей перед ней. И когда главный из них склонился в хрустящем своем халате над его изголовьем и, погладив его, совсем как маленького, по пепельным волосам, изрек с профессиональной улыбкой утешающего: «Ничего, старина, держитесь бодрее, и все образуется»,— умирающий вяло пошевелил отяжелевшими губами:

— Не надо, профессор. Не надо делать секрета из моей предстоящей смерти. По крайней мере, для меня, профессор.

Человек был из тех, кто любую беду и даже смерть готов был встречать стоя. За плечами у него оставались прожитые годы, исхоженные дороги, а косая отметина на левом виске от осколка означала, что успел человек побывать и на войне. И главный хирург, заглянувший в темные цепкие зрачки и увидевший в них крошечное отражение своей головы, увенчанной белым колпачком, понял, что такой не нуждается в утешении.

— К вам ребятишки,— произнес он, помедлив и сопроводив эти слова неопределенным кивком на дверь.— Вас это не утомит?

— Пускай войдут,— тихо сказал человек.

И они вошли... Пионеры из дружины, носившей его имя, и сразу наполнилась щебетом большая палата, где и над мягкими низкими креслами, одетыми в строгие серые чехлы, и над столом с букетом диких огненных маков в хрустальной высокой вазе витал душный неистребимый запах больницы. Потом пришли студенты: им он совсем недавно читал лекции по энергетике северных рек. И хотя они вели себя строже, чем пионеры, все равно сдержанная печаль плохо удавалась их лицам, и это даже несколько развеселило больного. А после у его изголовья сидела печальная женщина в темно-синем платье со следами увядающей красоты на измученном лице,

первая его спутница и помощница. Приходили друзья и родственники, и наконец, когда стал он уже утомляться, ему сказали:

— Там еще к вам просится один. Весь в черном.

— Пускай и он,— тихо произнес человек.

И перед ним появился один из его давних знакомых, который на каких-то отрезках жизни мог бы даже называться и близким. Он действительно был весь черный от тупоносых ботинок до густой шевелюры. Он пожал руку человека черной от загара рукой, и на черных его пальцах пошевелились жесткие черные волоски.

— Ты пришел проститься? — спросил его человек.

— Да, проститься,— глухо ответил черный, и голос у него был резким, как глубокие складки на лице.— И не только проститься, но и попросить у тебя прощения.

— За что же именно? — удивленно приподнял голову человек.

— Я вредил тебе всю свою жизнь,— тихо, но твердо вымолвил черный.— Разве ты не знал об этом?

— Нет, не знал,— строгим шепотом ответил ему человек.

— Тогда послушай,— быстро продолжал черный.— Мы почти тридцать лет шли по жизни рядом, начиная со студенческой скамьи. И ни на один день, и ни на один час я не выпускал тебя из вида. Я следил за тобой и все время тебе вредил.

— Что же ты сделал? — спросил человек устало.

— Помнишь, как тебя арестовали?

— Помню. Это было более четверти века назад, и я просидел в тюрьме меньше месяца. Следственные органы быстро разобрались и принесли извинения.

— Ты сидел по моему доносу,— зашептал черный.— А помнишь, как шесть лет подряд не утверждали твой проект и ты бегал по всем инстанциям, ругался, спорил, впадал в отчаяние. Это была тоже моя работа. Я писал тогда во все инстанции, что твой проект авантюра, а сам ты бездарен. Я всюду сеял о тебе слухи и брал каждую новую твою работу на закрытые рецензии, а потом давал уничтожающие отзывы. И мне верили, потому что у меня тоже был авторитет и ученое звание и я умел с фарисейским видом прикрываться афоризмом: «Платон мне друг, но истина дороже».

Человек сделал резкое движение, но черный предостерегающе поднял руку:

— Нет, подожди, не перебивай, я все должен тебе рассказать. Помнишь, как в пятьдесят девятом мы встречали в одной шумной компании Новый год.

— Да, я помню,— улыбнулся человек чему-то своему.— Это было в ресторане «Прага», и тогда было очень весело, и я даже танцевал.

— Значит, ты должен помнить, как я поднял бокал и произнес тост. Это был страшный тост. Я сказал: «Давайте выпьем за то, чтобы видеть своих врагов мертвыми». Ты меня остановил. Ты положил мне руку на плечо и громко возразил: «Послушай, нельзя быть таким жестоким. Лучше выпьем за человека и справедливость». Ты так сказал, но ты не знал, что, произнося этот тост, я имел прежде всего в виду тебя.

— Говори, говори,— прошептал человек.

— Помнишь, как тебе долго не давали звания доктора наук. Это тоже моя работа, ибо это я писал подметные письма во все ученые советы. А когда ты уезжал в далекие командировки, я умышленно знакомил твою жену со всякими прилизанными альфонсиками. И хотя мне никогда не удавалось сбить ее с пути, но подленький слушок всякий раз возникал, и он уколом иглы отдавался в твоем сердце.

— Зачем же ты все это делал? — спокойно спросил человек, и в его глазах не было больше испуга и ожидания, в них горел суровый сосредоточенный огонь осуждения.

— Я всю свою жизнь тебе вредил! — почти выкрикнул одетый в черное.— Завидовал и вредил. Вредил и завидовал. Я писал доносы, а ты строил. Я тайком наносил тебе удары, а ты делал открытия. Я старался поставить тебя на колени, а ты спотыкался и шел вперед. Я ничтожество и хочу, чтобы ты перед смертью узнал обо всем этом. Узнал и простил. Все-таки в молодости мы учились в одной аудитории, были искренними друзьями, вместе ели пайковый хлеб. Ты простишь...

Черный напряженно вглядывался в неподвижные стынущие глаза умирающего, и ему стало не по себе от того, что они молча и строго глядят на него в упор. Такой взгляд — пистолетный выстрел. Но вот человек моргнул, и глаза его потеплели.

— Я бы тебя простил,— тихо, но твердо выговорил он.— Но люди тебя никогда не простят, потому что если бы не ты...

— Что бы ты сделал? — весь подаваясь вперед, жадно ловя каждое слово умирающего, произнес черный.

— Если бы не ты, я бы успел построить еще две гидростанции,— спокойно ответил человек.

Далеко не заплывай

Мы нежились на мягком песке «дикого» пляжа, еще не успевшем накалиться в этот утренний час. Мы — это я,— студент-практикант далекого от берегов моря гидромелиоративного института, матрос здешней спасательной станции Гриша, тридцатилетний курчавый здоровяк, бронзовое тело которого было разделано самыми фантастическими татуировками. Его мускулистые руки были сплетены якорными цепями, на спине, распластав широченные крылья, сидел орел, а мощная грудь была украшена голой наядой, увенчанной мелкой подписью «рыбачка Соня». Сейчас он лежал на животе, и наяды не было видно. Зоркими глазами Гриша обозревал пляж, быстро наполнявшийся отдыхающими.

«Дикие» курортники сплошным потоком спускались по щербатым обожженным солнцем ступеням лестницы и толкались в поисках удобного места. Так и казалось, что кто-то выпустил на берег этот пестрый цветастый ручей разноцветных зонтиков, шляпок, панам, халатов, босоножек, сумочек и никак не может его остановить. Разомлевший от еще ласкового и милосердного солнца, Гриша лениво поднял голову и, всматриваясь в этот поток, неожиданно оживился.

— Смотри-ка, кажется, наш профессор движется. Хороший папашка. И элексир жизни с ним рядом балетными шажками топает.

Я посмотрел в сторону, куда указывал мой знакомый, и увидел спускающегося к берегу грузного рыхлого пожилого мужчину в парусиновых брюках, бледно-розовой тенниске и соломенной шляпе с широкими полями. Шаг у него был тяжелый. Может быть, от того, что в пра-

вой руке нес он солидную клетчатую сумку, такую необходимую в данной обстановке. С ним рядом шла молодая женщина в легком полосато-красном платьице, вся смуглая и до того легкая, что так и казалось, будто не идет она, а летит над землей. Ветер шаловливо обдавал ее всю с ног до головы, ласкал черноглазое лицо с прямым заостренным носом и ямочкой на подбородке. Иногда его порывы раздували полосатое платьице, и она так изящно зажимала его коленками, что нельзя было не залюбоваться ее наивно-кокетливыми движениями. При этом она оглядывалась, и черные ее глаза были заразительно веселыми.

— В десятый раз вижу эту пару,— мрачно произнес матрос Гриша,— и никак не могу додуматься, кем она профессору доводится: дочкой или кем еще.

— А откуда ты взял, что это профессор? — удивленно поинтересовался я.

— Как откуда? — усмехнулся Гриша.— По обличию. Лицо у него этакое, эрудированное, что ли,— старательно выговорил он редко употреблявшееся слово.— Ясное дело, профессор. Был бы академик, на «дикий» бы пляж не ходил. В персоналке где-нибудь отдыхал бы.

Тем временем пожилой человек и его спутница расположились совсем близко от нас и стали раздеваться с той откровенностью, какая возможна лишь на курортном пляже.

Мужчина снял соломенную шляпу, и ветер набросился на его седые редкие волосы, обнажающие на макушке красноватую лысинку. Женщина осталась в одном купальнике с белым пауком на груди. Ей не терпелось в воду. Повернувшись к морю, она оценивающим взглядом ловила белые гребешки волн, старательно заправляла темные волосы под резиновую шапочку. Ее гибкие, согнутые в локтях загорелые руки при этом двигались так изящно, словно она выполняла какую-то, одной ей известную зарядку. И, честное слово, вся устремленная вперед, обласканная солнцем и ветром, она была в десять раз лучше тех облупившихся гипсовых античных фигур, что стояли у входа на пляж.

— Я пойду,— игриво бросила она своему спутнику, который с одышкой стаскивал с себя брюки.

— Ты же смотри, Валя, все-таки два балла,— крикнул он ей вдогонку. Но она, удаляясь, лишь вздернула левым

плечом, как это делают дети, когда их просят быть осторожнее. Теплая морская пена ласково лизнула ее ноги, брызгами обдав их по самые колени, и женщина бросилась в волны. Мы увидели, как по-мальчишески загребая, легко плывет она среди белых гребешков. Ее пожилой спутник, успевший к этому времени раздеться, тоже поспешил в воду. По пути он неловко размахивал руками, наступая на острые камни и корчась от этого. Зайдя в море, он сначала осторожно поплескал большой, покрасневший от солнца живот и грудь, густо поросшую седыми волосами. Поплескал так, как это делают, собираясь окунуться, все, кому уже пошла вторая половина века, потом лег на спину и поплыл. Однако уже третья волна захлестнула его. Сопя и отдуваясь, мужчина поплелся к берегу, сопровождаемый звонким смехом своей спутницы, доносившимся с далекого от мелководья расстояния, оттуда, где мелькала среди волн ее белая шапочка. Осанистый мужчина добрел до нас и вяло опустился на топчан. На его обгоревших плечах солнце жадно выпивало соленые морские капли.

— Вы прикройтесь,— наставительно заметил Гриша,— эка обгорели.

— Благодарствую за совет, коллега,— добрым голосом откликнулся сосед.— Солнце, оно действительно беспощадно в своем сегодняшнем проявлении. Ни стариков, ни молодых не щадит. И ореховое масло не спасает. Такая, знаете ли, досадная боль по вечерам.

— Вашей даме повезло больше,— продолжал Гриша,— у нее загар ровный, и она ваших мук не испытывала.

— Вы хотели сказать, жене,— поправил старик и улыбнулся.

Он явно выигрывал от улыбки. Его лицо в молодости было весьма привлекательным: высокий, умный лоб, выпуклые выразительные зеленые глаза, таящие мысль, складки в углах рта, прятавшие добродушную иронию этого с годами отяжелевшего человека.

— Она ваша жена?! — прямолинейно высказался Гриша.

— Да, молодой человек,— подтвердил старик,— и это так же точно, как и то, что орел, коего вы изволили вытатуировать на своей спине в юности, имеет не три, а два крыла.

— Же-на! — еще раз бестактно протянул Гриша.

— Именно, именно,— весело закивал старик белой головой и заулыбался, но улыбка у него была насильная, горькая. Казалось, что он ею обжегся. Удивленный Гриша так и не поверил седой кивающей голове,— глянул в море, где среди белых гребешков с прежней беззаботностью порхала белая резиновая шапочка.

— Не верите? — с явным разочарованием вздохнул старик.— Эх, молодость, молодость. Я тоже часто не верю. Ведь Валя моложе меня ровно на четверть века. Она еле-еле реагировала на погремушку, когда я защитил кандидатскую степень. А когда я стал читать в институте курс железобетонных конструкций, уже будучи доктором наук, ее единственным нарядом были ползунки.

Гриша толкнул меня в бок.

— Вот видишь, я же говорил тебе, он — профессор.

— Что? Профессор! Давно уже, дорогие мои, профессор. А потом война, эвакуация, очереди за хлебом, нетопленные аудитории. В сорок четвертом умерла жена, и я пятнадцать лет был одиноким. А потом вот на ней, на Вале... она была самой любимой моей студенткой. А теперь жена. Вы понимаете,— жена! Полюбила меня, пятидесятилетнего! И знаете, как только женился, я вдруг почувствовал, что сразу лет на двадцать помолодел. Да, да,— великая сила молодая жена. Она принесла с собою такое обновление! Я теперь делаю все, чтобы жить ее интересами, радостями и заботами. Это так интересно, мои молодые друзья, так интересно! Мы, например, сейчас путешествуем по черноморскому побережью и санаторной оседлости предпочли кратковременные остановки на правах «дикарей». Ялта, Геленджик, теперь Сочи. Мы нигде не заводим длительных знакомств. Право, они беспокойны.

Профессор говорил и говорил, голос его становился монотонным, и мы начинали постигать, что такое означает на его языке «живу одними интересами с молодой женой», и то, почему курортным путевкам он предпочитает кратковременные заезды в черноморские города, ограниченные случайными шапочными знакомствами.

Профессор говорил и говорил. Но вдруг в равномерное жужжание этого старого шмеля ворвались какие-то новые тревожные нотки. Седая голова все чаще и чаще стала поворачиваться в сторону моря.

— Да, я переживаю теперь какое-то поистине невероятное омоложение, мои молодые друзья. Однако...

И мы тоже посмотрели на море. Белая Валина шапочка с прежней беззаботностью прыгала над волнами. Но рядом с ней появилась другая, зеленая, и мы услышали (на воде порою с ненужной громкостью звучат человеческие голоса) звонкий молодой голос:

— Вы держитесь ко мне поближе, Валюша. Здесь кидает сильнее.

Потом над гривой волн поднялись две руки, сцепленные в одно согласное рукопожатие. На загорелом лице под зеленой купальной шапочкой обозначились тонкие черные усики. Валя и ее случайный партнер по заплыву, хохоча, гребли к берегу, стараясь держаться на воде с помощью одних только ног, потому что руки их были победно подняты над поверхностью моря.

Профессор забежал по щиколотку в воду, сложил рупором ладони и, стараясь победить озорной ветер и шум накатывающейся волны, закричал:

— Валюша, осторожнее, поворачивай к берегу, Валюша! Далеко не заплывай.

Но едва ли за веселым беспорядочным шумом волн Валя его услышала.

Колода карт

Редактор городской газеты, щупленький лет за сорок блондин с залысинами и тонкими кистями рук, покоящимися на мокром типографском оттиске, только что внесенном в кабинет метранпажем, утомленными, подслеповатыми глазами — роговые очки лежали на столе — внимательно глядел на нового сотрудника, совсем еще молодого Алексея Глебова с несбритым пушком над верхней губой и непокорно топорщившимся на голове ежиком волос.

Торопясь и волнуясь, что свойственно всем молодым сотрудникам, Глебов докладывал об итогах своей командировки. Лицо его выражало предельную настороженность.

Глебов ездил в небольшой живописный городок Зе-

ленохолмск, опоясанный горной грядой на раскопки старых фронтовых траншей.

Тридцать лет назад, в июле сорок четвертого года, взвод пехотинцев сдерживал здесь в течение двух суток целый фашистский батальон, позволив совершить нашим войскам обходный маневр. Смельчаки погибли все до единого, и тридцать лет о месте их погребения никто не знал. За это время стали взрослыми их дети, поседели убитые горем вдовы, с земли, политой их кровью, было снято тридцать урожаев. Тридцать раз выпадал на нее снег и тридцать раз растапливало его весеннее солнце. И вот при случайных обстоятельствах были обнаружены братские могилы.

— Вы что-нибудь привезли с места раскопок? — сухо откашлявшись, спросил редактор.— Что-нибудь существенное?

— О да, конечно! — пылко воскликнул Алексей Глебов и положил на редакторский стол сверток.

Зашуршала бумага, и редактор увидел полуистлевший обрывок полевой карты, какими пользовались на войне все командиры взводов, рот и батальонов, и черный земляной прямоугольник. Пахло от него сыростью, тленом и вечным покоем тех, с чьими останками рядом был он найден. Взгляд редактора стал вопросительным.

— Это, по-видимому, записная книжка,— горячо и быстро заговорил Глебов и зачем-то сунул в карман серых джинсов левую руку.

— Посмотрите внимательнее, Анатолий Власович,— вот тут, где земля осыпалась, даже ее уголки проглядывают. Она была найдена рядом с куском полевой сумки, но тот рассыпался в пыль, едва к нему прикоснулись. И тогда я сказал старшине-саперу, руководившему раскопками: «Послушайте, а это вы не трогайте. Отдайте мне. Разве не видите, что под этой землей записная книжка». И он отдал. А я думаю, что эта записная книжка самого командира взвода: лейтенанта или младшего лейтенанта. Ведь во взводе никто больше не мог носить офицерскую полевую сумку. Ведь так?

— Вы наблюдательны,— сдержанно похвалил редактор.

— Следовательно, Анатолий Власович,— горячо продолжал новый сотрудник,— в этой записной книжке могут быть его последние мысли, записи о ходе последнего

боя. Ведь они все погибли, отражая танковую атаку. Возможно, что он, видя, как фашистские танки переваливаются с бугра на бугор, записал в ней последние свои слова что-то жене и детям, а быть может, и всему нашему поколению.

— Что-то патриотическое,— подхватил редактор.— О! Тогда мы имеем возможность прогреметь на весь Советский Союз. Вы оставьте свою находку, а я пошлю ее криминалистам в лабораторию. А сами завтра этак часиков в двенадцать заходите.

На другой день, сгорающий от нетерпения Глебов в назначенное время переступил порог кабинета. Редактора он застал в прежней позе, только оттиск газетной страницы был новым.

Утвердив на переносье роговые очки, редактор сухо сказал:

— Не получилось, Глебов. Полное разочарование. Это вовсе не записная книжка.

— А что же? — не совсем смело спросил молодой журналист.

— Всего-навсего колода карт,— пренебрежительно вымолвил редактор.— Самые банальные игральные карты. Тройка, семерка, туз, короли и валеты и прочая шушера. Огорчительно, но как принято у нас, у газетчиков, говорить: полный прокол.

— Я могу быть свободным? — горько вздохнул Глебов.

— Да, да, разумеется,— последовал утвердительный ответ.

Вечером, завершив все свои текущие редакционные дела, Глебов возвратился домой. Ночью ему не спалось. Неясные мысли не давали покоя. Записная книжка оказалась всего-навсего колодой карт. Конечно, досадно.

В окне стоял серпастый месяц, застыло звездное небо, опрокинутое над буйно цветущими весенними садами и крышами города. Прикуривая папиросу от папиросы, Глебов пристально вглядывался в редеющий сумрак, и воображение рисовало ему одну за другой картины уже далекого прошлого. «Ну и что же, что это не записная книжка, а колода игральных карт,— подумал он с неожиданным ожесточением.— Ведь этими картами играли они».

И он представил себе, как в сырой, наспех вырытой

траншее сорок человек двое суток сражались против двухсот гитлеровцев, вооруженных танками и орудиями, как прошивали над бруствером воздух фланкирующим огнем пулеметы, как подползали ночью фашисты к этой траншее и, бросая гранаты, орали хриплым голосом: «Рус капут!», «Рус, сдавайсь!». А сорок смельчаков стояли насмерть. Они уже не надеялись остаться в живых и все-таки не произносили мрачного слова «смерть». И, может быть, пока одни из них вели наблюдение и перестрелку, другие брились, писали письма, а четверо или шестеро резались в «дурачка», воспользовавшись этой колодой карт. Взлетали над опустевшим патронным ящиком восьмерки, десятки и короли, и люди, уже твердо знающие, что они стоят одной ногой по ту сторону жизни и не могут надеяться на счастливый исход, выкрикивали сквозь махорочный дым:

— А туза не хочешь!

— А козырную десятку потянешь?

— А вот тебе еще две шестерки на погоны.

И смеялись хриплыми простуженными голосами, словно не последняя танковая атака противника ожидала их впереди, а самые обычные земные дела. И не исключено, что, когда на бугор вырвались десять зловещих танков с крестами, командир крикнул: «По местам!» По его приказу двадцать человек, обвязавшись гранатами, должны были бросаться под гусеницы, а оставшиеся прикрывать их атаку. И, может, перед тем как встать и прикрепить к своему поясу противотанковые гранаты, их легендарный комвзвода аккуратно сложил эти карты в колоду, одна к одной, краплеными сторонами наверх. Сложил, посмотрел на них и вздохнул, подумав, что эта колода карт была тем последним и единственным, что отвлекало всех их от горьких раздумий о жизни и смерти. И легла эта самая колода карт на дно полевой сумки комвзвода. А через несколько минут он бросился с гранатами под гусеницы фашистского головного танка, и прощальным ему салютом был столб горевшей солярки, взрывавшихся патронов, обугленных кусков железа и стали, разметанных взрывом.

«Вот какая это колода карт,— взволнованно думал молодой журналист Глебов,— она до сих пор хранит на себе тепло их рук, их дыхание, их шутки и восклицания, этих сильных людей, навсегда оставшихся бессмертны-

3 Заказ 1497

ми. Вот как надо было бы написать об их последних часах, чтобы все было ярко и правдиво».

После бессонной ночи он пришел к редактору и, волнуясь больше прежнего, путаясь в неожиданно нахлынувших словах, пересказал ему сюжет своего будущего очерка, а потом долго ждал, чем закончится мучительно долгая пауза.

— Да, это впечатляюще и даже романтично в некотором роде,— снисходительно произнес редактор, притрагиваясь к роговой оправе очков,— но... для нашей газеты не подойдет!

Две ситуации

Писателю было уже семьдесят с лишним. Он давно не писал новых книг, а старые, которыми когда-то так увлекалась молодежь, не переиздавались. Иные его бывшие ученики, ставшие ныне известными прозаиками, полагали, что его давно уже нет в живых. Да и не мудрено, потому что ни на дискуссиях, ни на литературных вечерах он уже несколько лет не появлялся. Похоронив жену, он жил одиноко в скромной двухкомнатной квартире, тесной от книжных шкафов и стеллажей. На стекла той полки, где виднелись разноцветные корешки тридцати четырех написанных им книг, летом так быстро садилась пыль, что ее не успевали стирать. В три дня раз проведывала его баба Маша, такая же ветхая, как и он, занималась приборкой, готовила обед и уходила, иногда философски замечая:

— Вот теперь-то ты понимаешь, батюшка, что к великим и обнакновенным судьба в старости одинаково беспощадна. Эх, Дмитрий Кондратьич, забывают их человеки!

— Да нет, отчего же, Мария Степановна,— неуверенно возражал писатель.— Я бы так не полагал и даже совсем напротив.

Но баба Маша все-таки сеяла горькие зерна сомнения, и после ее ухода старик долго не мог отрешиться от невеселых раздумий, убеждающих, что во многом она права. С книжных корешков он переводил взгляд на пузырьки с лекарствами и вздыхал.

Телефон на письменном столе, оттого, что к нему

редко прикасались, тоже был почти всегда подернут устойчивым слоем пыли. И когда в одно довольно-таки ясное и солнечное осеннее утро раздался настойчивый звонок, старик удивился и не сразу снял трубку. Приложив ее к уху, он услышал бодрый незнакомый голос:

— Здравствуйте, дорогой Дмитрий Кондратьевич. Я так рад, что застал вас дома. Это говорит заведующий библиотекой завода «Красный богатырь». Я совсем недавно узнал, что вы гм... гм... обитаете в Москве. Мы подготовили большой диспут по вашим книгам. Не смогли бы вы на него к нам прийти? За вами, безусловно, заедут наши товарищи.

Старик просиял от волнения, раскашлялся.

— Как, мои книги читают и сейчас? О, как это превосходно. Значит, не напрасно прожита жизнь.

Диспут продолжался около трех часов. А когда усталый и чуть раскрасневшийся и помолодевший от счастья Дмитрий Кондратьевич сошел с трибуны, его проводили такими неподдельными аплодисментами, что в искренности читателей он нисколько не усомнился.

— Вы отдохните,— предложила молоденькая библиотекарша.— Посидите у нас в комнатке, пока я вызову машину.

На потрепанных экземплярах давно уже изданных его повестей и романов еще не просохли на автографах чернила, а старик едва-едва успел поправить расческой свою седую редкую шевелюру или, если говорить точнее, все что от нее осталось, когда в комнату вошла молодая женщина, ярко одетая, с тонкими подкрашенными бровками над грустно-сияющими темно-синими глазами. Смущенно теребя театральную замшевую сумочку, она проговорила:

— Дмитрий Кондратьевич, я очень люблю вашу повесть «Под облаками». Это моя самая любимая книга. В ней так смело поставлены проблемы большой чистой любви, равной самопожертвованию.

— Да-а,— протянул старик, машинально посмотрев на свои старомодные туфли с длинными носами.— Я написал эту книгу сорок лет назад. Страшно, как быстро промчалось время.

— Сорок лет назад меня еще не было на свете,— кокетливо призналась молодая женщина, и щеки ее запунцовели.— Мне сейчас двадцать девять.

Старик не спускал с нее вопросительного взгляда, и в блеклых усталых его глазах стоял вопрос: «Чего же вы хотите?» И, словно его прочитав, незнакомка быстро заговорила. По тому, как стиснулись на позолоченном ремешке замшевой сумочки ее неярко отполированные маникюрщицей ногти, старик понял, как она волнуется.

— Извините меня, Дмитрий Кондратьевич. Порою так трудно бывает набраться смелости. Я ведь к вам отнюдь не как к старшему, много повидавшему человеку, а как к психологу и большому художнику, которому безгранично верю. И волнуюсь, и боюсь, и радуюсь, что могу наконец услыхать правду.

— Зачем же волноваться, говорите! — улыбнулся старик.

Длинные ресницы незнакомки спустились на глаза, и голос ее зазвучал глуше:

— Понимаете... вы должны меня сразу понять... у меня муж, дочки-двойняшки, ровный устроенный быт. Но вот я встретила и отчаянно полюбила другого человека. Все поет во мне, когда его вижу и отчетливо верю в то, что не могу теперь без него существовать. Как же мне быть, что же теперь делать? Уйти к нему или вот так же, как сейчас, все скрывать, обманывать окружающих и прежде всего мужа... какая ситуация лучше.

«Ситуация,— отметил про себя старик.— Эка она какими словесами шпарит!»

Его взгляд, минуя светлые локоны молодой женщины, устремился в окно, за которым шумела предвечерняя улица, бледный рот покосился.

— Две ситуации,— машинально повторил он,— и вы спрашиваете совета, какую из них выбрать. Скажите, а у человека, который вам столь дорог, супруга есть?

— Да.

— А дети?

— Тоже двое: мальчик и девочка.

Старик пододвинул к себе прислоненную к ближнему книжному шкафу толстую коричневую палку, сцепил на ней желтеющие жилистые ладони, уткнулся в них подбородком.

— Так,— произнес он врастяжку,— итого четверо взрослых и четверо детей. Слишком велика доля риска.

— Я вас не понимаю,— пролепетала его собеседница.

Он резко оторвал подбородок от сцепленных ладоней.

— А чего же тут понимать! Вы подумали о том, как трудно будет ему, тому, кто вас любит, бросить своих детей и привыкать к вашим? А если новая любовь окажется несостоятельной и скоро даст трещину?

Молодая женщина вызывающе встряхнула головой, и светлые ее волосы рассыпались.

— Что же, вы считаете, что у меня не может быть любви такой, как у Анны Карениной?

— Э... милочка! — ответил старик с дребезжащим смехом.— Не ворошите, пожалуйста, прах Анны Карениной. Иные времена — иные песни. Я не знаю, какую бы ситуацию предпочла бы сейчас Анна Каренина, окажись она в ваших обстоятельствах, но под электричку она явно не бросилась бы.

— Вот как! — вскричала молодая женщина, и ее глаза полыхнули гневом.— И это говорите мне вы, писатель. Значит, и вы, как другие ханжи, против настоящей большой любви!

Каблучки ее ультрамодных туфелек с яркими желтыми застежками негодующе простучали по паркету.

— Несбыточность наших надежд всегда рождает ошибки,— вздохнул ей вслед Дмитрий Кондратьевич. Женщина задержалась на пороге и, не оборачиваясь, сказала:

— Спасибо за проповедь, не за нею я к вам приходила. Эх вы, а еще инженер человеческих душ. Да что вы можете понять! — И дверь оглушительно захлопнулась.

Через некоторое время покинул библиотеку и старый писатель. Отказавшись от машины, он шел домой пешком, стучал по тротуару палкой и думал: «Ну какой ты, собственно говоря, советчик. Ишь, пророк доморощенный выискался. Разве их отношения — это геометрия? Откуда ты, всегда против этого восстававший в молодости, взял, будто прямые линии рождают удачу? Старый ты пень, и не больше. А впрочем, пусть задумается дочка, прежде чем принять окончательное решение. Ведь сложен и то сладок, то горек мир человеческий!

Дмитрий Кондратьевич улыбнулся, и палка веселее застучала по каменным плитам.

Мальчик и медведь

У пятиклассника Вовки Глухова, конопатого плотного мальчика, мать в городской больнице. Еще с вечера Вовкин отец, военный летчик первого класса, уехал ее навестить.

— Ты же смотри,— сказал он на прощание сыну,— будь у меня образцово показательным. Ужин на столе, книги и цветные карандаши на библиотечной полке. Утром с первым поездом я вернусь. И мама со мной, возможно, приедет.

Ночью в кавказских горах лавина сорвала плотину, и огромный бешеный поток обрушился на мирно дремавшие домики авиационного городка. Вспененная вода бурно вырывалась из ущелья, подступала к щуплым финским домишкам, грозя затопить. Отчаянно ржали лошади, мычали коровы, лаяли собаки. Люди, застигнутые бедой, полуодетыми выскакивали на улицу.

Когда раздались первые грохочащие удары, Вовка втянул голову под одеяло в надежде, что скоро все прекратится и можно будет не дрожать от страха. Но удары повторились, на улице стали кричать, и оцепеневший от страха мальчик ясно понял: пришла беда, надо спасаться. Кое-как одевшись, он бросился прочь из дома, по колено в воде бежал к высокому самшитовому дереву, что росло на крутояре. Багровые молнии рвали небо, черное и неприветливое. Вода была ему уже по грудь, когда мальчик, сбросив сандалии, полез по толстому стволу вверх, в кровь обдирая ладони и голые ступни. Достигнув надежной прочной ветви, он сел на нее, спиной прижался к мокрому стволу. Показалось, будто с другой стороны на одну ветку повыше, сопя, забрался еще какой-то мальчишка, куцый и толстый, будто бы одетый в летный комбинезон. «Ишь ты! — с завистью подумал Вовка.— Ему-то теперь не холодно»,— и, пытаясь унять страх, закричал:

— Эй ты! Ты тоже от бури спасаешься?

— Угу! — донеслось с верхней ветки.

— А чего ты такой толстый? Небось отцовский комбинезон одел? У тебя отец тоже летчик?

— Угу,— повторился ответ.

— Повезло,— деловито рассудил мальчик,— а я вот

в одном жакетике выбежал. До костей ветер пронизывает.

Было темно, внизу ревел обезумевший поток, подступивший к дереву. Оттого, что вода с каждой минутой поднималась, Вовке стало жутко. Хотелось говорить и говорить, чтобы чувствовать себя увереннее в этом кромешном, пугающем мраке.

— Отчего ты толстый? — продолжал он укоризненно.— Можно подумать, тебя мать с утра до ночи одним сгущенным молоком кормит. Ты в какой класс ходишь? Чегой-то я не замечал тебя в нашей школе. Наверное, в новой восьмилетке учишься?

— Угу,— последовал ответ.

— А как учишься? — продолжал свой допрос Вовка Глухов.— Я, например, почти по всем на пять. Только по одному письменному четверку схлопотал. Одну ошибку всего и сделал в контрольной — и на тебе, четыре с минусом. У нас Мария Васильевна строгая. А ты! Чего молчишь? Небось на одни тройки тянешь, раз такой неразговорчивый.

— Угу,— донеслось с верхней ветки.

— Да ты чего разгугукался! — сердито воскликнул Вовка.— Угу да угу, и ни одного больше слова. Глухонемой, что ли?

— Угу,— повторилось сверху, и за этим односложным ответом последовало сердитое сопение.

— Обиделся, что ли? — пожал плечами Вовка.— Вот чудак, с тобой и пошутить нельзя. Разве можно на шутку обижаться? А небось, как и я, в пятый класс ходишь.

— Угу,— подтвердил собеседник.

— Вот и сам согласился,— ободрил Вовка.— Давай я повыше залезу и к тебе прижмусь, а то совсем закоченел.

Глухов поднялся по дереву, попробовал ветку, на которой сидел незнакомец,—крепка ли достаточно, и, оказавшись на ней, спиной прижался к нему: сосед одобрительно засопел, а мальчику сразу стало тепло.

— Ишь ты, какой у тебя комбинезон. Как печка. Только, чур, не спать, а то в воду попадем.

— Угу,— согласился сосед. От пережитого напряжения, от ровного усыпляющего шума дождя и живого тепла, согревающего теперь его тело, Вовка сразу размяк.

Веки у него отяжелели, голова стала клониться набок, но угроза упасть вниз в бушующую холодную воду была настолько большой, что он моментально встряхивался, едва лишь пальцы, вцепившиеся в сучок, начинали слабеть и разжиматься. Так в полудремотном состоянии просидел он до самого рассвета.

Буря уже успокоилась, и уровень воды стал заметно снижаться. Ствол самшита все больше и больше вырастал над утихающей, но все еще пенящейся поверхностью воды. Потом пригрело солнце, и над аэродромным поселком поплыли тревожные голоса его обитателей, окликавших друг друга. В этом нестройном гомоне услыхал мальчик и голос своей матери.

— Вовочка, сыночек! — испуганно звала она.

— Я тут, мамочка! — обрадованно откликнулся мальчик и незлобиво толкнул в бок своего ночного собеседника.

— Угу! — сердито откликнулся тот.

— Опять заладил свое «угу»,— разозлился и Вовка. Он резко обернулся, желая посмотреть, что это за чудак просидел всю ночь с ним на одной ветке и ни слова не промолвил, кроме своего «угу», и едва не упал с дерева. Рядом с ним сидел лохматый бурый медведь. Слюнявилась розоватая пасть. Рыжими пучками дыбилась на крепкой груди шерсть.

С минуту мальчик и медведь, не отрывая глаз, смотрели молча друг на друга, затем как по команде прыгнули с дерева в разные стороны, позабыв о том, что высота была не такой уж малой.

Мальчик, прихрамывая, бросился к людям, медведь косолапо заковылял прочь от поселка к ущелью.

В троллейбусе

Душное июльское утро. Сизая дымка плавает над проспектами и крышами зданий. На троллейбусной остановке в этот ранний час довольно-таки порядочная очередь. Подошла машина. С легким шипением распахивается задняя дверь, и начинается посадка. Все идет чинно и благородно. И вдруг, расталкивая окружающих, не давая пощады ни старикам, ни мужчинам, ни женщинам,

ни детям, едва не спихивая кого-то с верхней ступеньки, в троллейбус с пустой хозяйственной сумкой в руке врывается массивная дама в тускло-желтом платье. На вид ей под пятьдесят, но вся она пышет здоровьем и силой. На морковного цвета толстощеком лице написано воинственное выражение. У нее такие кулаки, что хоть на боксерский ринг выходи.

— Эй, паренек в полосатой кепочке, может, уступишь дорогу женщине? Думаешь, кепочку стиляжную надел, так тебе все можно. Подвиньтесь, гражданка в красной кофточке, дайте человеку пройти. А вы, пассажир. Такой седой, а вежливости ни на грош.

— Да я что? — раздается робкий голос.— Пожалуйста, пожалуйста.

— А еще интеллигент называется! — кричит вошедшая уже кому-то другому.

Троллейбус трогается и быстро набирает скорость. Люди шарахаются кто вправо, кто влево, с опаской поглядывая на две бородавки, украшающие рыхлый подбородок могучей женщины. А та не унимается.

— Девушка, перестаньте толкаться, а еще, наверное, студентка, кандидатом наук быть мечтаешь.

— Позвольте,— обиженно откликается затронутая,— но я вас и не думаю толкать, откуда вы взяли? Это вы вот уже две минуты на моей ноге стоите. Пора бы и сойти.

— А ты не подставляй,— рявкает обладательница рыхлого подбородка с двумя бородавками, и на ее лбу проступают капельки пота, как от тяжелой работы.— Ишь, учить меня надумала, молоко еще на губах не обсохло!

Еще несколько завоеванных метров, и женщина подходит к тем рядам, над которыми висят таблички «места для инвалидов и детей». Выпуклые блеклые глаза ищут очередную жертву и наконец находят — на самом первом ряду сидит русоволосый молодой человек в легком светлом костюме с вольно расстегнутым воротником и обмахивается газетой, как веером.

— А это еще что! — кричит дама с бородавками.— Кто позволил? Почему он пожилой женщине места не уступит? Да еще там, где инвалиду положено, расселся. Вы посмотрите, до чего нахальство человеческое доходит. Хранит, видите ли, гордое молчание, как римский консул.

Троллейбус плавно мчался по проспекту, замирая лишь у светофоров и на остановках. Солнце блестело в окнах, зеленели аллейки и скверики, и только дама с бородавками омрачала московский пейзаж. Человек, к которому она обращалась, даже не повернул головы в ее сторону, но по тому, как он побледнел, я понял, какою ценой давалась ему эта невозмутимость.

— Так вы что же,— продолжала свое наступление дама,— так и не уступите женщине места?

Кто-то из стоявших позади неуверенно подал голос:

— Да хватит, что вы к нему пристали?

— Что хватит? — воинственно обернулась женщина.— Ишь, какой заступник выискался. Для него что! Правила Моссовета не существуют, можно подумать. Вырастили подобных на свою голову.

По лицу мужчины нервным тиком промчалась судорога, но он сдержался, и оно вновь стало предельно спокойным. В эту минуту троллейбус остановился, молодой человек встал, направился к выходу, и все увидели в его руках палку-костылик. Сильно припадая на левую ногу, он сошел со ступенек, я за ним следом. Троллейбус умчался, и мы остались одни у входа в станцию метро.

— Вы все слышали? — обратился он ко мне с какой-то беззащитной улыбкой.— Так не можете ли вы мне ответить на такой вопрос. Стоит только хмельному человеку войти в метро, как его немедленно оттуда выставят, а то и протокол составят и тумака дадут. Такую же, как эта дама с бородавками, ни один милиционер не привлечет к ответственности. А ведь она наносит обществу гораздо больший урон. Вот и сейчас на ваших глазах человекам пяти-шести испортила она настроение. И это всего-навсего за двенадцать минут езды на троллейбусе. А эти люди пойдут сейчас работать, учиться...— В его широких светло-серых глазах отразилась печаль. А я не знал, что ответить, и, глядя на модный ботинок, скрывающий протез левой его ноги, нелепо спросил:

— Где же это вас в ваши тридцать?

— Даже в двадцать девять,— невесело поправил он.— В одной африканской стране. Ведь я же инженер-строитель. Работал там, когда начались военные действия. Вот и не уберегся. Так что за мною право сидеть на местах для инвалидов. Но не показывать же всякому свой протез. До свидания.

И он, прихрамывая и опираясь на палку-костылик, медленно направился в метрополитен.

Раскаяние

Работник из области Дмитрий Петрович Лобанов, пожилой человек с гривой чуть вьющихся, уже тронутых сединой волос, сидел в президиуме на собрании сельских механизаторов в райцентре Невске. Горожанин, инженер в недалеком прошлом, прекрасно знающий сталелитейное дело, он довольно поверхностно разбирался в заготовке кормов, строительстве овощехранилищ и птицеферм и в душе корил себя за то, что никак не может уловить главного в прениях. «Эх, не вовремя слег в больницу Белоусов, направленец по сельскому хозяйству, вот и приходится за него отдуваться»,— думал Лобанов невесело.

Единственно, что помогало ему скрыть беспокойное ощущение неловкости, так это то, что председательствовал на совещании секретарь райкома Нефедов, его старинный друг, с которым и воевали вместе, и ранены были под Старой Руссой в одном и том же бою.

«Ишь, постарел Алексашка»,— сочувственно думал Лобанов о своем фронтовом товарище, видя его совершенно белую голову и утратившие прежний озорной блеск глаза. И вдруг вспомнил о третьем их друге, о сержанте Сергее Щеглове. В роте про них говорили: «Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой». Они не были никогда танкистами, но неразлучными были всегда. А после того как под Старой Руссой ранило Нефедова и Лобанова и они наотрез отказались эвакуироваться в тыл, Сергей при каждой возможности навещал их в медсанбате, приносил ротные новости, узелки с дополнительным пайком, как он именовал скромные лакомства, которые отрывали друзья для раненых из строгого фронтового пайка: махру, галеты, иногда тушенку.

После назначения в эту область Лобанов узнал о том, что Сергей Тимофеевич Щеглов живет в Невске. Сколько раз давал он себе слово, что напишет, пригласит к себе, заедет сам. Но прошло около года, а он, занятый

тысячами дел, ни того, ни другого, ни третьего так и не сделал. «Какой сейчас представляется случай,— обрадованно подумал он.— Надо обязательно его навестить. И немедленно, сразу же после заседания. Вот-то будет восторга! И сразу все укоры совести угаснут».

Он наклонился к седому виску председательствующего и тихо сказал:

— Послушай, у вас же тут где-то и Сережка наш Щеглов находится. Как он тут поживает?

— Как поживает? — машинально переспросил Нефедов.— Да как поживает... две недели назад мы его схоронили.

Зрительный зал, трибуна, очередной оратор, критикующий кого-то за плохую помощь в производстве кормов, чуть ли не самого Лобанова,— все поплыло в глазах Дмитрия Петровича. Он ощутил, как в большом располневшем его теле застучало сердце, а голова наполнилась звоном.

— Отчего? — трудно выдавил он.

— Было два инфаркта,— не повернув головы, тихо ответил председательствующий.— Третьего он не выдержал.

— А я-то,— громко вздохнул Лобанов,— а я-то все навестить его собирался.

— Жалко, что не успел, он тебя так ждал,— суховато отозвался Нефедов и заглянул в лежавший перед ним листок.— Тут осталось двое выступающих. Ты заключать будешь?

— Нет,— хрипло ответил Лобанов,— я с твоего разрешения выйду, Саша. На воздух выйду.

— Давай,— внешне не удивляясь, согласился председательствующий и постучал авторучкой о графин, призывая очередного выступающего к регламенту.

Высокое ночное небо, усеянное яркими спокойными звездами, простиралось над Невском, над окружающими его полями и перелесками, так же, как и над той частью земли, где ему в эти часы положено было простираться.

От лунного света на длинной черной персональной машине Лобанова блестел буфер. Шофер открыл дверцу.

— Я здесь, Дмитрий Петрович.

— Сиди, сиди,— мягко остановил его Лобанов,—я

так... подышать,— и крупными небыстрыми шагами побрел по темной аллейке.

«Бедный Сережа! А ведь он был на три года меня моложе». Он вспомнил, что белокурого запевалу, доброго широкодушного паренька Сергея Щеглова любила вся рота, а его выпуклые, удивительно голубые глаза-пуговки называли «кукольными». А когда с Нефедовым они лежали в медсанбате, то, навещая их, Щеглов без памяти влюбился в тонконогую с жиденькими косичками медсестру Олю, но вскоре его любовь остыла, потому что Оля столь же пылко полюбила Лобанова и они потом поженились, а теперь, через тридцать лет после войны, оба состарились, нажили внуков. И он, Лобанов, год просуществовав в областном центре, часто Нефедова вспоминая, так и не послал ему ни одного письма, ни разу не вырвался проведать. «Бумаги, командировки, пленумы, заседания,— зло думал Дмитрий Петрович,— а двух часов, чтобы доехать до Невска и обнять фронтового друга у тебя не хватило. Эх ты, а еще депутат, слуга народа. Как ты мог, как ты мог забыть этого прекрасного человека! — Он достал зажигалку и папиросу, нервным движением высек огонь.— Все можно исправить, но эту ошибку уже нет, и никакое раскаяние теперь тебе не поможет».

Он курил папиросу за папиросой и, не находя себе прощения, шептал:

— Как же ты мог, Дмитрий, как мог!

Первый урок труда

Дело давнее: был у нас в пятой образцовой железнодорожной школе преподаватель труда, бывший кавалерист буденновского полка Андрей Платонович, которого все мы, тогдашние пятиклассники, запросто называли «дядей Андреем», чем он явно гордился перед другими педагогами. Был он до начала гражданской войны отменным краснодеревщиком, но с той поры, как махновская пуля прострелила ему около локтевого сустава руку и она перестала сгибаться, с обжитой профессией пришлось расстаться, и он поступил на работу в школу, то есть стал «шкрабом», как тогда сок-

ращенно именовали школьных работников. Небольшого росточка, широколицый, плечистый, с лицом в суровых складках, заставляющих думать, что это человек мрачный и необщительный. На самом деле дядя Андрей таковым никогда в своей жизни не был. Он на нас нередко ворчал, но ворчал по-доброму, а поругивал всегда жалеючи.

— Шалунов люблю,— хрипловатым голосом курильщика провозглашал иной раз дядя Андрей,— но только тех, у каких шутки не злые, а добрые. Кто других этими шутками не оскорбляет.— О своем пребывании на педагогическом поприще Андрей Платонович высказывался весьма недвусмысленно. Сгибая в локте свою изувеченную руку насколько это ему позволяла былая рана, он говорил: — Чего только не делал этой рукой: и беляков рубал, и дорогие буфеты и шифоньеры лаком отделывал, а вот ныне на старости лет детишек, вас, белобрысых, учить заставили. А какой с меня педагог,— и разводил горестно руками.

Но отзываясь подобным образом о своих педагогических возможностях, Андрей Платонович явно обкрадывал сам себя. Да, он не имел в ту пору понятия о том, кто такой был Шекспир и от чего по его воле Отелло загубил Дездемону, не читал «Войны и мира», а о Льве Толстом выражался весьма кратко: «Ах, это тот барин, который учил людей прощать всем обиды и говорил, что если тебе дали в правое ухо, так подставляй левое. Эх, если бы послужил он у нашего командира эскадрона Наливайко, сразу бы забыл ту свою философию!»

И все же дядя Андрей, наш всеобщий любимец, был великим педагогом, которому втихомолку завидовали многие из наших школьных наставников. Если он начинал говорить либо о своем полуголодном детстве, когда попал в подмастерья и каждый мастер был вправе послать его за водкой или наградить пинком, либо о кавалерийских атаках и о том, как буденновцы рубили белых и брали город за городом, продвигаясь на юг, мы окружали его плотной стайкой и слушали как завороженные. Но не только об одном героическом умел образно повествовать наш учитель по труду. Он до смерти был влюблен в свое столярное дело и требовал этого от нас.

— Мошкарики, да вы что,—обращался он к нам отнюдь непедагогично.— Да какой человек может не любить дерево! Мыслима ли без дерева жизнь, я вас спрашиваю? Ведь каждое дерево, оно тоже свою душу имеет, и эта душа чистая, как молитва. Возьмите осину, это дерево сухое, строгое, как иной нелюдимый человек, который про себя как бы живет. А березка, она ласкунья, нежная и тонкая, тонкая словно песня. Дуб, он силу от природы в себя вобрал и от человека силы потребует, когда его обрабатывать начнешь, стало быть. Настоящий столяр с каждым деревом должен научиться по-своему разговаривать, вот что, мошкарики мои милые. Научишься дерево уважать и оно тебя слушаться будет.

Помню, на первом практическом уроке труда, когда весь наш класс с шумом и гомоном заполнил просторную столярную мастерскую, дядя Андрей поставил меня к верстаку и сказал:

— Вот тебе кусок самой обыкновенной шершавой доски. А мне надо, чтобы ты ее в божеский вид привел, сделал материалом, из которого можно уже что-то мастерить. Значит, как я вас всех и учил мошкариков, сначала пройдись шершебелем, потом почище уже рубаночком и, наконец, фуганком малость пополируй. Ясно?

— Ясно! — воскликнул я и ревностно приступил к делу.

Минут через двадцать дядя Андрей подошел ко мне снова, вынул из верстака доску и, прищурив глаз, посмотрел на ее верх.

— Здесь ты, браток, оставил много лишнего. Надо подравнять. Чтобы успеть к перемене все закончить, возьми-ка лучше снова шершебель и пройдись вот тут и тут.

Желая угодить своему наставнику, я работал так, что пот с меня шел градом. Когда до звонка оставались две-три минуты, дядя Андрей подошел к верстаку, во второй раз вынул доску, поднял над своей головой и вдруг вместе со всем классом оглушительно захохотал:

— Ах, бисов сын, что же ты наделал. Я же сказал — подравнять, а ты всю доску в стружки превратил.

Я поглядел на свою работу и ахнул, потому что от всей доски едва ли осталась даже ее пятая часть.

С тех пор прошло много лет. Но, вспоминая добрейшего буденновского ветерана дядю Андрея и этот злополучный дебют, невольно думаю, не так ли порой начинает гибнуть замысел любого изобретения, проекта, произведения, когда его равняют неумелые эксперты, консультанты, редакторы!

Прощай ринг

— Тише, товарищи! — полный человек в песочного цвета костюме, с едва заметной бледной клеткой, с розовыми щечками и волной каштановых вьющихся волос постучал замысловато раскрашенной авторучкой об открытую бутылку боржоми, из которой выходили пузырьки, и обвел взглядом восьмерых членов тренерского совета и худенького юношу с забинтованной рукой в синем свитере с белой каемкой на воротнике.— Так как будем решать? Обстановка архикритическая. Победа в последнем бою нужна нам как воздух. Тогда мы увезем на Родину кубок.— Он с надеждой посмотрел на скромно потупившегося юношу и, понизив голос, вкрадчиво продолжал: — Нас постигла огорчительная неудача. Сережа Горшков, одержав победу в полуфинале, повредил руку. Ту самую руку, которой наносит в поединке свой завершающий коронный удар. Врачи сделали все, что могли. Будем откровенны. Кроме него победить из нашей сборной Суареса никто не сможет. Решающий поединок завтра. Так как?

В распахнутые окна врывалась разноязычная речь спортсменов и зрителей, покинувших зал соревнований на перерыв, голубое, без единого облачка небо обдавало землю нестерпимым зноем: с ним не в силах были бороться лопасти двух вентиляторов, бешено вращающиеся под низким потолком. Восемь членов тренерского совета были похожи на восемь богов, решающих быть или не быть мирозданию. Над столом затруднительное молчание, головы лысеющие, седые, увенчанные модными пышными прическами.

— Так как? — с улыбкой повторил человек в песочном костюме и строгим холодным взглядом скользнул по лицам.

— Что прогнозируют врачи? — не поднимая головы, спросил пожилой тренер с узким, не поддающимся загару лицом в суровых глубоких складках.— Есть ли надежда, Олег Викторович, что оставшиеся сутки отдыха что-то изменят?

Полные губы председательствующего сложились в улыбку.

— Дорогой Михал Михалыч,— неопределенно развел он руками.— Врачи не маги, но будем считать, что время лучший целитель. Кажется, со времен Авицены признано полагать, что это так.— Но высокий седой тренер вскочил с несвойственной его пожилому возрасту стремительностью и гневно возразил:

— Да при чем тут Авицена! Привыкли мы покрываться афоризмами, а здесь судьба человека решается. Да, да, не кубка, а человека. У Сергея громадное будущее, он, не исключено, станет первой перчаткой страны, самого Клея может победить в перспективе, а если мы его завтра выпустим на ринг, то еще одна травма, и судьба его будет решена совсем по-другому. И вообще я не понимаю! — вдруг сорвался седой тренер.— Не понимаю, что происходит! Ведь человеческий организм не бесконечен, он имеет свои ограничители. А мы из него пытаемся порой выжать даже невозможное, как будто бы это реактивный самолет, которому можно все увеличивать и увеличивать скорость, либо космический корабль, способный на бесчисленные витки.

Розовые щеки председательствующего сначала побелели, а потом лицо его покрыла волна бурого цвета.

— Все? Высказались, Михаил Михалыч? — спросил он, поднимаясь из-за стола.— Тогда можете быть свободным, дальнейшее обсуждение вопроса мы продолжим без вас.

— Как знаете,— возмущенно выкрикнул тренер и, повалив на своем пути стул, направился к выходу.

Что-то дрогнуло в лице председательствующего, и, стараясь поскорее взять себя в руки, он, смягчаясь, произнес:

— Стареет Михаил Михалыч, стареет. А ведь какой боксер когда-то был. Разве мы забудем о его побе-

дах на ринге. Но годы есть годы. И теперь нельзя с такими взглядами руководить подготовкой боксеров. На пенсию пора. Впрочем, может, я погорячился и его надо вернуть.

Члены тренерского совета молчали. Олег Викторович плотно сжал побелевшие губы, налил в стакан из бутылки боржом, но не стал пить, а решительно отодвинул. Взгляд его остановился на забинтованной руке молодого боксера. Тот, не изменяя своей позы, сидел с опущенной головой и, как могло показаться, с самым безучастным видом рассматривал носки своих новеньких ярких боксерок. Будто бы они его интересовали больше, чем собственная судьба, которая решалась.

— Вот герой всей нашей олимпиады,— постарался улыбнуться председательствующий.— Он лучше всех нас понимает, какое ответственное испытание на его долю выпало. Да — травма. Да, есть определенный риск.— Лицо Олега Викторовича вновь зарозовело, и он воскликнул: — Но ведь это риск во имя Родины, во имя всей нашей страны. Победа Сережи Горшкова, а я в ней не сомневаюсь, войдет в золотой фонд советского спорта. Здесь на чужой земле его будет поддерживать не только наша группа болельщиков, но и сотни тысяч соотечественников, прильнувших к телеэкранам. Разве не так! — Он сделал паузу и патетически воскликнул, обращаясь уже к одному лишь молодому боксеру: — И потом, товарищи, Сережа совсем недавно вернулся из армии, а в армии вся служба и жизнь проходит под девизом: воин, выполни присягу. Я не ошибаюсь, Сережа?

— Нисколько,— не изменив своей позы, спокойно ответил Горшков.

— Вот, вот,— просветлел лицом еще больше председательствующий, и розовый румянец вернулся на его щечки.— Вот вы скажите всем нам, чтобы легче было решить, как сами относитесь к возможности финального поединка.

Молодой боксер встал, и все увидели его открытое доброе лицо и какие-то особенно мягкие и ласковые глаза, и черную челочку волос, упавшую на лоб, коротко подстриженную. Две руки держать по швам он не мог. Та, что была в бинтах, плохо повиновалась для этого. Тонкие, нежно очерченные губы вздрогнули. Трудно было поверить, что этот стройный, с виду даже хрупкий

паренек наводит такой страх на огромных плечистых своих соперников на ринге.

— Устав, долг, присяга, — пожал он плечами.— Зачем вы об этом говорите? У меня не только два года службы в армии. У меня родной отец погиб на границе... и если тренерский совет вынесет решение, я буду драться и все силы вложу в победу.

— Ну, вот видите! — уже совсем весело вскричал Олег Викторович.— Вот какое поколение богатырей идет нам на смену. А нас тут омрачил своей пессимистической тирадой Михаил Михалыч. Надо ли ей было внимать нам так покорно. Значит, как мы решим. Кто одобряет участие Сережи Горшкова в финальном поединке с Суаресом?

Все без исключения подняли руки.

Сутки спустя в переполненном зале страсти кипели еще задолго до того, как Горшков вышел на обнесенный канатами ринг. В зале было душно и тесно. На коленях у зрителей лежали и белые кепочки, и мексиканские сомбреро, кто в волнении крутил солнцезащитные очки, кто настраивал окуляры биноклей. Бои шли уже давно, но, наблюдая то за одной парой, то за другой, зрители ожидали самого главного: выйдет ли русский против знаменитого Суареса или добровольно отдаст ему победу и приз чемпиона в среднем весе. И вот наконец по залу разнеслось:

— На ринг вызываются боксеры среднего веса Родригес Суарес и Сергей Горшков.

Ослепительно улыбаясь и раскланиваясь по сторонам, черный и весь какой-то блестящий, словно маслом облитый, первым ловко нырнул под канат ринга Суарес. Каждый мускул на его сильном и крупном теле был выточен словно скульптором. А потом зал взорвался новым шквалом аплодисментов, потому что с другой стороны ринга появился советский боксер и сдержанными поклонами так же приветствовал публику. Чопорный англичанин рефери вызвал пару. Перед началом боя Суарес, продолжая ослепительно улыбаться, поднял согнутую в локте левую руку, не то приветствуя своего соперника, не то угрожая ему.

Бой начался, и спортзал загудел. Перед выходом на ринг старый тренер Михаил Михалыч успел посоветовать Сергею:

— Ты же смотри, дружище, сразу не выкладывайся. Помотай его получше и руку смотри не подставляй травмированную. Держи ее как и всегда в готовности для нокаутирующего удара, он у тебя так хорошо получается. Следовательно, приводи эту руку в действие только наверняка.

Как ни старался Горшков, но в первом уже раунде дважды получал удары Суареса в поврежденную руку. Огромный кричащий зал с плафонами в потолке и смутно волнующимся морем голов и лиц от адской боли поплыл перед глазами. «Как же я ею нанесу удар,— с тоской подумал Сергей,— если сейчас едва удерживаю стон». Он понимал, что противник в борьбе за победу будет стараться нанести как можно больнее удар по травмированной руке, и это действительно так и случилось. В конце второго раунда он не смог уйти от атаки и оказался к нокдауне. Чопорный английский судья, заглянув ему в глаза, махнул потом длинными тонкими пальцами, гортанно выкрикнул: «Бокс». В перерыве Горшков обессиленно отсиживался в своем красном углу и, смежив тяжелые веки, вяло слушал советы тренера. А когда снова вышел на ринг, ноги показались ему чугунными, а тело звенящим от боли. Он кружил по рингу, держа наготове травмированную руку, ускользая от новых ударов. И все-таки один из них пропустил и, подскользнувшись, упал на одно колено. А когда встал, тоскливо подумал: «Но как же я нанесу ему удар! Что после этого будет с рукой? — И тотчас же себе возразил: — А отец? Разве ему, смертельно раненному, легко было бросить последнюю гранату?» Ринг плыл перед глазами, канаты, помост, гудящий от выкриков зал — все темнело в глазах.

В ярости от того, что ему не удается окончательно сломить противника, Суарес бегал по рингу и вдруг задержался в том самом положении, в котором Сергей уже двенадцать раз накаутировал соперников. Задержался на три-четыре секунды, но этого было больше, чем достаточно. Сжав челюсти, Горшков послал свою руку вперед со страшной быстротой и силой. Это был не удар, а выстрел в упор. Огромный блестящий от пота Суарес рухнул на помост. Горшков зашатался, но сумел устоять, едва превозмогая новую волну боли. Кружилась голова, было горько и сухо во рту, виски гуде-

ли, подкатывалась тошнота. Он едва держался на ногах, когда зал ревел бушующим морем, скандируя: «Горш-ков, Горш-ков, браво!» Рука, нанесшая таранный удар, висела, как плеть, и он был первым человеком, понявшим, что никогда в жизни не совершит больше он ею нокаута, да и на ринг, очевидно, никогда не поднимется.

А в эту самую минуту розовощекий Олег Викторович, до ушей улыбаясь, аплодировал победителю и сладостно думал о том, как, возвратившись в Москву, будет докладывать о турнире, как внесут потом в кабинет президента Федерации бокса СССР великолепный кубок и ему будет объявлена благодарность за образцовое выступление нашей команды за рубежом. Но вдруг восторг в его глазах померк. В проходе он увидел высокую фигуру старого тренера Михал Михалыча. Малость посуровев, Олег Викторович подошел к нему и назидательно произнес:

— Вот видите, Михал Михалыч, дорогой мой маловер. Наша команда одержала победу. О ней теперь заговорит весь мир.

Старик посмотрел на него печальными глазами.

— Да, Олег Викторович, мир заговорит, но советский спорт навсегда потерял одного из своих чемпионов. Я только что видел врача. Бедному Сереже Горшкову остается сказать лишь одно: прощай, ринг! Больше он выступать никогда не сможет.

Волшебные бутсы

В тот день третьеклассник Петя возвратился домой не в духе. Долго тер грязными кулачками щеки, размазывая непрошеные слезинки. Что и говорить, было отчего расстроиться! Ведь это по его вине проиграла футбольная команда. Сражались они против четвертого класса и даже, кажется, могли победить. Несколько раз подавали Пете у самых ворот мяч, но он дважды ударил мимо, а в третий раз прямо в руки вратарю Кольке Попову, но так слабо, что тот не только ловко, как обезьяна, поймал мяч, но еще и рожицу ему состроить ус-

пел. Это тот самый Колька, у которого дядя недавно вернулся из Гаваны и подарил ему сверкающий игрушечный кольт. Словом, получилось, что из-за Пети его класс продул четвертому «А» с сухим счетом, и все они покидали площадку под восторженные крики победителей: «Эх и мазилы вы!» Одноклассники так рассердились, что уже во время игры прогнали его с поля.

— Раз не можешь играть, вали, в запасных посиди. Ни за что тебя больше в нападение не поставим.

— Ну и пойду,— рассвирепел Петя, но сам, вместо того чтобы сесть в запасных за воротами, прямехонько побрел домой.

— Ты чего такой кислый? — спросил его вечером отец.— Побил, что ли, кто?

— Тебе всегда кажется, что меня бьют,— огрызнулся Петя.— С футболом не повезло,— и рассказал все, как было, потому что он всегда рассказывал отцу все начистоту.

— Это действительно плохо мазать по чужим воротам с близкого расстояния. Выходит, подвел ты своих товарищей.

— Так я же не понарошке,— протянул мальчик.— Не везло в этот раз, вот и все. Ботинки жали, вот потому по воротам и не попадал.

— Значит, плохой ты еще футболист,— улыбнулся отец.— Вот был такой центр нападения Михаил Бутусов, так тот не только из любых положений, но с самых дальних расстояний голы забивал. А удары у него были такие сильные, что сетки на воротах рвались. Мяч вратарей с ног сшибал.

— Да, ну! Каждый раз!

— Ну, каждый не каждый, но бывало.

— Бутусов,— повторил неуверенно Петя.— А я, папа, про такого футболиста и не знаю. Вот тебе честное октябренское. Я всех центров нападения знаю. И в «Динамо», и в «Торпедо», и в «Локомотиве». А Бутусова нет.

Тяжелая ладонь отца легла ему на голову:

— Чудак. Бутусов играл, когда тебя на белом свете не было, а я был таким, как ты.

У сына заблестели глаза.

— Расскажи про Бутусова.

— Ишь ты. А кто завтра школу проспит? Смотри, за окнами темнеет, а ты и за уроки не садился.

— А я их быстро, папа. Ты не бойся. А потом я в постель лягу, а ты сядешь рядом и будешь рассказывать. Уговорились, что ли?

— Считай, что уговорились,— согласился отец.

Сделав уроки, мальчик улегся в постель, а отец сел поближе и, положив большие руки на одеяло, неторопливо заговорил. И узнал Петя историю о знаменитом нападающем Бутусове, перед которым дрожали все вратари, потому что страшной силы удары почти всегда достигали цели. И самое главное, что никакой вратарь не мог угадать, когда и с какого расстояния ударит по его воротам Бутусов. Мяч почти на центре — и вдруг рраз! А зазевавшийся вратарь падает и ловит пустое пространство. Вот так штука — мяч уже в сетке. А однажды в чужой стране, куда приехала наша команда, захотели буржуи подшутить над советскими футболистами и вместо вратаря дрессированную обезьяну в ворота поставили. Обрядили ее в красные гетры и наколенники, полосатую фуфайку на нее натянули. Очень ловкой была та обезьяна,— любые удары брала. Первый тайм ноль-ноль закончился. Во втором наши футболисты опять успеха не имели. Уже минута до свистка судьи оставалась. Разозлился тогда Бутусов, никто его таким свирепым еще не видел. «Забью гол! — кричит своим товарищам.— Все равно забью!» А те лишь потные лбы утирают. Устали, еле держатся на ногах. Последняя минута пошла. Бутусов получил мяч, остановился на секундочку, прицелился и как дал правой ногой изо всей силы. Но не в угол ударил, а прямо в голову дрессированной обезьяне. Весь стадион ахнул, все буржуйские ложи всполошились, потому что и мяч и голова обезьяны влетели в сетку. И победила наша сборная со счетом один-ноль. Вот, брат, как было.

— Папа, а это правда? — сонно спросил Петя.

— А откуда я знаю,— усмехнулся отец.— Сам не видел, мне тоже рассказывали. Ты спи.

И ушел. А Петя долго еще ворочался в постели, вспоминая свои неудачи и думая о знаменитом футболисте Бутусове.

Неожиданно комната наполнилась ярким светом, таким ярким, какой по утрам бывает в самые погожие денечки. Петя раскрыл глаза и с удивлением увидел, что он в комнате не один. На том самом месте, где вечером

сидел отец, он увидел грузного человека с седыми висками, одетого в футбольную форму. Человек этот повернулся, скрипнули шипы его бутс. Петя увидел на спине белой майки цифру девять. В руках незнакомца был маленький спортивный чемоданчик.

— Это ты, что ли, третьеклассник Петя, которого прогнали вчера с футбольной площадки? — добродушно спросил он хрипловатым баском.— За что тебя так ребята, а?

— Я по воротам мазал. С трех метров не попал,— сконфуженно признался Петя и, осененный внезапной догадкой, выпалил: — Дяденька, а вы Бутусов?

— Угадал,— засмеялся гость.— Оказывается, старика Бутусова еще помнят.

— Еще бы! — воскликнул Петя гордо.— Кто же забудет ваши пушечные удары!

Бутусов закивал седоватой коротко постриженной под ежа головой, но Петино красноречие остановил:

— Ладно, ладно, не люблю похвал. Слушай меня внимательно, мальчик. Я знаю, что ты отличник и добрый хлопчик. Но тебе ужасно не везет с футболом. Так вот, я оставляю тебе чемоданчик. В нем бутсы. Но не простые, а волшебные. Тот, кто их носит, без промаха бьет по воротам. Однако помни, что волшебные бутсы действуют лишь неделю, а потом сила их исчезает. За этот срок ты должен понять, в чем секрет футболиста.

Хотел Петя поблагодарить Бутусова, глядь, а его уже и нет, а на стуле, где сидел знаменитый центр нападения, маленький чемоданчик остался. Петя его раскрыл и ахнул. Лежат в нем новенькие коричневые бутсы с острыми шипами, как раз по его ноге. Красные глазки горят на них ярко. Ни у кого на бутсах не видел он таких красных глазков, как лампочки электрические под абажуром. Вот что значит бутусовские. Не долго думая, надел их Петя на ноги, прошелся по комнате, до чего же легко и удобно. И шаг стал у него легким, пружинистым. Вышел Петя на улицу и видит, что их команда играет с соседней школой. Почему же не поиграть утром, если каникулы наступили. Когда он подошел, счет уже был шесть один в пользу соседней школы. В воротах опять стоял Колька Попов и не преминул сделать ему гримасу.

— Ребята, наш первоклассный мазила прибыл,— за-

смеялся он, а потом на бутсы глянул и рот от изумления раскрыл.— Смотрите, да ему папенька с маменькой новые бутсы купили. Мазила в бутсах, ха-ха-ха.

Петя гордо прошел мимо Кольки и обратился ко всем сразу:

— Дайте мне поиграть.

— Вот еще,— пробурчал капитан команды,— не видишь, что ли, Петух, мы проигрываем, а с тобой счет еще больше станет.

— Да вы же устали,— стал жалобно упрашивать Петя.— Я на немножко стану, хоть на пять минуточек.

— Пусть побегает, пока я ботинки перешнурую,— сказал неизменный край команды Леня Башлыков.

— Становись,— неохотно согласился капитан.

Петя выбежал на площадку, и мгновенно футбольный мяч как будто сам прилип к его ногам. Куда бы ни побежал Петя, мяч впереди, и никто не может его отнять. «Вот, оказывается, в чем волшебство!» — прошептал он так тихо, что никто не услыхал, а потом прорвался через всю защиту, обвел вратаря и закатил мяч в пустые ворота.

— Шесть-два,— мрачно согласился капитан соседней школы, исполнявший заодно обязанности судьи, и понес мяч на центр. Не успели ребята из команды противника сделать два-три удара, как мяч снова оказался у Пети. Он откатил его вправо и почти с самого центра ударил по воротам. Что тут произошло! Мяч засвистел, как пушечное ядро, испуганные ребята шарахнулись в сторону, вратарь рванулся навстречу, но мяч так больно ударил его, что он схватился за живот обеими руками и жалобно прокричал:

— Я не буду... он дерется.

— Шесть-три,— подтвердил капитан,— давай мяч на центр, сейчас мы из вас кроликов сделаем.

Но дальше стало твориться невероятное. Черные бутсы с красными глазками замелькали то в одном, то в другом конце площадки. Их обладатель бил по чужим воротам то с центра, то с края, то через голову, и вратарь соседней школы не успевал бегать за мячом. За короткое время счет стал десять-шесть, а потом и пятнадцать-шесть.

— Ай да Петух,— говорили ребята,— а мы его брать

не хотели. Вот лупит! Ну, что, пятая школа, нахватала голов? Знай наших.

Никто из ребят не заметил, что за их игрой давно уже наблюдает мужчина в светлом костюме. При счете двадцать-шесть в пользу Петиной школы он отвел его в сторону, потрепал по вспотевшей шее и сказал:

— Вот что, парень. Я тренер юношеской сборной города. Послезавтра нам на соревнования выезжать, а с нападением не ладится. У тебя прекрасный удар. Приходи утром на стадион, и я тебя попробую.

Когда на следующий день он пришел на городской стадион, тренер представил его игрокам. Сборная состояла из восьмиклассников и девятиклассников. Долговязый вратарь презрительно оглядел Петю:

— Неужели эта малявка что-нибудь может?

— А ты попробуй,— подмигнул тренер Пете. Долговязый выкатил мяч на одиннадцатиметровую отметку и снисходительно предложил:

— Ну ударь, что ли!

Петя разбежался — бац! Вратарь и пошевелиться не успел, а мяч уже в сетке.

— Вот это да! — закричал он радостно.— Да с таким центром нападения мы всех побьем на соревнованиях. Кубок наш будет.

Трижды выходил Петя на поле настоящего стадиона и меньше, чем пять голов за игру не забивал. Сборная их города вышла в финал.

— Вот это бомбардир,— хлопал его по плечу тренер Павел Петрович.— Ну, смотри, теперь самое главное осталось. В понедельник финальный матч. Забьешь две-три штуки, и кубок наш будет.

Пете было приятно от похвалы, но под футболкой так и сновали мурашки. Он вспомнил, что именно в понедельник кончается волшебное действие бутс. Как об этом скажешь тренеру! Набрался он духа и спросил:

— Павел Петрович, а нельзя ли, чтобы вместо понедельника завтра, в воскресенье, финальный матч состоялся?

— Что ты, что ты! — замахал руками тренер.— Уже афиши по всему городу расклеены. Иди отдохни, дружище, да сил наберись.

Мрачный возвратился Петя домой. А утром проснулся, на стул глянул, и сердце в пятки ушло. Ни тебе спор-

тивного чемоданчика, ни волшебных бутс. Все исчезло. С опущенной головой вошел он в раздевалку. Товарищи по команде в спортивные доспехи облачаются, веселые такие: никто не сомневается в победе. Подошел тренер:

— Как дела, Петенька? Смотри, за тобой, как минимум, два гола. Первые десять минут ты в темп не включайся, дай им силенки израсходовать, а потом уж не скупись. Блеснуть надо, сам понимаешь.

— У меня только вот бутсы в починке,— жалобно протянул Петя, но тренер и бровью не повел.

— Ерунда, новые найдем. Для футболиста упорство и техника главное, а не бутсы.

И пришлось выйти ему на зеленое поле. Началась игра. Никто из игроков не знает, что нет больше на Петиных ногах волшебных бутс. Они по-прежнему ему пасуют. Петя носится по полю что есть мочи, стыдно показать, что сделать без волшебных бутс ничего не может.

Но странное дело — вдруг он почувствовал, что мяч ему и теперь повинуется. Набрался он смелости и даже центра нападения противной команды обвел. А во втором тайме, когда у самых ворот получил передачу, сам бить не стал, а передал мяч «десятому» номеру. Тот ударил, и вратарь пропустил гол. Трибуны заревели, потому что сборная города выиграла кубок со счетом один-ноль. Пете поручили нести этот кубок по полю. Солнце на его серебряной поверхности вытворяло такую пляску, что больно было глазам.

Кубок был тяжелый-тяжелый. Петя не удержал его на повороте, выронил из рук и... открыл глаза. Смотрит, а это отец, собравшийся уходить на работу, уже выбритый и облаченный в спецовку, трясет его за плечо:

— Вставай, сынок, в школу опоздаешь. Ну и неспокойно же ты спал. Все время Бутусова да какие-то волшебные бутсы поминал.

— Волшебные бутсы,— повторил за отцом Петя и рассказал ему все, что он видел во сне. Отец слушал внимательно, даже не улыбнулся ни разу. А потом, когда Петя закончил, погладил его по голове:

— Значит, ты понял, почему даже без волшебных бутс ты сумел помочь своей команде забить единственный победный гол?

— Понял, папа! — воскликнул Петя.— Потому что упорство и настойчивость в футболе главное.

— И не только в футболе,— широко улыбнулся отец.— А теперь поднимайся и марш под кран умываться!

Как уволили Беллу

Прекрасным был человеком редактор нашей городской газеты «Знамя победы» Зиновий Петрович Заболотный. Более чем полвека протопал он по нашей замечательной земле, мальчишкой строил Магнитку, воевал в Отечественную, а после нее работал в одной из наших уважаемых столичных газет. И не рядовым литсотрудником, а специальным корреспондентом. Исколесил всю страну и по заграницам постранствовал изрядно, а когда почувствовал приближение старости и болезней, подался в родные края и оказался в нашем городке. Все мы помнили его любопытные задорные очерки и с уважением относились к каждому его замечанию. А когда в свободные часы Зиновий Петрович начинал рассказывать о своих журналистских перипетиях или о том, как он брал интервью у Михаила Шолохова, а с первым космонавтом Юрием Гагариным участвовал в поездке на молодежный фестиваль в Хельсинки, у нас и вовсе останавливалось дыхание. А Заболотный, одутловатый, с узкими хитрыми и добрыми глазами, попыхивая сигареткой, временами хрипловато откашливаясь при этом, с невозмутимым лицом, бывало, повествовал:

— Дело такое было. Едем мы из аэропорта в Хельсинки, Гагарин с послом, а я на другой, естественно, машине. Водитель оборачивается и спрашивает: хотите знать, что такое финское хладнокровие, так я вам одну народную притчу поведаю. Обращается к финскому летчику старый крестьянин и просит покатать на самолете его и старуху. Заранее спрашивает, во сколько марок это удовольствие обойдется, а летчик отвечает: «Я с тебя, дед, ни одной марки не возьму, если ни разу не пикнешь». Целый час крутил самолет летчик, и «бочки» выделывал, и пикировал. Потом устал и по-

шел на посадку. Выходит из кабины, а дед рядом. «Твоя взяла,— говорит летчик,— ты так ни разу и не пикнул, и по уговору ни одной марки я с тебя не возьму. Только признайся, а страшно ли было?» Наш редактор выкатывал глаза, выпускал струю дыма и заканчивал: «Да, сынок,— ответил старик,— мне было очень и очень страшно, и один раз я еле, еле удержался от крика. Это когда моя собственная бабка выпала из твоего самолета». Просто очаровательным человеком был наш Зиновий Петрович, и только одна слабость губила его: уж больно боязливым был. К начальству чтобы лишний раз зайти и какой-нибудь сложный вопрос решить, связанный с делами редакции, ни-ни. Когда являлся на заседание бюро горкома, то старался сесть в самом дальнем уголке и остаться незамеченным. Выступал лишь в том случае, если улавливал линию первого секретаря и слышал раскаты его громового баса:

— А сейчас мы попросим нашего редактора высказаться.

Если же «линию» Зиновий Петрович не успевал схватить, он, смущенно кашляя, отвечал:

— Я еще подумаю, Илья Сергеевич.

Секретарь горкома Широков, бывший матрос с огрубелым добрым лицом и громовым голосом, снисходительно улыбался.

— Что же, подождем, думать всегда полезно.— А иной раз, обращаясь к членам бюро, приговаривал: — Это неважно, что ты не речист, товарищ Заболотный, но газету ты хорошую делаешь.

В противовес редактору, его заместитель, пришедший к нам из райкома комсомола худенький блондин с непокорными вихрами, которые он постоянно приглаживал, и пылкими навыкате глазами, был человеком сплошных порывов и решительных действий. Бывало, ворвется в кабинет Заболотного, хлопнет о редакторский стол мокрым оттиском и, грозя указательным пальцем самому редактору, тонким порицающим фальцетом выкрикивал:

— Я вам уже говорил, Зиновий Петрович. Вы посмотрите, сколько в этой статье Серегина неточностей и бездоказательностей. Ох и доиграемся мы когда-нибудь, если не снимем его с должности начальника отдела. В решение обкома когда-нибудь попадем. Но За-

болотного прошибить было не так-то уж просто. Прижмурит глаза от проникающего в окно полуденного солнца и что ни есть ласковым голосом говорит:

— Да ты не кипятись, не кипятись, Володя. У тебя еще вся жизнь впереди, а ты так кипятишься, энергию по каждому мелкому поводу столь щедро расходуешь. Между прочим, ты вчера по телевидению новый фильм смотрел? Так вот там...— и начинал со всеми подробностями пересказывать сюжет, добиваясь своего, чтобы зам ушел успокоенным и все оставалось на своем месте.

Но ни редактор, ни его заместитель Козлов никоим образом не осложняли нашего существования. Грозой коллектива стала недавно назначенная к нам литсотрудница отдела писем Белла Козак, бойкая розовощекая дамочка с короткой чернявой прической и разлетом тонких бровей над энергичными черными глазами. Как-то незаметно она взяла всех в руки, начиная от самого старшего нашего начальника и кончая уборщицей тетей Машей, которой сделала два выговора за невынесенную из ее комнаты редакционную корзину, наполненную скомканными черновиками. Не было ни одной «летучки», на которой бы она не выступала и не произносила взрывных речей.

— О! — потирая руки, говорил сначала Зиновий Петрович.— В каждом редакционном коллективе должен быть свой «неистовый Виссарион». У нас на эту роль лучшего кандидата, чем Белла Козак, не подберешь.

А Белла, ободренная таким комплиментом, резала всех, не исключая и его самого, налево и направо.

— Что это такое? — восклицала она, глядя в лицо редактору.— Не пора ли нам вспомнить о личной ответственности каждого. На третьей полосе я прочла очерк о делах колхоза «Маяк». Здесь все изображается в розовом свете, а я вчера своими ушами слышала, как там,— она таинственно поднимала в потолок тонкий с ярким маникюром палец,— этот колхоз считается отстающим и даже «он» сказал в кулуарах, что этот маяк начинает угасать.

Где «там» и кто «он» Белла не уточняла, но мы без труда догадывались, что она имеет в виду горком и его первого секретаря. Вскоре пошла гулять никем

не опровергаемая легенда о том, что сама Белла доводится никем иной, как племянницей самому Широкову. На боязливого Зиновия Петровича это произвело довольно внушительное впечатление, и с тех пор, если даже новая сотрудница не собиралась выступать на «летучке» или каком-либо другом редакционном совещании, он взял за правило ее спрашивать:

— Вы, Белла Константиновна, говорить не будете?

И облегченно вздыхал, когда она отрицательно качала короткой прической. Но после того как все расходились, Козак оставалась сидеть на своем месте и в ответ на вопрошающий взгляд Заболотного вкрадчиво произносила:

— У меня к вам несколько щекотливое дельце, Зиновий Петрович. Три дня назад наш завотделом Серегин в городском ресторане отмечал день рождения. Были с ним и еще трое наших. Уходили, пошатываясь. Дело выеденного яйца не стоит, я это весьма хорошо понимаю. Случай сам по себе мелочь, бытовичок... Но у нас наверху об этом уже известно, и мнение самое отрицательное. Я, разумеется, только сигнализирую, а принимать меры ваше дело, но я думаю...— и она холодно излагала свой план, по которому крамольный Серегин должен был быть подвергнут самому жесткому остракизму.

А в следующее свое посещение редакторского кабинета Белла Константиновна, изобразив на лице тягчайшее страдание, надломленным голосом, переходящим в горький шепот, вымолвила:

— Настя!

— Что такое с Настей? — встревожился редактор, сразу догадавшись, что речь идет о заведующей отделом писем двадцатипятилетней Настеньке Караваевой, ко всем отзывчивой миловидной блондинке, которую любил весь наш коллектив.

Белла закатила глаза и стала обмахиваться свежим номером нашей газеты, словно спасительным веером.

— Вы понимаете, Зиновий Петрович, вот и литература, и эстрада, и телевидение... всюду так много произведений об изменах и брошенных женах. Это все, конечно, в неумолимых рамках законов нашей жизни, зова сердца и так далее. Но к Насте вот уже месяц по вечерам ходит замздравотдела.

— Ну и что же? — собрав все свое мужество, улыбнулся редактор.— Ведь Настя развелась и вот уже три года живет одна. А человек, о котором вы говорите, холост. Наше ли дело...

— Да,— сухо прервала его сотрудница,— но ведь Настя работник нашей печати, и ее моральный облик, ее репутация... Словом, что скажет об этом наш первый, как на это посмотрит. Мое дело вас предупредить.

Когда за нею закрылась дверь и в кабинет вошел заместитель редактора, он застал своего начальника со стаканом воды в руке, края которого бились о плотно стиснутые зубы.

— Что мне делать, Володя, с этой склочницей? — простонал он.

— Выгнать,— решительно высказался зам со всей комсомольской прямолинейностью. У Зиновия Петровича глаза вылезли из орбит.

— Ее? Но ведь она же племянница самого первого.

— Тогда терпите и ко мне за советом больше не обращайтесь.

Прошла неделя. Заболотный получил в райздраве путевку в один из черноморских домов отдыха. Возвратившись из отпуска, почерневший от загара, он выглядел и помолодевшим. Добрый блеск вернулся в его глаза, новые истории так и сыпались из его уст. Через полчаса секретарша созвала всех сотрудников в его вместительный кабинет на совещание. Когда все расселись, взгляд редактора как-то обеспокоенно заскользил по лицам, потом переметнулся на обитую кожей дверь.

— А-а где же,— протяжно спросил он,— где же Белла Константиновна? — И так как в кабинете воцарилось какое-то непонятное тягостное молчание, повторил: — Где Белла Козак? Сейчас я пошлю за ней секретаршу, и мы начнем.— Пухлая его рука потянулась к вделанной в письменный стол кнопке электрического звонка. И вдруг его заместитель Володя Козлов со своего места сказал:

— Не надо, Зиновий Петрович. Не звоните. Дело в том, что в ваше отсутствие я ее уволил и все за то же самое.

Пухлая рука редактора упала.

— Что вы наделали? Ее, племянницу первого сек-

ретаря горкома? Нет, нет, надо немедленно поправить эту ошибку. «Летучка» отменяется, я еду в горком.

На его счастье, первый секретарь был на месте. В присутствии нескольких незнакомых Заболотному людей, он внимательно рассматривал большой чертеж. Оторвав от него взгляд, доброжелательно воскликнул:

— Ах, это ты, редактор! Уже возвратился из отпуска? Вот время-то как летит. Хорошо, что зашел. У нас тут радостная новость. По территории нашего района пройдет новый газопровод, и мы будем участвовать в строительстве его тоже. Видишь, событие-то какое надвигается. И для твоей газеты тема-то какая.

Решив, что наступила самая подходящая минута для того, чтобы покаяться и взвалить на себя вину молодого заместителя, Зиновий Петрович жалко пролепетал:

— Произошла досадная ошибка, Илья Петрович. Пока я был в отпуске, уволили Беллу Константиновну Козак. Но я это немедленно исправлю, вы не беспокойтесь, пожалуйста. Мы ей даже ставку повысим.

Широков выпрямился, ладонью провел по лбу, словно хотел разгладить собравшиеся от недоумения складки.

— Позволь, ты это о чем?

— Как о чем? — пробормотал растерявшийся редактор.— Уволили без меня Беллу Константиновну.

Илья Петрович недоумевающе развел огромными руками, загребая к себе воздух.

— Постой, постой,— повторил он,— а кто это такая, Белла Константиновна Козак?

Встреча

Я верю, что читатель настроился на добрый лад. Раз встреча, значит, либо что-то лирическое, либо героическое, либо на худой конец сентиментальное.

В тот день действительно небо голубело, как промытое, а солнце напоминало о своем существовании из каждой весенней лужи. По самому центру древнего города с готическими шпилями домов и улицами, на-

полненными веселым трамвайным перезвоном, шел молодой капитан Сидоров под руку с женой своей, миловидной розовощекой брюнеткой, в новеньком демисезонном пальто, казавшейся просто античной, и, зачарованно оглядываясь по сторонам, как это делают люди, пораженные красотою города, в который только приехали, восклицал:

— Манечка! Да каким же красавцем будет этот город через месяц, когда зазеленеют деревья. Не город, а парк. И от военного нашего городка центральная часть так близко. Мы каждую субботу сможем ходить в театры или кино.— Вдруг он остановился и пораженно выпалил: — Манечка, какая приятная неожиданность! Да ведь это нам навстречу Колька Карташов шагает, с которым в академии четыре года вместе проучились. Я еще ему однажды довольно ловко шпаргалку подсунул по английскому, к которому он был потрясающе невосприимчив. Вот это сюрприз.

Манечка подняла головку, поправила выбившиеся из-под берета короткие черные локоны и улыбнулась радостной, но не очень уверенной улыбкой.

— Карташов? Да, да, ты мне о нем что-то говорил.

— Но ты посмотри, Манечка, какой он стал важный, и уже майор. Подожди — я к нему сейчас.

Им обоим навстречу шел полный, с багровым лицом майор в новенькой шинели из того самого драпа, который выдается только полковникам, а сзади на почтительном удалении в пятнадцать — двадцать шагов двигались два солдата с красными повязками патрульных на рукавах.

Не добежав до своего знакомого, Сидоров остановился с блуждающей радостной улыбкой.

— Карташов... Коля! Вот уж действительно гора с горой не сходятся, а человек с человеком...

Светлые глаза майора остановились на бывшем однокашнике, и он сухо промолвил, как выстрелил, не подавая руки:

— Товарищ капитан, во-первых, я вам не Коля, а военный комендант города, а во-вторых, почему у вас на шинели пуговицы не чищены? — И проплыл мимо, как океанский лайнер мимо жалкой рыбацкой фелюги.

Старая дама и две ее дочери

Она действительно была очень старой, эта дама с благородной осанкой и седыми, еще не утратившими красоту, волнистыми мягкими волосами. В свое время она окончила знаменитые бестужевские курсы, на спор с подругами выпивала две рюмки настоящего шустовского коньяку, ездила на «империале», однажды слушала длинную сумбурную речь Керенского, а прославившийся в ту пору поэт Игорь Северянин на одном из своих вечеров собственноручно подарил ей белую лилию, а затем при переполненном зале, глядя на нее, прочитал свои коронные стихи: «Шампанское в лилию, лилию в шампанское».

Потом бывшую выпускницу бестужевских курсов жизнь втянула в свой водоворот. Она уехала учительствовать в далекое заволжское село, а когда грянула гражданская война, оказалась в кавалерийском полку санитаркой и там нашла свое личное счастье, полюбив сурового командира эскадрона, с которым впоследствии дружно прожила сорок лет, нажив двух дочерей.

Младшей — Марии Сергеевне, черноволосой, веселой и очень подвижной с ямочками и здоровым румянцем на щеках (мать ее до сих пор ласково называла Манечкой), было уже сорок пять. Старшей, худой, очень стройной блондинке с голубыми глазами и нервным лицом — сорок девять. Обе они выглядели гораздо моложе своих лет, обеих старая дама называла «девочками», за что ей в ответ те платили «мамочкой».

У них давно уже были свои семьи и взрослые дети, но каждое второе воскресенье месяца старая дама приглашала их в гости в свою заставленную древней резной мебелью квартиру, угощала вишневым и айвовым вареньем и вкусным бисквитом, испеченным по какому-то редкостному древнему рецепту. На столе стоял старый семейный серебряный самовар, душисто пахло чаем. И текла беседа, веселая, непринужденная, какая бывает лишь между самыми близкими, понимающими друг друга с полуслова.

А вот на этот раз что-то не ладилось. Варенье и самовар и бисквит не были в силах вернуть тот уют, который всегда наступал в комнате, когда появлялись

дочери. Старшая, Елена Сергеевна, непрерывно курила и, когда стряхивала в оранжевую раковину пепел, пальцы ее заметно дрожали. Обратив на ее расстроенный вид внимание, старая дама попыталась занять разговором младшую.

— Как живешь, Манечка? Как дети, как твой муж Игорь?

— Игорь ничего,— весело рассмеялась младшая дочь, блеснув ямочками на щеках, и в ее глазах засияли ласковые искорки, какие загораются у всякой женщины, когда речь заходит о любимом человеке.— Он у меня по своим строительным делам на БАМ улетел. Смешной такой, мамочка. Понимаешь, приходит накануне отлета поздно-поздно и крепко навеселе. Оказывается, сослуживцы проводы ему устроили. А он, знаешь, какой потешный, когда во хмелю. Стал шляпу вешать да промахнулся, и она на пол упала. Он поднимать, руками по воздуху водит и вместо вешалки на меня натолкнулся. Целовались, как молодые.

— Ну вот еще,— мрачно перебила старшая дочь,— много мы им позволяем. Больше твоему Игорю нечего делать, кроме того, как водку с подчиненными пить.

У брюнетки глаза стали широкими и удивленными.

— Но позволь, Леночка, зачем же так, во множественном лице. Я же ведь не о твоем, а о своем муже говорю.

— Вот именно о своем,— вспыхнула блондинка, и лицо ее стало каким-то отрешенно-жестоким.— У меня тоже с этого начиналось, а теперь...— Она бросила папиросу и заплакала.

Старая дама сделала к ней движение, взяла за опущенный подбородок, как маленькую.

— Ну что с тобой, Леночка, что случилось?

— Он от меня ушел,— всхлипнула старшая дочь,— и, кажется, навсегда.

— Володя?! — вскричала старая дама.— Да быть того не может. Он у тебя такой умный, такой талантливый. От своего знакомого старого строителя своими ушами слышала, что Володя считается одним из наших лучших инженеров по строительству мостов и его проекты один лучше другого.

Старшая дочь достала маленький платочек, тотчас

же распространивший тонкий запах французских духов, утерла слезы.

— Это уже давно начиналось, мамочка,— сбивчиво заговорила она.— Только Маня восторгается этим, а я не могу терпеть. То встречи, то проводы, то защиты дипломов и диссертаций, то дни рождения, то юбилеи, и вечно он возвращается хмельной, а ты ведь знаешь, как я ненавижу алкоголь.

— Но позволь,— перебила старая дама,— какой же он алкоголик. Разве твой Володя пропивает вещи?

— Да что ты! — вспыхнула старшая дочь и потянулась за новой папироской.— Еще этого не хватало: Конечно, нет.

— Может, получку пропивает, а детям надо на питание, одежду?

— Нет, никогда. Я бы ему не так показала.

— Может, он после встречи с друзьями не выходит на работу и дома пьет в одиночку горькую?

— Что ты, мамочка, дома он никогда не пьет, если один.

— Так в чем же этот самый его агкоголизм выражается?

— Как в чем? Неужели тебе непонятно? Он же употребляет алкоголь, этот самый страшный из всех земных ядов. Он приходит домой с опухшими глазами, иногда пытается запеть, тычется из угла в угол вместо того, чтобы сидеть и молчать. Я пробовала с этим бороться, не разговаривала с ним целыми неделями, переставала подавать ему обеды и ужины, один раз ударила даже его по лицу, пригрозила пойти в партийное бюро и рассказать всю правду о его поведении.

— А он?

— Он ответил, что если я это сделаю, то навсегда упаду в его глазах.

— А ты?

— Я не выдержала и пошла к секретарю партбюро.

— И чем же все кончилось?

— Володя вернулся в тот день со службы, молча упаковал чемодан и ушел из нашего дома.

Дочь после этих слов залилась снова слезами, а старая дама приблизилась к ней и стала гладить светлые крашеные волосы.

— Милая девочка,— задумчиво произнесла она.— Как мне тебя жаль. Твой Володя поступил совершенно правильно.

Свадьба

В скверике на самом конце скамейки, едва просохшей от свежей зеленой краски, одиноко сидела пожилая женщина в платье из старомодного клетчатого «японша» и вязала. На ее коленях лежал клубок зеленых шерстяных ниток, в руках, почти не тронутых старческой желтизной, бойко сновали поблескивающие в лучах утреннего майского солнца спицы. Был тот ранний час, когда большой город лишь пробуждался и особенно резок был шум первых троллейбусов и автобусов, и, кроме дворников, продавцов и школьников первой смены, никто никуда еще особенно не спешил. Через зеленый скверик с каплями росы на подстриженных кустах тем более никто не проходил. Вот почему женщина обернулась на скрип гравия под чужими приближающимися шагами и увидела высокого плечистого мужчину с копной седых волос в легком песочного цвета костюме и давно не модных коричневых нечищенных полуботинках, так не гармонирующих с этим костюмом из тонкой дорогой шерсти. Она и раньше не однажды видела его в этом скверике и про себя отмечала: «Как этот человек удивительно прямо держится, не горбится и не сутулится, а ведь лет ему по-видимому немало».

В этот ранний час все скамейки в скверике пустовали, но вдруг незнакомец, откровенно усмехнувшись, подошел к той, на которой она сидела, и опустился на другом ее краю. Женщине этот его поступок показался нескромным, и она поспешила отвернуться. А когда, уступая любопытству, искоса поглядела в его сторону, увидела, что на этот раз в руках у мужчины был какой-то небольшой не то футлярчик, не то несессер из коричневой кожи. Тот его поставил рядом, раскрыл, и женщина едва не ахнула от удивления. Крупными пальцами незнакомец деловито вытащил из него такой же клубок шерсти, только не зеленый, как у нее, а красный и тонкие длинные спицы. Сноровистыми движениями, взяв все это в руки, он тоже стал вязать,

и женщина замерла, пораженная тем, как быстро и красиво пожилой человек это делает. Женское любопытство взяло верх, и она не удержалась от восклицания:

— Как! Вы вяжите?

— Чего не сделаешь от скуки,— вздохнул мужчина, и в его серых глазах зажглись веселые огоньки, а тщательно выбритые губы дрогнули в усмешке.— Ведь я же на пенсии, вероятно, как и вы.

— Угадали,— качнула женщина высокой по моде уложенной прической.— Шутка ли сказать, тридцать пять лет физику и математику преподавала в старших классах. Такая жалость.

— Зачем же вы тогда ушли? — напрямую спросил сосед по скамейке.

— Да ведь сердце пошаливать стало. И мысль одна и та же подтачивала сознание. Сколько молодых талантливых ребят после вузов приходят, а такие старушки, как я, дорогу им закрывают, если по-честному разобраться.

— Мысль правильная,— согласился незнакомец,— но какая же вы старушка. Вам и пожилой грешно себя называть.

— Ой и не говорите. Разве для женщины пятьдесят семь лет молодость.

Он смотрел на ее умытое утренним солнцем лицо, видел под узкими светлыми бровями беспокойно-веселые глаза, тонкие бледные губы, очевидно незнакомые с помадой, окруженные сеткой морщин, и ощущал, что всего его пронизывает какое-то доброе состояние покоя, какого давно он не ощущал.

— Что же мне тогда говорить,— засмеялся он от души, и вязанье в его руках дрогнуло.— Мне уже шестьдесят пятый пошел, и то стариком не хочется себя считать.

— Видите ли,— возразила женщина,— у вас, очевидно, жена, дети, а я совсем одинока.

У соседа побелели губы, и он сухо сказал:

— Жена моя десять лет назад умерла от голода в ленинградской блокаде, сын — летчик-истребитель разбился в прошлом году на тренировочных полетах.

Внезапно он торопливо уложил в кожаный футляр свое вязанье, резко поднялся со скамейки, отрывисто

произнес «извините, опаздываю». И ушел. А она осталась страшно огорченная, что своим бестактным вопросом причинила ему страдание. Три дня подряд в обычные свои утренние часы учительница приходила в скверик и садилась на облюбованную скамейку. Но варежки, которые она задумала связать, плохо подавались, и она поймала себя на мысли, что слишком часто отрывает глаза от спиц и с надеждой оглядывается по сторонам. Оправдываясь перед собственной совестью, она про себя твердила: «Да, да, мне его надо обязательно увидеть, чтобы извиниться за то, что была такой нелепой». Но мужчина как сквозь землю провалился. Варежки уже были близки к завершению, оставалось довязать палец на правой, когда в прохладное ветреное утро она услышала скрип гравия под ногами и, подняв голову, увидала его. Был он в том же костюме, но в новой старательно выглаженной льняной рубашке, пестрой от мелких ярко-розовых тюльпанчиков. Он как ни в чем не бывало раскрыл кожаный футлярчик, достал вязанье, и учительница с удивлением, не веря глазам своим, обнаружила в руках у пожилого незнакомца две совершенно законченные варежки. Аккуратные, красные, с вкрапленными в них черными елочками.

— Вот это да! — игриво воскликнула она.— И какой же счастливице, разрешите узнать, предназначен этот подарок?

Он насмешливо посмотрел на нее широко раскрытыми светло-серыми глазами:

— Вам.

Женщина вспыхнула так, что от мочек ее ушей наверняка можно было в эти секунды прикуривать, и целую минуту обескураженно молчала.

— Если бы я знала,— промолвила она наконец, не поднимая глаз.— Я бы вам не такой подарок приготовила. Он теперь за мной, так и знайте.

С того дня она стала называть его Сергеем Афанасьевичем, а он ее Клавдией Степановной. Каждый день по утрам и вечерам по часу, а то и по два просиживали они на этой самой скамеечке, но уже не на разных концах ее, а рядом, и никто из посетителей скверика больше не смел на нее опускаться, храня их уединение. Время не стояло на одном месте. За ласко-

вым зеленым маем пришло жаркое лето, затем стали желтеть листья, потому что и его сменила незаметно подкравшаяся осень. Однажды утром Сергей Афанасьевич не вошел, а ворвался в скверик, восторженно потрясая сжатой в кулак правой рукой.

— Виктория, дорогая Клавдия Степановна! — закричал он еще издали, пользуясь тем, что никто их сейчас не может услышать. Учительница выжидающе округлила глаза:

— Да какая же, Сергей Афанасьевич? Как мне кажется, все победы на поле брани еще в сорок пятом году завершились.

Но ее новый знакомый упрямо замотал седой головой и разжал кулак:

— Вот. Два билета в театр и не в какой-нибудь, а в Большой. Третий ряд партера и опера «Евгений Онегин». Как вы смотрите, Клавдия Степановна, на бессмертное творение Чайковского?

— Разумеется, положительно,— восторженно отозвалась она.

Но возвращались они в ту полночь домой хотя и торжественные, но несколько опечаленные. Клавдия Степановна хмурила тонкие брови и, не отпуская еще такой сильной руки Сергея Афанасьевича, ворчала на всем протяжении обратного пути:

— Нет, не то. Честное слово, не то. И голоса не те, и манера исполнения. А Ленский! Ну на что похож Ленский! А как он движется на сцене, не говоря уже о его теноре.

Сергей Афанасьевич неожиданно остановился и захохотал. Спутница, оглянувшись по сторонам, с опаской дернула его легонько за рукав.

— В сорок первом,— загрохотал Сергей Афанасьевич, вовсе не думая о том, что человеку в его возрасте не совсем прилично так громко смеяться, когда на него оглядываются прохожие.— В сорок первом,— повторил он и тыльной стороной ладони смахнул с глаз веселые слезы.

— Что такое случилось в сорок первом? — спросила она, проникаясь его веселостью.

— Ох, дайте отдышаться,— взмолился Сергей Афанасьевич.— В сорок первом во время войны...

— А вы разве были на войне?

— А кто ж на ней не был в ту пору, кроме инвалидов да прохвостов дезертиров, матушка Клавдия Степановна? Был, как и все.

— И что же произошло в сорок первом?

— В декабре сорок первого мы уже верх над фашистами готовились взять,— весело продолжал Сергей Афанасьевич,— и меня наш комиссар в Москву снарядил пригласить в гости на фронт актерскую бригаду Большого театра, чтобы мастера оперы и балета боевой дух перед наступлением подняли. Я с соответствующей бумагой приехал — и в зрительный зал. Даже тогда еле-еле попал. И шел как раз «Евгений Онегин». А партии-то исполняли какие корифеи! На весь мир известные. После окопов да обстрелов одно удовольствие на балконе было посидеть. Занавес опустился, и я за кулисы с той самой бумагой. Долго тыкался в разные углы, пока полоску света не узрел, что из одной актерской уборной вырывалась. Да и повышенные голоса оттуда доносились. Вхожу, а там, потрясая пистолетами, Онегин и Ленский скудные пайки военного времени делят. Какое-то несогласие меж ними произошло, и, надо сказать, Ленский гораздо шустрее оказался, чем у Пушкина и у Чайковского. Пистолет на Онегина наставил да как гаркнет: «Отдавай моим детишкам их порцию, не то я и дуэли дожидаться не стану!»

Клавдия Степановна от души рассмеялась, но вдруг остановилась и задержала его руку.

— Сергей Афанасьевич, дорогой вы мой человек. Если не торопитесь, давайте в нашем скверике минуточек с десяток посидим. Уж такой вы мне сегодня великолепный вечер подарили. И бог с ним, что у Ленского не тот голос.

Они сели на зеленую скамейку рядом. То ли оттого, что было уже зябко, то ли по другой какой причине Клавдия Степановна нервно вздрагивала, спутник ее с неменьшим волнением вдруг подумал: «Иди, как на приступ, Сергей, потому что другого подходящего случая может и не быть». И когда сели и она замолчала, он тихо сказал:

— Клавдия Степановна, мы уже давно настоящими друзьями стали, а вот о том, как кто живет, спрашивать друг у друга все время стесняемся. Я уже лет пять, как на пенсии. Обижаться не могу, если бывшему железнодо-

рожнику персональную в сто двадцать рублей определили.

— И у меня под сто,— сказала она и как-то стыдливо погладила его широкую твердую ладонь.— Плюс к тому шитьем и вязаньем зарабатывать смогу немного, если потребуется. И комната у меня отдельная.

— И у меня отдельная,— в тон ей проговорил Сергей Афанасьевич,— если потребуется, можем на две сменять... только это не главное.

— Не главное,— с каким-то молодым сдавленным смешком подхватила учительница.— Главное в том, что вы, Сергей Афанасьевич, очень милый и очень добрый человек, и мне другого спутника до конца дней своих не надо.

Сергей Афанасьевич наклонился и поцеловал ее в холодные несопротивляющеся губы.

* * *

Несколько дней готовилась к свадьбе вся помолодевшая от радости Клавдия Степановна. Она взяла из химчистки не первой новизны котиковое манто, на тот случай, если в день бракосочетания будет холодно, пошила себе новый скромный суконный костюмчик, разорилась на лаковые новые туфли и легкую модную косынку, а знакомая парикмахерша от всего сердца потрудилась над ее прической, и когда старая учительница взглянула в зеркало, она явно осталась довольна собой.

Как и было уговорено, в половине двенадцатого в длинном коридоре жактовской квартиры раздался телефонный звонок, и она, опередив всех своих соседок, первая сняла трубку.

— Ты готова, Клавочка? — непривычно ласковым голосом спросил жених.

— Да,— ответила она радостно, а голос Сергея Афанасьевича стал еще торжественнее.— Понимаешь, в чем дело. Через полчаса ты должна быть у меня, а я уйти из дома не могу. Ради бога не обижайся, за тобой зайдет мой друг и проводит ко мне. Ты ведь уже знаешь, какое это маленькое расстояние.

На звонок, раздавшийся точно через тридцать минут, она вышла одетой. День был солнечный, и котиковое манто не понадобилось, тем более что драповое демисе-

зонное пальто, пошитое на последние запасы, снятые со сберкнижки, сидело на ней гораздо лучше. «Ничего,— подумала она про себя,— на две пенсии жить будем безбедно, много ли старикам надо. Жаль, что на свадьбу все запасы ухнут, но разве без веселья свадьба».

На пороге стоял среднего роста мужчина, без головного убора, с лысеющей головой и несколько усталым лицом. На вид ему было не меньше шестидесяти, в руках он держал огромный букет гладиолусов, хризантем и пионов.

— Примите, дорогая Клавдия Степановна. Это лично от меня. Мы очень рады за нашего друга и за вас. Меня зовут Алексей Алексеевич. Я готов вас сопроводить на квартиру Сергея Афанасьевича.

Она была приятно удивлена, увидев на лацкане гостя Звезду Героя Советского Союза. «Хорошие друзья, видно, у него. А впрочем, разве могут быть они другими у такого прекрасного человека». Она знала, что идти к дому будущего мужа надо не больше десяти минут, хотя еще ни разу там и не была. Алексей Алексеевич не торопил. Роскошный букет настолько преобразил Клавдию Степановну, что прохожие с добрыми улыбками оборачивались ей вслед. Вскоре она увидела желтый многоэтажный дом с лепными карнизами и фонарями угловых комнат, по описанию так похожий на дом Сергея Афанасьевича. Внезапно она замедлила шаги и удивленно вздрогнула.

— Боже мой, а это по какому поводу машин столько съехалось у подъезда! — воскликнула она, увидев десятка два ЗИМов, ЗИСов и «Побед». Алексей Алексеевич весело рассмеялся.

— А это гости к вам на свадьбу прибыли.

— Вы шутите?

— Нисколько.

Бедная Клавдия Степановна едва не выронила тяжелый букет.

— Да чем же мы с Сергеем Афанасьевичем будем их угощать? — воскликнула она обреченно, приведя тем самым своего провожатого в самое веселое настроение. И вдруг двери подъезда широко распахнулись, из них вышел рослый генерал, с лицом и движениями Сергея Афанасьевича, и направился прямо к ней. На его светлом парадном мундире по обеим лацканам сверху вниз

двумя дорожками сбегали боевые ордена и медали, над которыми сверкала Звезда Героя. Он поцеловал ошеломленную невесту и, улыбаясь, сказал:

— Идем, любимая, нас уже ждут.

Он провел растерявшуюся Клавдию Степановну на второй этаж в большой светлый зал, и старая учительница увидела длинный стол, уставленный винами и закусками, а за ним стоявших в ожидании штатских и военных. Одного из них — маршала — она узнала по многочисленным портретам. Он подошел к ней первым, поцеловал руку и, улыбаясь в усы, проговорил:

— Нехорошо поступил Сережа, но вы на него не обижайтесь. Он страшно упрям в своих принципах. Но, может быть, и на самом деле в жизни надо проверять, настоящее ли у тебя счастье впереди. Так что вы его простите, пожалуйста. Мы все просим.

— Я на первый раз его действительно прощу,— овладев собой, согласилась Клавдия Степановна,— но только в первый и последний раз. Ведь я все это время была твердо убеждена, что он железнодорожник.

Маршал утвердительно кивнул головой:

— Сережка не солгал. Он и на самом деле железнодорожник. В двадцатом году он был командиром одного из первых красных бронепоездов и был отмечен самим Владимиром Ильичем Лениным! А теперь за стол, дорогие товарищи.

И под сводами большой комнаты прозвучало веселое и озорное, покорное как молодым, так и старым, призывное слово: «Горько!»

32 минуты из жизни лейтенанта Брянцева

Сквозь сонную дрему полковник запаса Сергей Петрович Брянцев отчетливо различал доносившиеся с кухни голоса. После вчерашнего утомительного ученого совета было приятно прилечь в предобеденный час на голубой жестковатый диванчик в любимом спортивном костюме и, подложив под голову подушку, предаться короткому отдыху. Голоса дочери и жены не мешали

его покою. Глубоко вдыхая сухой воздух жарко натопленной комнаты, пропитанный запахом библиотечных стеллажей, покрытого лаком паркета и пролитых на него духов, перебирая свои разрозненные мысли, он даже прислушивался к их разговору. Дочь только что возвратилась из Киева и, полная оживления, повествовала о своей поездке.

— Ты знаешь, мамочка, там в гостиницах, как и во всех других городах, таблички с короткой стандартной надписью: «Свободных мест нет». Пришлось у Лидки Платоновой заночевать. Мы с ней сто лет как не виделись. А она, знаешь, какая упрямая — ни за что не хотела отпустить на поиски коммунального жилья. Они с мужем три года за границей пробыли и совсем недавно возвратились. Барахла уйма, хоть комиссионный магазин открывай. Но Лидка такая добрая: все раздаривает. Мне даже сертификатов бесполосых дала и никакой компенсации не захотела за это принять. Даже разобиделась: «Мы с тобою шесть лет за одной партой просидели, а ты от меня на какие-то заграничные тряпки взять их не хочешь!»

— И правильно рассудила,— степенно одобрила жена Брянцева свою дочь.— В наше время дружба самый дорогой капитал.

— А почему в наше? — засмеялась дочь.— По-моему, начиная со времен Александра Невского, а то и Македонского... словом, мотнулись мы в тамошнюю «Березку», и я пополнила свой гардероб. Вот видишь, какой джинсовый костюмчик для твоей внученьки купила. В десять лет ребенок весьма привлекательно будет в нем выглядеть. Не правда ли, премиленький костюмчик?

— Очень современный наряд,— одобрила Ольга Филипповна.— И практичный какой. А как пошит. Умеют же совершенствовать моду на западе.

— А это как тебе нравится? — прервала дочь.

— Восхитительная кофточка! И расцветка изумительная. Для кого же она предназначена? Ларке великовата, самой тебе слишком узка.

— Тебе, моя мамочка,— засмеялась дочь.

— Мне? Да разве я влезу.

— Вот чудачка. Она такая же безразмерная, как и эластичные чулки.— Дочь умела дарить, испытывая

при этом неподдельную радость, и Брянцев, не открывая глаз, добродушно подумал: «Ишь ты, вся в меня».

Из кухни донесся звук поцелуя, которым растроганная мамаша наградила дочь. Потом женщины заговорили о каких-то удивительных колготках, о парижском галстуке и серебряных запонках, предназначенных Сергею Петровичу. Дочь примеряла модное вечернее платье, а мать одобрительно советовала:

— Если вот тут подшить, а вот тут укоротить, будешь блистать на любом балу.

«Вот ведь балаболки,— беззлобно подумал Брянцев.— Очевидно, так и не дадут уснуть. А мне ведь к вечеру отчет об ученом совете предстоит закончить».

— Да, мамочка! А какой я тебе с папой еще подарок сделала? — доносилось из кухни.— В Киеве выпускается сногсшибательный торт. Так и называется: «Киевский». Если бы ты видела, какие за ним дикие очереди выстраиваются. А я целых два привезла. Вам и на нашу семейку. И опять Лидке спасибо, с черного хода сумела взять. Ну и пробивная же девка. А до замужества такой тихоней была. Ты ведь ее помнишь, мамочка? Такая голубоглазая с хрупкими плечиками и вечным белым бантом в жиденьких волосенках. Мы все ее Джульеттой звали.

— Да что-то вроде бы и припоминаю,— неуверенно поддакнула Ольга Филипповна.

А дочь опять заговорила о промтоварных магазинах и стала с шуршанием разворачивать очередной сверток, демонстрируя еще одну обнову.

— Это я тебе платье из кримплена даю. Неправда ли, какая яркая расцветка. Говорят, теперь кримплен выходит из моды, а я люблю. Практичный материал. Смотрится хорошо и не мнется. Примерь.

Брянцев сердито вздохнул, но на кухне на этот вздох никак не прореагировали. «Черт побери! — ругнулся он мысленно.— Да что там она, целый комиссионный магазин привезла, что ли? Неужто не о чем больше поговорить? А ведь какие в Киеве театры, памятники старины, библиотеки, архитектура! Ну хоть бы о Днепре слово. Нельзя же об одной «Березке» да кримплене два часа травить. Сама-то литературу в пятых классах преподает, хорошей учительницей считается. А тут!»

— Постой, мама! — вскричала в это мгновение дочь.— Тебе не кажется, что если внизу этот шовчик распустить, платье будет сидеть лучше? Дай мне сантиметр и ножницы. Где они?

— У отца в комнате поищи. Там кожаная коробочка должна стоять на тумбочке.

— Может, не надо,—неуверенно обмолвилась дочь.— Он же отдыхает.

— Да что ты, Еленка, ему уже и вставать пора,— весело возразила Ольга Филипповна и вдруг спросила: — Позволь, а где же в Киеве твоя Лида живет, в каком районе?

— Недалеко от остановки «Дача Пуща-Водица».

— Как же, знаю,— оживилась мать и после небольшой паузы прибавила: — Ну ладно, тащи сюда кожаную коробочку, что-нибудь придумаем.

Услышав упоминание о даче Пуща-Водица, Брянцев заволновался. Он вспомнил позднюю осень сорок третьего года, фронтовые дороги, усеянные опавшими листьями, и тот памятный вылет перед освобождением Киева. Вспомнил—и ему вдруг страшно захотелось, чтобы дочь сейчас обязательно узнала об этом боевом вылете. Еленка задерживалась на кухне, и, воспользовавшись этим, он быстро встал, протопал в своих красных домашней вязки шерстяных носках к письменному столу, достал из ящика пожелтевшую от времени фронтовую летную книжку, на обложке которой даже фамилия его и та почти выцвела, только слово «лейтенант» смотрелось еще отчетливо. Дверь распахнулась, и дочь в нарядной кофточке с яркими тюльпанами на груди прошмыгнула в его кабинет. Ее короткая апельсиновая прическа встряхнулась от резкого движения. Брянцев неторопливо перелистывал летную книжку.

— Слышь, дочка, ты тут про дачу Пуща-Водица матери говорила. А я ведь ее перед взятием Киева третьего ноября в сорок третьем году штурмовать летал. Тридцать две минуты пробыл над целью на своем горбатом ИЛе. Да-а! Это не фунт изюма, а целый фунт лиха был, если разобраться. Погляди-ка, Еленка, вот тут и запись есть.— Еленка,— он до сих пор называл ее, как маленькую, Еленкой,— торопливым взглядом скользнула по выцветшим строчкам, выведенным в свое время рукою полкового писаря, и тусклой печати, удостове-

ряющей правильность записи, задержалась с коробкой в руках у дивана, на который Брянцев успел уже снова опуститься, и, наклонившись, чмокнула с рассеянной улыбкой его в щеку.

— Молодец, папочка! — а потом вихрем выметнулась в коридор, и ее оживленный голос снова раздался на кухне:

— Теперь мы справимся с этим произведением искусства, и платье будет сидеть на тебе идеально, мамочка.

«Ну, вот,— обиженно вздохнул про себя Брянцев,— и никакого к тебе интереса. Даже запись о боевом вылете не прочла». И от этого невнимания дочери он вдруг почувствовал себя безнадежно обкраденным. А из кухни до его слуха снова доносились веселые женские голоса. И вдруг голос Ольги Филипповны как-то изменился и погрустнел, когда она спросила:

— Послушай, Еленка, а какие у тебя в жизни идеалы?

— Идеалы! — расхохоталась дочь.— Зачем так торжественно, мамочка! Неужели ты думаешь, их у меня нет? Дружная семья, любящий муж, будущее моей толстушки Ларочки.

— А еще?

— Еще? — совсем уже повеселела Еленка.— Купить машину и дачу, поменять двухкомнатную квартиру на трехкомнатную и, по возможности, не на кооперативную.

— Ну, а о труде-то ты думаешь? О своем самом главном призвании в жизни?

— Ой, мама, и откуда в тебе такая наивность пробудилась? Разве в свое рабочее время, на школьных уроках, я не убеждаю своих милых пятиклашек, что труд создал человека. Или этого мало? А у тебя какие идеалы были в двадцать девять лет?

— Шла война, и у меня идеал был только один: сделать все, чтобы она поскорее окончилась.

— Фу, как ты торжественно, мама. Сегодня же не девятое мая, да и войны столько лет всем на радость нет уже.

— А если бы была? — жестко спросила Ольга Филипповна, но Еленка, не задумываясь, ответила:

— Если бы была война, я и сама не знаю, как бы себя повела. Может быть, совершила что-нибудь этакое

героическое. А что? Или не так? А сейчас три моих кита это то, о чем уже говорила: машина, дача, квартира из трех комнат. Или об этом запретно мне и думать, мамочка? Ведь я все это от своих трудовых сбережений, а не на выручку от каких-то спекуляций хочу иметь. Или не так?

— Так-то оно так,— уклончиво вздохнула Ольга Филипповна, а Брянцев в эту минуту удрученно подумал: «А ведь и у дочки своя правота в рассуждениях — и это правота времени. Не могут они, молодые, жить так, как мы в военные годы. Сыновья и дочери хотят жить лучше. Сухое словцо «реализация», но ведь они хотят реализовать все то, что мы, отцы, за них отдали. И ночи, что мы недосыпали, и кровь, что за них пролили».

А с кухни тем временем доносилось:

— На отца ты не рассчитывай, Еленка. В осуществлении твоих идеалов он тебе подпоркой не будет.

— Я знаю,— вздохнула дочь.— Он и теперь живет идеалами Великой Отечественной войны. Вот бы мне его ордена и Золотую Звезду Героя, все бы достала.

— А раны в придачу не хочешь? — сухо уточнила Ольга Филипповна.

— Нет, это мне ни к чему, мамочка.

Брянцев грустно покачал головой, и ему вспомнился капонир фронтового аэродрома, расчехленный ИЛ-2, с которого тоненькая мотористка поспешно сбрасывала маскировочную сеть, зеленая ракета, призывающая к готовности номер один.

— Ты же смотри, возвращайся,— ласково сказала она.

— А если вернусь, полюбишь? — откликнулся он грубовато.

Она промолчала, и он повторил:

— Я же тебя спрашиваю, Оля.

— Вернешься — отвечу,— сказала она, не поднимая головы.

И вот теперь Брянцев думал о времени, когда ни у кого не было ни трех китов Еленкиной философии, ни ее самой,— все тот же сорок третий год и памятный вылет на штурмовку дачи Пуща-Водица, и тонкие кисти рук мотористки Оленьки, все в мелких веснушках.

Тогда перед нашим наступлением на Киев аэродромная сеть была приближена почти к самому берегу Днепра. Лететь до Киева было рукой подать. Семь минут — и ты за линией фронта. Брянцев повел свою шестерку на предельно низкой высоте и не успел заметить, как она пересекла всклокоченный осенний Днепр. Слева мелькнул небольшой островок, рухнувшие в воду ржавые фермы моста, желтые осыпи правого берега, и под широким крылом «Ильюшина» уже замелькали, искореженные огнем, геометрически четкие проспекты, улицы и переулки древнего Киева. И он, крестьянский парень, никогда не видавший на веку на своем больших городов, не удержался, крикнул ведомым, пораженный величием и красотой этих руин:

— Ребята, а какой город гитлерюга испоганил! Долбанем их за это!

Вблизи от дачи Пуща-Водица они настигли огромную колонну отступающих фашистов. На десять с лишним километров растянулись направлявшиеся в сторону Житомира танки, самоходки, автомашины с прицепами, в которых качались с красными от бессонницы глазами солдаты в зеленых шинелях.

По глубокому убеждению лейтенанта Брянцева боевой полет «Ильюшина» состоял из надтреснутого рева мотора, грозной вибрации его корпуса, черного диска от вращающегося винта и ярких огненных вспышек, вырывающихся из стволов во время атаки. Все это повторилось и в этом полете. Зенитки чертили косыми струями низкое небо перед стеклами пилотской кабины, а он спокойно передавал на близкое от цели КП полка: «Сейчас еще раз колонну накроем. В пух и прах разнесем».

Когда они отходили от цели, воздушные стрелки пересчитывали очаги пожаров на земле,— то, что летчики не могли увидеть из своих кабин. Потом, обойдя завесу зенитного огня, шестерка успешно вышла на свой аэродром. Зарулив на стоянку, Брянцев распахнул фонарь кабины, легко соскочил на землю и не сразу обратил внимание на подавленность однополчан, их встречавших. Он искал глазами мотористку Олю с осиной талией, перепоясанной ремнем, застегнутым на последнюю дырку, и, не найдя, пересохшим от напряжения голосом спросил:

— Ребята, а где же моя незаменимая мотористка Кротова? Оля где?

Подъехал открытый «виллис», из него выскочил командир полка, сухо сказал:

— Слушай, лейтенант Брянцев. Пока ты выполнял боевую задачу, шестерка «мессеров» прошлась на аэродроме по нашим стоянкам. Одним словом, моторист сержант Кротова на операционном столе. Залезай на заднее сиденье — отвезу.

Шесть осколков вытащили тогда из тощего тела фронтовой авиационной мотористки Оленьки Кротовой, но как просияло ее лицо, когда она увидела над собой затуманенные тревогой серые глаза лейтенанта Сергея Брянцева и услыхала его сдавленный шепот:

— Живучая ты, Олька! Сколько металла из тебя вытащили, а все улыбаешься, как майская роза. Ну теперь-то хоть скажешь, моя или нет?

— Твоя,— с безысходной радостью прошептала она.

Сейчас эта женщина, которой уже перевалило за полвека, погрузневшая, с лицом, покрытым морщинами, против которых бессилен был самый импортный сильнодействующий косметический крем, с хрипловатым от одышки голосом, но с такими же светлыми, чуть удивленными, как и прежде, глазами, гремела на кухне посудой, накрывая на стол, и успевала в то же самое время сообщить дочери свое мнение о каждой из ее покупок.

На этом воспоминания полковника запаса о тридцати двух минутах из его жизни закончились. Брянцев встал, ногами нашарил домашние войлочные туфли и раздумчиво произнес одну из немногих фраз, которую еще с войны знал в переводе с французского:

— Се ля ви! — А по-русски прибавил: — И она продолжается.

Самсоновский удар

Стадион был старый, запущенный, грязный. Футбольное поле заросло бурьяном, а сразу за входными облезлыми воротами начинался такой лес из травы и диких кустов, что к давно не ремонтированным трибунам про-

браться можно было лишь по узкой дорожке. Только на гаревых дорожках занимались члены легкоатлетической секции, да среди кустов у ржавой железной ограды, как островок, желтела песчаная площадка с врытым в землю турником. В семь утра стадион был безлюден. Дул ветер, осеннее солнце с трудом пробивалось сквозь тучи. В этот час и появился пожилой невысокий человек в кожаной, видавшей виды, коричневой курточке и помятом сером берете на голове, из-под которого выбивались жесткие седые волосы. На длинном поводке он вел лохматого желто-белого щенка колли. Равнодушно позевывая, человек обогнул груду неубранного колотого кирпича и направился к турнику. Под перекладиной прыгал широкоплечий парень с короткой прической в голубом спортивном костюме и ярких новеньких кедах, рубил крепко сжатыми кулаками промозглый осенний воздух. С парня, что называется, валил градом пот. Он тяжело дышал, делая короткие прыжки во все стороны. Щенок колли опустился на груду опавших хрустящих листьев и с интересом уставился на парня. Хозяин его из-под редких бровей равнодушно скользнул серыми глазами на парня и равнодушно прошел мимо него, как учитель проходит мимо заурядного ученика. И вдруг в спину ему раздался рассерженный голос:

— Эй, ты! Разве не знаешь, что на стадионах с собаками появляться запрещено!

Старик задержал шаг и обернулся.

— Это вы мне, молодой человек? — спросил он вкрадчиво.

— Тебе, тебе! — подтвердил раскрасневшийся парень.— Кому же еще.

— Странно,— усмехнулся старик,— а ведь мы, кажется, телят совместно не пасли, да и в своей разведроте в Великую Отечественную войну я вас не видел.

— Вали, вали! — угрожающе закричал парень.— А то я тебе сейчас покажу и телят и Великую Отечественную. Легонький оперкот дам, и будешь ты, папаша, полчаса на песке валяться.

— Вот как,— усмехнулся старик.— Но позвольте узнать, а что такое оперкот?

— Узнаешь, когда на земле очутишься.

— Вот как. Значит, вы хотите меня бить? А я до сих пор полагал, что боксеры самые вежливые и благородные

люди. Оказывается, теперь среди них попадаются и такие подлецы, как вы, молодой человек.

— Что? — заревел парень в голубом костюме и в два прыжка очутился перед незнакомцем.— На тебе! — воскликнул он, размахиваясь.

Но седой человек сделал какое-то небольшое движение, и огромный кулак проплыл мимо него. На тонких, высушенных временем губах появилась ухмылка. Боксер бросился на него снова, словно решив проучить как следует за дерзость. И тут произошло неожиданное. Кулак опять не достиг цели. Но, промахиваясь, парень ощутил мощный короткий удар и, оказавшись на земле, увидал, что старик стоит в прежней позе, только поводка в руке уже не держит. Лицо его лишь чуть побледнело от гнева, а тонкие губы были стиснутыми. Вскочив на ноги, парень в третий раз набросился на старика, но на этот раз получил такой сильный удар, что небо в его глазах осветилось фиолетовыми вспышками. Медленно поднимаясь с холодного желтого песка, широкоплечий парень вглядывался в худого щуплого старика и, держась за болевшую челюсть, с глазами, наполненными радостью, неожиданно спросил:

— Скажите, а вы не Самсонов?

— Самсонов Григорий Иванович,— скупо подтвердил старик.— Визитных карточек с собой не ношу.

— Вот видите, я сразу по одному удару определил, что вы Самсонов! — восторженно воскликнул парень.— Да ваш удар авторитетней визитной карточки. Вы же мой кумир, Григорий Иванович.

Старик с сожалением посмотрел на свою левую руку, которой нанес удар, и со вздохом промолвил:

— Десять лет никого не бил, а сегодня пришлось ее выпачкать. Пойдем, Рыжик,— позвал он желто-белого щенка.

Они медленно направились к пустым трибунам, а парень в спортивном костюме, держась огромной ладонью за челюсть, вполголоса повторял:

— Сам Самсонов ударил. Завтра всем расскажу. Это же надо! — И только когда скрылись за трибунами старик с щенком на поводке, с досадой хлопнул себя ладонью по лбу: — Как же так. А прощения у него попросить я так и забыл!

Рисунок

В большой комнате накрывают праздничный стол, а на маленьком журнальном человек в легкой светлой рубашке с вольно расстегнутым воротом что-то старательно рисует на широком бумажном листе. Его твердые сильные плечи распирают рубашку, брови упорно сдвинуты оттого, что не все получается, так как хотелось бы, сбежались от напряжения. Девочка лет семи, стоящая за спиной его, поднимается на цыпочки, чтобы получше разглядеть, что там творится на листе бумаги. Шорох карандаша сливается с ее дыханием.

— Дядя Ваня,— говорит она с некоторым удивлением,— а почему ты такой невысокий?

— Невысокий? — весело повторяет за нею он.— Правильно, Вита. Действительно, невысокий. А вот если бы я был хотя бы на три вершка повыше, я бы тебе сейчас ничего не рисовал. Это за много лет до твоего рождения случилось. Мы тогда с фашистами дрались. Зашел мне в хвост в тяжелом воздушном бою гитлеровский ас, как дал из пушки, половину фонаря разворотил. Но трасса его над головой моей промчалась, а я тогда целым и невредимым из боя возвратился. Вот и смекай почему.

— А я знаю,— обрадованно восклицает девочка,— потому что ты невысокий.

— Верно, Вита,— одобряет рисующий, и карандаш с прежним тихим шорохом продолжает свою работу.

Я с порога прислушиваюсь к их разговору, и память рисует картину: над рыхлыми кучевыми облаками светлый тупоносый «Лавочкин-5» атакует зеленый самолет со свастикой на хвосте и не может заметить вовремя, что и на его самолет заходит сзади другой фашистский «мессершмитт». Гаснет расстояние между ними. Издали я неотрывно слежу за движением карандаша, зажатого его крупными пальцами, и представляю себе этого самого аса уже из далекого фронтового прошлого. Искаженное напряжением лицо, злорадную улыбку врага, убежденного, что он вот-вот одержит победу и превратит в желтый костер советский истребитель. Даже будто бы слышу треск разлетающегося на куски фонаря кабины. «Интересно, как он нарисовал все это своей собеседнице?» — подумал я и, стараясь ступать неслышно, подошел к журнальному столику.

Я смотрел за движением карандаша, а на бумаге в эту минуту рождалась бабочка с хрупкими нежными крыльями, такая непохожая на боевой самолет.

И, сделав последний штрих, трижды Герой Советского Союза Иван Никитович Кожедуб оборачивается ко мне и, самодовольно подмигнув, спрашивает:

— Ну как? Похожа?

Времена меняются

У штабного подъезда уже стояла бежевая генеральская «Волга», а сам командир дивизии в летной куртке и глубоко надвинутой на лоб фуражке с голубым околышем, перевитым золотым шнурком, внимательно разглядывал вложенную в планшет карту, когда дверь распахнулась, и на пороге появился худой высокий длинноволосый человек в берете и старомодной широкой блузе.

— Баталист Вавилов,— отрекомендовался он.

Генерал коротко кивнул:

— Знаю. Мне уже о вашем приезде сообщили. У нас для беседы четыре минуты, спешу на аэродром.

— Уложимся в три,— улыбнулся художник.— В студии мне поручили к областной комсомольской конференции написать портрет молодого аса. Нужен этакий волевой и уже закаленный, несмотря на юные годы, воздушный боец...

— Овладевший современной сверхзвуковой машиной, как это принято ныне писать в окружных газетах,— смеясь, подхватил генерал,— у нас много таких. У меня все летчики один к одному. Не обратили внимание на то, что в последнее время звезд на небе поубавилось? Это они, мои комсомольцы, в ночных полетах звезды хватают. Да, да. Давайте, чтобы не терять времени, условимся так. Сейчас я поеду на аэродром и пришлю вам троих самых боевых наших парней по одному из полка. А вы уж выберете себе натуру.

И генерал уехал. Художник, насвистывая, рассматривал наглядные пособия, которыми был увешан кабинет командира дивизии. Не прошло и двадцати минут, как дверь кабинета, обитая коричневой кожей, открылась, и молоденький лейтенант с порога спросил:

— Вы меня вызывали? Прибыл по приказанию нашего командира дивизии. Лейтенант Филоненко.

Посмотрел художник: лицо в веснушках, плечи узкие, подбородок с ямочкой совсем почти детский. «Разве на холсте после встречи с таким натурщиком что-нибудь родится. Как ни заставь его позировать, а уловить броские черты скрытой отваги, твердости и красоты духа в таком невозможно». Вздохнул и затруднительно сказал:

— Спасибо, я вас разыщу потом.

За первым пришел второй летчик-истребитель и, по всей видимости, прямо с полетов или на полеты направляясь. На нем и перегрузочный костюм, в руках гермошлем, и он его как-то небрежно и даже некрасиво держит. Над блеклыми светло-зелеными глазами редкие брови, словно сметаной облиты.

— Лейтенант Скрипалев. Я по приказанию генерала...

— Я вас вечером разыщу,— уклончиво прервал его баталист.

Третий лейтенант, горбоносый, с цыганскими вразлет бровями и каким-то робким смущенным взглядом, еще больше его разочаровал, а в особенности несбритые волосинки на том месте, где у настоящего героического летчика могли бы быть лихие усы. «Черт побери! — про себя выругался художник.— Хоть бы мама тебе их ножницами выстригла»,— и, горько вздохнув, извинился за то, что его побеспокоил.

Через полчаса за окном прошумела машина, а потом рывком распахнулась дверь, и появился сам генерал, рослый, порозовевший, радостно взволнованный после полета.

— Ну, как вам понравились мои орлы, на ком остановили свой выбор?

— Орлы? — насмешливо переспросил художник.— Да какие же это орлы? Не понимаю, и за что только им звание летчика первого класса присвоено. Разве есть в их облике что-либо от Чкалова, Коккинаки, Громова или Кожедуба? Иной десятиклассник и то мужественнее и осанистее выглядит. А эти...

— Ну, как знаете,— взорвался вдруг генерал,— других рекомендовать не могу, потому что этими тремя вся наша дивизия гордится. Не взыщите.

Не подобрав подходящей натуры, художник, с горьким ощущением напрасно затраченного времени и невыполненного задания, отбыл в Москву.

...Прошло пять лет. Однажды ранним весенним утром вышел из своей московской квартиры баталист Вавилов, достал из почтового ящика газеты и увидел на первой странице «Правды» большую фотографию. На него смотрело страшно знакомое лицо молодого человека в фуражке с авиационным крабом. Вавилов сразу узнал и горбатый нос и разлет бровей над глазами. Под снимком была оттиснута подпись: летчик-космонавт... а дальше следовала фамилия того самого лейтенанта, портрет которого художник отказался писать.

И Вавилов огорченно подумал о том, как трудно за неброской внешностью угадать порою сильный характер.

— Да,— сказал он себе в оправдание,— времена меняются, но теперь этот парень никогда не захочет мне позировать.

Одна небольшая просьба

В телефонной будке выбиты стекла. Сидящему на близкой от нее скамейке пожилому мужчине в сером скромном костюме, со знаком ветерана войны на лацкане, волей-неволей приходится слушать доносящийся оттуда голос. Высокий парень с копной падающих на самые глаза длинных волос и броском джинсовом костюме кричит кому-то из своих друзей.

— Тимур, наши сегодня собираются в восемь. Если при деньгах, купи по дороге бутылку шампанского. Лучше полусладкого. Закуски и крепкое у нас есть. И Галку по пути прихвати. А насчет записей для магнитофона подумай. Если что-нибудь новое есть — будем рады. Ты знаешь, Родька Быков так обалденно вчера нахватался. Его Леший на своем «Жигуленке» домой везет, а он на щиток уставился и орет: «Ты какого черта счетчик не включаешь». Вот потеха! Значит, я вас обоих жду. А теперь давай на связь Зинку, с ней хочу потравить.

К будке в светлом старомодном демисезонном пальто торопливо подходит старушка с худым бледным лицом

в глубоких складках, вздрагивающим от волнения голосом просит:

— Молодой человек, у меня с дочерью сердечный приступ. Надо «скорую» вызвать, уступите, пожалуйста, молодой человек.

Искоса на нее взглянув, парень продолжает кричать в трубку:

— Да тут бабка одна какая-то пристала. Так и в любви объясниться не дадут. Ну, чего тебе надо, бабуся?

— Молодой человек,— всхлипывает старушка, готовая вот-вот расплакаться.— У меня с дочерью плохо, «скорая» нужна срочно.

— Ну, подожди, я в две-три минуты закруглюсь,— обнадеживает парень и продолжает изъясняться с прежней многословностью. Губатое его лицо то и дело расплывается в ухмылке. У мужчины, наблюдавшего со своей скамейки эту сцену, бледнеют щеки от негодования и под правым глазом начинает нервно подергиваться мускул. Про себя он отсчитывает: «Раз, два, три, четыре, пять. Пора!» — и решительно встает со скамейки, одергивает пиджак с таким видом, с каким когда-то на фронте, вероятно, одергивал гимнастерку.

— Какой же вы жестокий, ну хотя бы немножко милосердия,— почти стонет седая женщина.— Ведь я же «скорую»... мне же срочно.

Мужчина в сером костюме отстраняет ее рукой и рывком распахивает дверь телефонной будки. Очевидно, в его глазах такой полыхает гнев, что губатый парень, сказав своей собеседнице «обожди», опускает зажатую в руке трубку:

— Тебе чего, папаша?

— Вон отсюда, и сию же минуту,— раздельно повторяет человек в сером костюме,— ты что, негодяй, у женщины горе, а ты...

— Но позволь, папаша, зачем же так неосмотрительно выражаться. Тебе жить надоело, что ли? Ведь я же все-таки разрядник,— отвечает парень нагло, но уже не совсем уверенно. И вдруг на глазах у обомлевшей старушки человек, мирно сидевший на лавочке, хватает его обеими руками за ворот и вышвыривает из телефонной будки. Трещит воротник дорогой импортной джинсовой куртки, споткнувшись, парень падает на асфальт. Вскочив, он делает попытку замахнуться на пожилого муж-

чину, но тот неуловимым ударом ребра ладони в кадык опять валит его с ног. Со стоном поднимается парень с земли.

— Это же нападение, за это по Уголовному кодексу...

— Я не изучал Уголовный кодекс,— обрывает его мужчина,— зато в войну восемнадцать языков привел. Пожалуйста, вызывайте «скорую»,— обращается он к старушке.

Закончив разговор, она покидает телефонную будку и подходит к незнакомому мужчине, по-прежнему сидящему на скамейке. Лицо его еще бледнее, чем было минуту назад от ярости, раскрытым ртом он жадно хватает прохладный вечерний воздух, на лбу капельки пота.

— Простите, я даже не знаю, как вас и отблагодарить.

Мужчина со знаком ветерана войны на своем штатском пиджаке вялым слабым голосом отвечает:

— Спасибо, я рад, что помог. Хотя если вы собираетесь меня отблагодарить, то я действительно обращусь с одной небольшой просьбой. Я дам вам денег. Здесь на углу аптека. Если вам не столь трудно, купите, пожалуйста, тюбик валидола. Две недели назад меня выписали из больницы после инфаркта.

Признание

Фронтовая быль

Игорь Горбатов, небольшого роста, плотный, пробитый веснушками старший лейтенант, фронтовой корреспондент газеты «Советский сокол», неуклюже выбрался из задней кабины зеленого У-2, винт которого мельтешил на малых оборотах, и благодарно помахал на прощанье пилоту. Сквозь приглушенный треск мотора летчик прокричал:

— Держи правее болота, старшой. Отсюда до деревеньки всего километр. Как войдешь, отсчитай на правой стороне пятый дом, там и живет майор Белодед. А я пошел.

Мотор взревел, и У-2, не разворачиваясь, начал разбег перед взлетом. Была весна, шагая по целине к деревеньке, именовавшейся Петушками, Горбатов на каждом

своем сапоге нес, как минимум, по полпуда густой иссиня-черной грязи. Перед крыльцом пятого дома он с волнением остановился и долго счищал с подошв тяжелую грязь, отдаляя минуту встречи с Белодедом. Мрачноватое лицо этого летчика старший лейтенант до мельчайших черточек изучил по десяткам фотоснимков, появившихся в газетах и журналах. За три года войны Иван Белодед совершил столько не всегда даже правдоподобных подвигов, что о нем заговорил весь мир. И не только союзники. Когда истребитель Белодеда отрывался от земляной полосы фронтового аэродрома и, ввинчиваясь в небо, уходил на высоту, увлекая за собой ведомых, фашисты за линией фронта истошно орали по радиостанциям своего переднего края:

— Ахтунг! Ахтунг, алярм! Бе-ло-дед!

Он бывал идеально точен и издевательски холоден в воздушных боях. Однажды со своим ведомым Белодед атаковал девятку «Юнкерсов-87» (их за корявые неубирающиеся шасси на фронте называли «лаптежниками») и уничтожил всех до единого. Три из них взорвались в воздухе, а остальные, прошитые желтыми трассами, горящими кострами упали в прифронтовой полосе. А в другом полете, когда его ведомый был сбит и приземлился на фюзеляж, Иван Белодед сел рядом на узкую с выбоинами шоссейку, на глазах у спешивших к месту вынужденной посадки фашистских автоматчиков взял на борт в свою тесную кабину товарища и успел зажечь огромный трехосный немецкий грузовик. Слава Белодеда росла, его представили ко второй Звезде Героя Советского Союза. Получив задание редактора организовать три подвальных статьи от майора Белодеда на тему «Воздушные бои в сложных метеорологических условиях», Горбатов поделился этой новостью со своим другом редактором армейской газеты Махоркиным.

— Угуй! — воскликнул тот.

— Ты чего это филином заголосил? — удивился Горбатов.

— Подожди,— предрекающе изрек Махоркин,— ты еще не так заголосишь вскорости. Дело в том, что майор Белодед принципиально не принимает газетчиков. Даже корреспондента «Комсомольской правды» выпроводил. И знаешь, что сказал: «Мне сержанта Муравьева для обобщения опыта выделили, вот и достаточно. А газет-

чики пусть после войны приходят, а сейчас боевые действия вести не мешают».

С невеселым чувством поднялся старший лейтенант по скрипучим ступенькам резного крылечка. На первый же его стук вышел богатырского телосложения сержант и, равнодушно выслушав просьбы провести к майору Белодеду, лениво ответил:

— Я, разумеется, доложу, товарищ старший лейтенант, но полагаю, что бесполезно это будет. Вашего брата майор не жалует.— В эту минуту за дверью раздался хрипловатый нетерпеливый бас:

— Куда ты пропал, Муравей? А ну, геть ко мне прямым ходом.

Сержант исчез, а Горбатов долго топтался на крыльце в угрюмой уверенности, что получит категорический отказ и даже разговор с этим крутым по характеру асом не состоится. Когда в коридоре раздались тяжелые шаги, он окончательно упал духом. Дверь рывком отворилась, и на пороге появился уже не сержант, а плечистый высокий человек в коричневой кожаной курточке с застежкой «молнией» и небрежно разметавшимися на голове русыми волосами. Сумрачный взгляд серых непроницаемых глаз не предвещал ничего хорошего.

— Ты, что ли, из газеты «Советская авиация», старшой?

— Я,— упавшим голосом ответил старший лейтенант Горбатов, моментально узнавший по портретам суровое с наметившимися складками лицо знаменитого летчика.

— Заходи,— резко бросил Белодед и повернулся к журналисту спиной. Проследовав за ним, Горбатов оказался в просторной горнице с цветами в кадках на подоконниках и чертежами на стенах. В центре стол, уставленный тарелками, начатая бутылка без этикетки и графин с квасом.

— Садись,— так же грубовато продолжал Белодед, без интереса взглянув на протянутое корреспондентское удостоверение.— Жрать хочешь? Мне тут за вчерашний сбитый выходной дали. Вот и решил нервную нагрузку малость снять. Тебе чистого или разбавленного? — спросил он, кивнув на бутылку, каким-то оттаявшим голосом.

— Чистого,— ответил Горбатов, а про себя подумал: «Вот сейчас угостит и на дверь укажет». Серые глаза

у Белодеда подобрели, и весь он как-то повеселел, когда насмешливо воскликнул:

— Смотри-ка, значит, без разбавки умеешь. Ну, давай. Огурчики тут моя хозяйка Матрена Алексеевна на славу приготовила, да и квасок, что надо.

Они выпили молча и молча закусили. Белодед крякнул, тыльной стороной ладони обтер губы.

— Что тебе от меня надо — знаю. А вот ты не знаешь, что всем твоим коллегам я от ворот поворот даю? Зарок такой дал: до конца войны никаких интервью.

«Вот и все»,— подумал горько Горбатов и отвел глаза от майора. Белодед снял куртку, на его гимнастерке тяжелым звоном колыхнулись ордена.

— Ну чего опустил голову? — спросил летчик насмешливо.— Тебя это не касается, старшой. Это всех касается, кроме любого корреспондента из вашей газеты «Советская авиация».

— По-очему? — растерянно спросил Горбатов. Прославленный ас опустил тяжелую руку ему на плечо.

— В вашей газете работает писатель Рябовский?

— Работает.

— В конце сорок первого года он написал очерк «Тяжелый октябрьский день». Было?

— Было,— нетвердо ответил журналист.— Но разве этот очерк плохой. У нас на «летучке» он получил высокую оценку.

— К черту вашу «летучку»,— загремел Белодед, и складки на его лице обозначились резче.— Вы-то сами понимаете, как там это у вас называется, ну сюжет очерка.

— Разумеется. Героем очерка были вы.

— Вот именно! — вскричал Белодед.— Там шла речь о том, как я зазевался в бою и меня с хвоста сбил «мессер». Таким вот образом я оказался на самом передке в расположении стрелкового батальона, который атаковали фашисты. Пули, снаряды, минометный обстрел и прочая чертовщина. Комбата убило, когда батальон ринулся в контратаку. И ты помнишь, как об этом написал ваш Рябовский! — с неожиданно заблестевшими глазами воскликнул майор Белодед.

Горбатов кивнул головой.

— Еще бы! — и процитировал: — «Отважный летчик поднял с горячей от артиллерийских воронок земли сты-

нущее тело комбата, отнес его на руках в ельник, начинавшийся за линией наших окопов и засыпал холодной осенней землей. А потом повел батальон в атаку».

— Вранье! — перебил его Белодед и хлопнул по столу кулаком.— Не было ничего подобного. Я и тела убитого комбата не видел, а ваш Рябовский сочинил: взял стынущее тело на руки, копал могилу! До того ли тогда мне было. Кинулся я в первую цепь — это действительно, крикнул: «За родину! Бей фашистов проклятых!» Тоже было. И контратаку батальон отбил. Но на руки убитого комбата... вранье! — майор помолчал, налил себе стакан кваса, долго и жадно пил. Слышно было, как булькает квас в его сильном горле с острым кадыком.

«Вот и совсем плохо! — подумал Горбатов.— Уж лучше сказал бы сразу, уходи домой, и баста. А тут еще нашу газету в клевете обвиняет».

Белодед встряхнул головой, снова рассыпались русые волосы. Непонятная грусть появилась в его глазах.

— Слышь, старшой, ты оставайся у меня в доме хоть на день, хоть на два. — Неожиданно предложил он.— Я тебе о чем хочешь расскажу. Сержант Муравьев любые чертежи и дневники представит. Только знаешь что... когда в свою редакцию вернешься, поцелуй за меня обязательно этого самого писателя Рябовского. Так и скажи, я приказал, майор Белодед.

— Да за что же? — пораженно воскликнул старший лейтенант.— Вы же только сказали, что он все наврал...

— Да, наврал! — свирепо воскликнул летчик.— Не было ничего этого в действительности. Только знаешь что? Как бы я хотел, чтобы все это произошло со мной на самом деле. И так, как он написал об этом. Эх, недорос!

Взлетная полоса

Какой восторг овладевает тобою, когда, вырулив ранним утром на широкую бетонированную полосу, ты устремляешь свой взгляд вперед. Сквозь прозрачный плексиглас пилотской кабины ты увидишь во всей своей привольности родной аэродром с ангарами и штабными постройками, две пунктирные линии ярких ночью и по-

гашенных днем ограничительных огней, далекую зыбкую зубчатку леса и даже веселые желто-белые ромашки на обочинах, кокетливо кланяющиеся тебе от легкого ветерка, набежавшего на острый нос самолета, содрогающегося от готового взреветь во всю мощь двигателя! И ты ощущаешь, как грудь твою под привязными ремнями распирает от радости и волнения, как хочется поскорее оторваться от земли, чтобы стать на голубом фоне неба маленькой точкой, а потом и вовсе растаять на виду у однополчан, так чтобы только локаторщики видели тебя на своих экранах!

Мало о ней еще написано и в стихах, и в прозе,— о нашей широкой ровной и твердой взлетной полосе! А ведь она открывает дорогу в небо, и судьба каждого пилота зависит от того, как он по ней взлетит.

Так и в жизни обычно бывает. «Старайся взлетать всегда смолоду, пока видишь ясно взлетную свою полосу и контрольные ориентиры. Никогда не откладывай взлет на зрелость и тем более на старость, ибо ослабевшее зрение не будет тебе помощником».— Так, бывало, любил говорить командир нашего полка Василий Емельянович Копанков, которого все мы называли «батей», несмотря на его неполные двадцать четыре года, когда по праздникам надевал он свою тяжелую от медалей и орденов гимнастерку. И еще, строго хмуря редкие жиденькие брови, он любил прибавлять:

— Взлетная полоса — наш родимый дом. Она, ребятушки, обязательно каждого из нас примет, если ты даже от самой линии фронта на дымящем моторе тянешь.

Только сам он не дотянул до светлого дня Победы и врезался в землю за Одером, не отпраздновав свои без малого двадцать пять. А годы прошли. И уже не «Лавочкины» и «Яковлевы» военного времени, а роскошные МИГи и СУ взлетают не с размытых дождями фронтовых полос, а с аэродромов первого класса, оснащенных всеми чудесами радиолокации и связи. Но она осталась все той же дорогой в небо — наша широкая взлетная полоса.

С поседевшей давно головой приезжаю я иногда на военный аэродром и вижу, как уходят в небо на сказочных самолетах уже не мои однополчане, а их возмужавшие дети, давно ставшие летчиками первого класса. Ныне разум и знания рождают опыт. Но все это может ока-

заться ничем, если нет в тебе того самого мужества и отваги, которыми обладали фронтовики.

Сегодня полетов нет. Я стою у обреза взлетной полосы, любуясь чистотой ее бетонных плит, а командир полка тридцатилетний полковник Осинин с тонкой стрелкой усиков на худощавом смуглом лице, отводя глаза, сухо и отрывисто рассказывает о том, как погиб его предшественник, сын того самого «бати» Копанкова, который даже не успел его увидеть и поцеловать, потому что жена его мотористка Маша Любимова перед самым наступлением на Берлин уехала в сорок пятом году в тыл рожать. Осинин рассказывает сухо, и я хорошо знаю почему. Ведь мы же и на фронте не умели по-иному рассказывать о гибели своих друзей, оттого что каждое слово приходилось отрывать от себя, словно повязку с незажившей раны.

— Мы были большими друзьями,— наводняет Осинин мой слух своею нескладной речью.— Я его звал просто Юрой: он командир, я его первый зам. Поверьте, в этом полете Юра не мог поступить иначе. Если бы он катапультировался, машина неминуемо упала на город. Пусть не на самый центр, но на густо населенную его часть. Он был прав, когда решил тянуть до своей взлетной полосы. Все-таки один шанс из ста... но Юрию он не выпал. Если бы вы знали, как тяжело было растаскивать с бетонки куски взорвавшегося МИГа, а потом смывать пятна крови и не только с плит, даже с травы.

Я не выдерживаю и спрашиваю:

— Молодые летчики были рядом?

Осинин горестно кивает головой.

— Еще бы! Я их специально построил всех до единого и показал на обломки. «Вы это видели? Кто не хочет быть летчиком, два шага вперед из строя». Никто не произнес ни слова в ответ, но и не пошевелился. И тогда я прибавил фразу, которую так любил Юра Копанков. «Взлетная полоса — наш родной дом. Она каждого примет».

— Это слова его отца Васи Копанкова,— сухо поясняю я.— Ему было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Осинину это хорошо известно, и он молчит. А я смотрю на широкую, убегающую к границе аэродрома взлетную полосу и думаю о том, что завтра в этом полку снова летный день и молодые ребята, дети своих отцов, на ог-

ромной скорости будут отрывать свои истребители от серых бетонных плит, чтобы на невидимых отсюда высотах выполнить учебные задания и потом возвратиться назад. Думаю и торжественно, словно клятву, произношу про себя:

— Прими их, взлетная полоса, будь всегда им родимым домом!

Сирень

Есть удивительные города, в которых сколько бы ты раз ни побывал, они никогда не утрачивают своей притягательной силы. Именно таков Ташкент. Когда пассажирский лайнер, снижаясь, делает круг над широким полем аэродрома, а в иллюминаторе четко расчерченные возникают утопающие в апрельской ранней и такой буйной зелени прямые улицы и кварталы, составленные из новых разноцветных зданий, нет и не может быть такого пассажира, который бы вне зависимости от своего возраста, цвета кожи, характера и темперамента не произнес бы двух ласковых слов:

— Здравствуй, Ташкент!

А улетая назад, после своего короткого или продолжительного гостевания, вдоволь находившись по городу и накатавшись под землей в поездах самого молодого в нашей стране метрополитена, с грустью бы не сказал:

— Прощай, Ташкент! До новой встречи, дружище, потому что я к тебе обязательно вернусь!

До этой торжественной минуты инженеру московского авиазавода Павлу Григорьевичу Столярову оставалось уже совсем немного. Он успел сдать в багаж объемистый дорожный чемодан и получить взамен желтый контрольный талон с цифрой тринадцать на конце. Столяров всегда считал, что, если цифра тринадцать присутствует в номере любого полученного им билета или квитанции, это к добру. Пряча талончик, он снисходительно улыбнулся своей давней мальчишеской выдумке и мысленно себя покорил: «Седые виски, а все еще живет в тебе третьеклассник».

В накинутом на плечи синем пыльнике он прошелся вдоль здания аэровокзала, подставляя лицо крепнущему утреннему солнцу. Веселый гул человеческих голосов

плыл над асфальтированными дорожками, ведущими на летное поле, красные и голубые автокары развозили пассажиров, временами весь этот шум покрывал шум садящихся и взлетающих самолетов. Тридцать минут до объявления посадки оставалось и у него. В тени напитавшихся утренней влагой акаций с десяток женщин продавали сирень. В их руках и в поставленных у ног корзинах пышные букеты смотрелись празднично. Сирень белая, персидская, клубилась на фоне серого асфальта. Долговязая худая старуха с хорошо поставленным голосом базарной торговки старалась перекричать своих товарок.

— Гражданин, а гражданин,— протягивала она яркий букет.— Недорого. Всего три рубля стоит букетик. До самой Москвы довезете, жена за такой подарок расцелует.

— А ваш букет сколько? — спросил Павел Григорьевич у ее соседки, у которой, как ему показалось, сирень была гораздо пышнее. Немолодая женщина с проблесками седины в волосах прижала тяжелый букет к неновому светлому плащу и тихим усталым голосом ответила:

— Возьмите за три рубля два.

Инженер удивленно пожал плечами, а долговязая торговка внезапно осыпала соседку бранью:

— Да ты что, малохольная, мне коммерцию рушишь. Торговать не умеешь, так не приходи. Кто же такую красоту за трояк уступает? Зря я тебе рядом и стоять-то разрешила.

Не обратив на нее никакого внимания, женщина в пыльнике с узким сероглазым невеселым лицом тихо, но решительно повторила:

— Берите два букета за три. Не пожалеете, я эту сирень так холила.

Столяров удивленно пожал плечами и достал три рубля. А когда, взяв букеты, сделал несколько шагов в сторону, продавщица бросилась за ним с наполовину опустошенной корзиной.

— И эти заберите, пожалуйста,— настойчиво предложила она,— все до единого заберите... просто так, без всяких денег. Забирайте, забирайте, молодой человек.

То, что его назвали молодым человеком, Столярова нисколько не удивило. Несмотря на поредевшую шевелюру и белые виски, к нему и в пятьдесят лет так иной раз

обращались. Все-таки армейская служба и до сих пор позволяла держать себя в узде. Удивили его какие-то давно позабытые интонации в голосе женщины и немножко печальные, не то задумчивые синеватые глаза, привычка чуть прикусывать поблекшую нижнюю губу. Память настойчиво ворошила воспоминания, и вдруг инженер остолбенело воскликнул:

— Лена... Сторожева!

У женщины как-то жалко вздрогнуло все лицо, и она чуть ли не со слезами воскликнула:

— Павлик... Павлик, милый мой! — Они отошли в сторону и долго, радостно улыбаясь, рассматривали друг друга. Он было прижал ее к себе, но так и не поцеловав, отпустил:

— Ленка, да сколько лет прошло. Мы же с тобой в первые дни войны здесь на Кашгарке расстались. Я тогда в летное уехал доучиваться, а ты потом уже на фронт мне письмо прислала, что медсестрой на войну уходишь... Ой, какая же это радость — так встретиться.— От резкого движения синий его плащ распахнулся, и бывшая одноклассница увидела на лацкане пятиконечную звездочку.

— Ты даже Герой? — спросила она с гордым удивлением.

— Да, было,— ответил он небрежно,— все-таки девятнадцать самолетов гитлеровских за мною числится. Но это все детали. Рассказывай, как ты, где и что?

Синие глаза потухли, и рот жалобно вздрогнул.

— Расскажу,— сказала она решительно,— обязательно расскажу, Павлик, иначе ты, чего доброго, подумаешь, что я заправской торговкой стала.

— Да нет,— усмехнулся Столяров.— Я уже понял, что ты по коммерческой части не преуспеваешь, иначе зачем бы бесплатно столько сирени решила мне отдать.

— Я после войны учительствовала, Павлик, литературу в старших классах преподавала. А сейчас на пенсии. И муж у меня на пенсии.

— Уж не за кого ли из наших одноклассников ты выскочила? — оживился инженер, но она отрицательно покачала головой.

— Нет. Он из Ферганы родом. В войну башенным стрелком был на танке. Я его почти безнадежного выходила в сорок четвертом, с тех пор и живем. А сирень

я не продаю, мы ее просто так знакомым раздариваем. Это вот только исключительный случай.

— Какой же, Лена?

— Несчастье у нас случилось, Павлик. У моего Рустама осколок в теле сдвинулся и нерв повредил. Муж мой уже полтора года лежит прикованный к постели. А какой он у меня хороший, ласковый, уважительный, добрый. Ни за что ни на кого бы не променяла.

Яркий день разгорался над ними. Солнце сверкало на широких стеклах аэровокзала, голубое небо слепило глаза, по нему еле-еле перемещались маленькие облака с розовыми нежными подпалинами. День сиял, и было странно, что под этим солнцем может оказаться убитый горем человек с заплаканными глазами. Скорбно утирая их платком, бывшая одноклассница сказала:

— С ремонтом мы поиздержались немного, а сегодня у Рустама день рождения. Вот и решила я хотя бы на трояк сирени продать, чтобы ему торт купить именинный. Вот и взялась за коммерцию, как ты тут заметил.

— Лена, послушай,— горячо перебил ее Столяров,— да ведь это же дело поправимое. Мы тут коллективную премию за одно усовершенствование получили, так я бы...

Она решительно подняла руки:

— Да ты что, Павлик, и не думай об этом, да я ни за что. И свой трояк забери. Не позволю себя опозорить. Не хватало еще, чтобы я тебе за них сирень продала. Учились, учились вместе и вот...

— Да иди ты к шутам, Ленка,— взорвался вдруг инженер,— тебя мы еще с пятого класса за редкостное упрямство осликом звали. Некогда мне твоим перевоспитанием на старости лет заниматься. Давай мои три рубля и жди, не сходя с места.

— Чего ты задумал? — вырвалось у пожилой женщины.

Ни слова не сказав в ответ, Столяров быстро скрылся в толпе. Через минут семь он вернулся веселый и запыхавшийся с большим тортом в руках, бутылкой шампанского и коробкой шоколадных конфет.

— Все-таки Звезда Героя иногда помогает,— сказал он хвастливо.— Очередь в ресторане обалденная, а мне мгновенно все выдали. Держи, это на день рождения твоего Рустама. Между прочим, на крышке торта мой

московский адрес и телефон, а теперь мне пора, посадка уже идет.

Когда вместительный ЯК-62 вырулил на взлетную полосу, Столяров, держа на коленях целую охапку душистой весенней сирени,— она только в Ташкенте пахнет так дурманяще,— в последний раз увидел в круглом окошечке загородку, за которой со многими другими провожающими осталась его одноклассница Елена, и опять вереницей пробежали воспоминания, от которых стало грустно и будто бы солнце перестало светить так ярко, как до сих пор. Он подумал о том, как сильно любил ее, тогда хрупкую угловатую девчонку с косичками и яркими синими глазами на худеньком личике, как хотел в этом признаться, но в последние минуты перед отъездом в летное училище оробел, и нежные эти слова остались только с ним, как потом на полевых аэродромах в минуты перед боем да и после возвращения из зенитного пекла думал о ней и как суровая военная пора пересекла их жизненные пути и разметала навсегда. Вероятно, Лена так и не узнала, как был он в нее влюблен. А теперь и у него и у нее прошла самая спелая полоса жизни, по-разному сложились судьбы. «Хорошим она оказалась человеком,— подумал Столяров,— если выходила тяжелораненого, полюбила и теперь так неистово печется о нем». Постепенно доброе умиротворенное настроение возвратилось к инженеру. Внизу размывались контуры земли, уплывали и становились невидимыми пестрые улицы и проспекты большого города, утопающего в майской зелени. И Столяров негромко, но вслух, а не мысленно произнес:

— Прощай, Ташкент, я к тебе обязательно вернусь!

Лаврентьич

Дивизия проиграла бой и отступала на прежние рубежи. В сумерках третий батальон дошел до старых своих позиций. В обгоревших шинелях понуро шагали бойцы и командиры по мокрой осенней хляби. У иных вместо касок на головах белели бинты. На опушке редкого леса, прикрытая сломанными ветками для маскировки, дымилась походная кухня, и кряжистый повар Иван Лаврентьич, которого все чаще называли просто Лаврентьичем,

глядя из-под насупленных, чуть прихваченных сединой бровей, разливал в котелки густой кулеш, дурманно пахнущий сосновым дымком. Был он угрюм, глаза беспокойно пересчитывали подходящих к полевой кухне воинов и время от времени вопрошающе поднимались то на одного, то на другого солдата.

— А сержант Защипка где ж? — спрашивал он неуверенно и, когда раздавалось в ответ: «Отвоевался», опускал тяжелую голову. Двадцать пять человек из своей роты недосчитался в этот вечер повар Лаврентьич. Двадцать пять порций остались нетронутыми в котле. Двадцать пять паек хлеба и двадцать пять фронтовых наркомовских стограммовых порций водки. А когда тяжелой поступью удалился от полевой кухни последний солдат поредевшей роты, к Лаврентьичу подошел комиссар батальона с незнакомым человеком в тяжелой от дождя и грязи плащ-палатке и коротко попросил:

— Устрой, старшина Прасолов, младшего политрука. Он из нашей армейской газеты и тоже был на самом передке во время боя.

— Сделаю, товарищ старший политрук,— хмуро заверил Лаврентьич, словно дело шло о чем-то самом главном, и повел незнакомца к себе в землянку. Грязь уныло чавкала под их ногами. Вероятно, Лаврентьич думал только о погибших, потому что за всю дорогу не проронил ни единого слова. Лишь дыхание его, сиплое и неровное, доносилось до слуха младшего политрука, сероглазого паренька с хрупкими чертами лица и обтянутыми смуглой кожей скулами. Когда по узким скользким ступенькам они спустились в тесную землянку и батальонный повар зажег светильник, под который была приспособлена желтая артиллерийская гильза, юноша увидел два деревянных лежака с набросанными на них охапками соломы, вместо матраса, подушки с давно нестиранными пестрыми ситцевыми наволочками, грубо сколоченный стол с приставленной к нему табуреткой, небольшой портрет Сталина на стене.

— Занимай любой,— кивнул старшина на лежаки,— а я сейчас.

Вскоре он возвратился с двумя котелками в руках и бутылкой водки, деловито выставил все это на стол.

— Вот ешьте, тоже небось намаялись за день,— сказал он доброжелательно.— Водки можете употребить

сколько хотите. Шутка ли сказать, двадцать пять порций осталось сегодня... и столько же матерей осиротело.

При чадящем вздрагивающем свете гильзы младший политрук заинтересованно рассматривал хозяина землянки. Лаврентьичу на вид было за сорок. Равнодушно глядя на котелок с горячим пустым супом и бутылку водки, он горестно щурил бесцветные глаза. Лицо у него было грубое, будто вырубленное из серого камня, и на нем каждая морщина отчетливо выделялась. Над низким лбом жестким ежиком вставали уже тронутые сединой черные волосы. Рыхлый подбородок, плохо выбритый в этот день, и большие тяжелые кулаки, так не гармонировавшие со всем его добрым обликом. Лаврентьич налил водку в алюминиевую кружку и протянул своему гостю, а когда тот отказался, разочарованно пожал плечами:

— Это почему же, товарищ младший политрук? Столько горя повидали вы сегодня и отказываетесь. Надо бы за наших побратимов павших. Как зовут-то вас кстати.

— Замойский Павел Андреевич. Можете просто по имени,— последовал ответ. Лаврентьич удовлетворенно кивнул головой и более настойчиво повторил:

— Надо бы за погибших, Паша.

Младший политрук на мгновение задумался, и тонкие брови над его серыми глазами превратились в шнурок. Потом он встал, молча взял алюминиевую кружку и, не отрываясь, выпил до дна. Лаврентьич крякнул от удивления:

— Во, какой молодец! А теперь щедро закусывай, Паша, горячим кулешом. Ешь до отвала, и о них, о героях, помни. Это не беда, что мы вперед сегодня не продвинулись. Может, оттого и под Сталинградом наш гарнизон Паулюсу не сдается, что мы сюда подо Ржев столько силы нечистой отвели. Ешь, голубок, ешь. А как этот кулеш Родька Смоляков, сердешный, обожал. Всегда говорил: «Лаврентьич, подбавь трошки, больно ты виртуозно его готовишь». Миной ему голову снесло сегодня. А пэтээровца Ваню Трошкина танк гусеницами переехал... два он зажег, а от третьего уйти не удалось. Тот после ужина песню запевал и всегда одну и ту же: «Ах гармонь моя, гармонь, золотые планки». А Серега Пантюхов, его сегодня снайперская пуля взяла, бывало, от кухни отойдет, согнет калачиком ноги и, сидя, изволит

котелок опустошать. Это он оттого подобную позу любил принимать, что в Средней Азии долго прожил, а там именно так ели. Эх, парни, парни, будто из сердца вас кто навек вырвал.— Заметив, что у гостя от усталости набок клонится голова, Лаврентьич участливо сказал: — А ты приляг, Паша, голубок, поспать. Вижу, с устатка валишься.

Замойский последовал его совету и, не раздеваясь, повалился на жесткую солому. Сколько проспал, он сказать бы не мог. Когда он очнулся, чадный фитиль попрежнему коптился над гильзой и в землянке было горько от запаха светильника. Лаврентьич, подперев огромными ладонями виски, по-прежнему сидел за столом. Бутылка водки перед ним опустела. Увидев, что младший политрук открыл глаза, он непонятно усмехнулся, взял скрученную цигарку, набитую самосадом и прижег ее от светильника, отчего язычок пламени вздрогнул и тени заметались по голым стенам.

— Значит, ты из армейской газеты, Паша? А я вот папироску сейчас из вашей газеты покуриваю.

— Что? Не нравится? — зевая, поинтересовался гость.

— Да нет,— протянул Лаврентьич.— Газета что надо, она нам каждый день сводки приносит, а иногда три номера сразу приносят. Если в боях передышка, то как художественную литературу читаешь. И твою фамилию я помню. Интересные ты очерки пишешь. Даст бог, после войны и настоящим писателем станешь. Ты не удивляйся, парень, я ведь до войны много книг перечитал. Удивительного мало, ведь в самом «Савое» поваром работал. Хоть и не главным, но поваром. Только я не всех писателей люблю, даже самых великих.

— Интересно,— приподнялся на лежаке Замойский.— Каких же вы не любите, старшина?

— А многих,— махнул рукой Лаврентьич.— И Пушкина за «Евгения Онегина», и Гончарова за «Обрыв», и Чернышевского за «Что делать?», и Островского за «Грозу».

— Это почему же? — ошеломленно спросил младший политрук, потрясенный непонятной строптивостью фронтового повара.— Ведь это все глыбы какие бессмертные, боги, а не писатели!

— А разве я против,— пробормотал Лаврентьич,— конечно, боги. Только почему у них героинями одни вет-

реные бабы в главных произведениях... Вы мне назовите, товарищ младший политрук, хотя бы одну героиню, которая бы верной до гроба после первой любви оказалась. Татьяна Ларина, что ли? Или Вера Павловна из «Что делать?»? А? Одни измены, да и только.

— Но позвольте,— решительно возразил Замойский,— наши великие классики воспевали свободу любви, раскрепощенность русской женщины.

— А разве нельзя им было свободу любви совмещать с верностью,— упрямо возразил Лаврентьич.— Вот у меня перед самой войной жена к дамскому парикмахеру ушла, а как я ее любил, ни разу слова бранного не сказал, любое желание исполнял, как очумелый бросался, а она предпочла какого-то плюгавенького белобрысого франтика. Не, я с вашей логикой никак не могу согласиться. Извините меня, товарищ младший политрук.

Замойский собирался продолжить спор, но в эту минуту громкий голос посыльного с порога землянки выкрикнул:

— Старшина Прасолов, немедленно к комиссару батальона.

Привычно перекинув автомат через плечо, Лаврентьич поспешил в штаб. Комбата там не было. Комиссар батальона, осунувшийся и посеревший от бессонницы, тревожными глазами разглядывал карту района боевых действий, делал на ней пометки. Выслушав доклад старшины, не по-уставному ответил.

— А-а, Лаврентьич. Очень хорошо, что ты так быстро прибыл. Выспался?

— Не очень,— признался повар,— мы полночи с младшим политруком из армейской газеты спор вели.

— О чем же? — рассеянно спросил комиссар, продолжая разглядывать значки на карте.

— О классиках, о самых наших великих писателях и поэтах. Я несогласие свое посмел высказать.

— Какое же? — не поднимая головы, озадаченно осведомился комиссар.

— Почему они только тех женщин воспевали, которые были неверными в любви и своем супружеском долге, мужей и возлюбленных бросали, одним словом. По-моему, классики не правы.

Думавший о чем-то своем, комиссар неожиданно рассердился:

— Да иди ты к шутам, Лаврентьич. Мы никак не решим, сколько «сорокапяток» на прикрытие второй роты можем выделить, а ты со своей чепухой. Хотя постой,— закончил он более миролюбиво и даже улыбнулся при этом,— спорщик ты, видать, интересный. Вернемся из боя и на эту тему поговорим. Гм... А вызвал я тебя затем, чтобы кухня к девяти утра была подтянута к самой линии наших окопов. Надеюсь, в тот час мы уже в фашистских траншеях будем, и тем, кто штурмовал, ой как котелок с горячей кашей понадобится.

— Слушаюсь, товарищ старший политрук,— гаркнул старшина.

...Целый день над передним краем рвались снаряды и мины, а вперемежку воздух наполнялся гулом танков и самолетов. Пригнувшись к земле, пять раз подряд бросались на врага пехотинцы, но откатывались, оставляя на поле боя безмолвные тела убитых. И все-таки упорство и отвага взяли верх. К вечеру дивизия выбила фашистов из всех трех линий траншей. Усталые солдаты и командиры с лицами, осыпанными копотью пороховых разрывов, пили горячий чай, деловито располагались на ночлег все те, кто имел право сомкнуть в зыбком сне глаза. В блиндаже командира батальона комиссар проводил короткое совещание ротных агитаторов. Какая-то мысль не давала ему покоя, как не дает покоя чувство неисполненного долга. Напрягая память, комиссар спрашивал самого себя: какая. И вдруг вспомнил: Лаврентьич. «Вот ведь чудак! — незлобиво подумал старший политрук.— Разве можно обижаться на всех русских классиков только потому, что тебя когда-то покинула ветреная вертихвостка».

Старший политрук позвал ординарца и приказал:

— Немедленно разыщите старшину Прасолова и приведите его ко мне.

— Прасолова? — удивленно поднял редкие брови ефрейтор.

— Ну что вы смотрите на меня, как на каменное изваяние,— усмехнулся комиссар. — Я ведь, кажется, не оговорился.

Не опуская глаз, ефрейтор напряженно молчал. От этого пристального взгляда как-то не по себе стало комиссару. Он все понял, когда увидел, как зашевелились побелевшие губы.

— Полчаса назад фашистская мина попала в полевую кухню,— раздался тихий голос.— Старшина Прасолов и его помощник убиты.

— Уходи,— шепотом приказал комиссар и, оставшись в одиночестве, горько подумал: «Милый, добрый Лаврентьич! Вот и не довелось мне опровергнуть твою выстраданную логику и реабилитировать наших великих предков. Но у каждого из нас есть память, самое острое и чуткое оружие, и в ней ты будешь у меня жить вечно».

Над отбитыми траншеями звенели пули, с режущим надсадным воем проносились снаряды и мины, сотрясая землю новыми разрывами, сотни бойцов отражали натиск врага, но уже не было среди них доброго покладистого Лаврентьича.

Тепличка

Последний выхлоп мотора, как человеческий вздох. Лодка врезалась острым носом в вязкий берег, распугав целое стадо лягушек. Бурун от винта накатил на песчаную отмель, и желтая стена выгоревших за лето камышей недовольно зашумела.

— Вот и Тепличка,— весело объявил моторист и для чего-то вытер о комбинезон совершенно чистые руки.— Стало быть, вы останетесь, а я часа через два вернусь? — сощурился и уточнил: — Может, через три, Евгения Максимовна, а?

Женщина средних лет, в платье с нежными сиреневыми разводами, чуть припухлым, в меру подкрашенным ртом и синими веселыми глазами, вздохнув, возразила:

— Не получится, Павлик. Огорчительно, но не получится. В семь вечера у меня в кабинете совещание конструкторского бюро. Не может же директор фабрики на него опаздывать. Так что через два причаливай, пожалуйста.

Из лодки под веселый смех полетели на берег четыре дамских туфельки и пара мужских. Их обладатель, подсучив брюки, спрыгнул за борт и ощутил под ногами нежный песок, мягкий от прогретой солнцем воды. Сначала он протянул руку смуглой Иринке, девушке лет

двадцати двух, но она отрицательно покачала коротко остриженной чернявой головкой и, весело вскрикнув, спрыгнула с высокого носа моторки. Широкое лицо ее с трогательными ямочками на щеках и ожившими в радостном возбуждении глазами порозовело:

— Уй, как здорово, Евгения Максимовна! — воскликнула она.

Потом Барсов протянул руку женщине средних лет. Стоя на носу, она прицеливалась глазами на проталинку в камышах, куда намеревалась спрыгнуть. Прицеливалась и томилась в нерешительности. Барсов подошел к ней и сделал движение, убеждающее, что он решился понести ее к берегу на руках. В синих, чуть выпуклых глазах женщины плеснулся восторг:

— Сумасшедший! Во мне же семьдесят пять килограммов.

— Ничего, ничего,— пробормотал Барсов и понес ее к проталинке.

— Ой, как здорово, Сергей! — тихо воскликнула женщина, с неохотой отнимая от его шеи теплые руки.

Когда-то Барсов был довольно сильным человеком и даже увлекался штангой, но теперь, чуть ссутулившийся и похудевший, уже ничем не напоминал тяжелоатлета. Моторист протянул ему сумку с продуктами и стал отталкиваться веслом от берега. Моторка затарахтела и умчалась. От яркого солнца река казалась темной и синей. Широкая, быстро струящаяся, воспетая многими поколениями, она мчалась величественно к морю, и камыши почтительно жались к берегам, уступая ей дорогу. Высадившиеся на берег шли по узкой тропинке к большой белой колонне, такой неожиданной в этой степной глуши, куда от ближайшей древней станицы, где в свое время побывали и Степан Разин и Кондратий Булавин, было несколько километров.

— Это что? — спросил с удивлением Барсов.— Стела какая-то?

— Стела,— подтвердила Евгения Максимовна,— самая настоящая стела, товарищ академик. Надо почаще приезжать на родину, тогда и не придется удивляться.

— Это Тепличка,— пояснила Ирочка, шагавшая впереди.— Здесь перед самой войной были построены теплицы, а потом в них прятались подпольщики. Фашисты здесь расстреляли более пятидесяти человек.

Они остановились у стелы, и Барсов увидел вырубленные в сером граните крупные цифры: 1921 и 1945.

— В гражданскую здесь тоже много полегло, Сергей,— вздохнула Евгения Максимовна.

Поблизости от стелы, такой неожиданной в этой степи, будто впечатанные в синеватый неподвижный воздух, стояли древние караичи. Над ветлами обеспокоенно кружилось воронье, растревоженное неожиданными пришельцами.

— Евгения Максимовна! — закричала вдруг девушка.— Смотрите, какой маленький сорванец с ветки упал! — и бросилась к толстому корню. С теплой улыбкой посмотрев ей вслед, Барсов сказал:

— Она у тебя совсем еще девочка, Женя.

— Ну да,— возразила женщина,— ты бы посмотрел, как эта девочка выставляет из моей приемной неугодных посетителей. Ее даже Екатериной Медичи прозвали.

Ирочка прибежала к ним с птенцом в руках. Он зло стучал в ее ладонь почти бессильным клювом и отчаянно звал на помощь. И вдруг всем им сразу почудилось, будто потемнело небо. Черные тени стали резать прокаленный августовским теплом воздух, рассекая его над их головами, крылья хлопали возле их лиц.

— Ирочка! — воскликнула Евгения Максимовна.— Да оставь ты его, посмотри, какую тучу на нас выпустила.

Девушка послушно отнесла птенца к дереву и положила на траву. Черные птицы тотчас стали садиться с ним рядом, создавая плотное кольцо.

— Вот она, борьба за существование,— тихо проговорила женщина,— вот какая она.

— Скорее, фронтовая выручка,— рассмеялся Барсов.— Ты только погляди, как они здорово круговую оборону заняли!

— Ох, Сергей Петрович, Сергей Петрович, оказывается, в тебе заговорил суровый полковник военных лет.

— Откуда же? В сорок пятом я был всего-навсего майором.

— Боже мой,— сказала она печально,— неужели так быстро прошло четверть века!

Потом Ирочка отправилась собирать цветы, а они пошли к распадку, на дне которого гремел поток, сели рядом и долго вспоминали первый курс института и 22 ию-

ня, и длинный эшелон красных товарных вагонов, и налет «юнкерсов» на город, помешавший этому эшелону отправиться вовремя, и, конечно же, долгий прощальный поцелуй.

— Можно я положу голову тебе на плечо? — тихо спросила Евгения Максимовна.— После сорок пятого я очень тебя ждала. Год, другой, третий. А потом решила: раз не приехал, значит, погиб. И вот встреча через четверть века. У тебя седые виски, да и мне приходится посещать парикмахерские салоны чаще, чем хотелось бы. У меня добрый покладистый муж, дочь уже невеста, на фабрике пять тысяч человек под началом, словом, все как в том пошленьком анекдоте: путем, путем. И вот ты,— взорвавший мои воспоминания!

— Слава богу, что не похоронивший их,— усмехнулся Барсов. Он чувствовал рядом с собой взволнованное дыхание, и щека женщины, прижавшаяся к его щеке, была мокрой. Теплые губы нашли его рот для того, чтобы стыдливо поцеловать и ускользнуть от ответного поцелуя.

— А как ты дрался с мальчишками, пристававшими ко мне? Честное слово, я даже думала, что из тебя получится чемпион по боксу, вроде нашего Королева. Только ты дальше пошел. Академик! Даже фамилию твою теперь шепотом произносят. А сколько заводов на твои открытия работают. Даже моя фабрика в том числе. Опасная у тебя профессия, Сережа. Береги себя!

— Ничего,— вяло ответил Барсов,— бог не выдаст, свинья не съест.

Уже сухими глазами всматривалась она в узкое с правильными тонкими чертами лицо своего бывшего одноклассника, ставшего теперь мировой знаменитостью, искала в серых, насмешливо прищуренных глазах тот знакомый свет, которым они были наполнены двадцать пять лет назад. Искала и не могла найти.

— Спасибо тебе за эти два часа, что мне подарил. Уедешь, и снова останется жизнь такая, как есть. Другой не будет.

— Так же, как и у меня, Женя,— вздохнул Барсов.

— Но ведь и в этой жизни бывают взрывы.

Он недоуменно пожал плечами:

— Что с тобой, Женя?

И тогда она сказала до крайности скучным и тихим голосом:

— Прости, Сережа. У меня тяжелая болезнь. Не буду распространяться, жизнь есть жизнь, и все мы изнашиваемся. На двадцать пятое сентября в Москве назначена операция. Дай мне слово, Сережа, что будешь помнить обо мне весь этот день.

У него на узком продолговатом лице дрогнули тонкие линии:

— Успокойся, Женька, все будет о'кэй, как теперь принято восклицать в салонных беседах. Двадцать пятого сентября буду думать лишь о тебе, вычеркну из памяти все свои КВ и лаборатории, а двадцать шестого появлюсь перед тобой с великанским букетом цветов. А потом мы спляшем шейк на каком-нибудь семидесятилетии. Идет?

Барсов вдруг осекся от горькой мысли, что этого шейка он уже не спляшет, потому что семидесятилетия у него никогда не будет. Вспомнилась лаборатория, плавка и загадочный опаляющий свет, прервавший испытание. Всплеск этого света был так ярок и горек, что неделю спустя даже самый его близкий друг, главный терапевт Костро, старательно протирая стекла очков, изрек:

— Что я тебе скажу, Платоныч. Жизнь такова, что в ней надо ко всему быть готовым. Не стану повторять банальных слов о том, что воля человеческая побеждает любое испытание. Они не всегда доказательны. Скажу одно — поскорее осуществи главные свои задумки, иначе времени не выкроишь. Лишних суток судьба тебе не выдаст.

От этой болезни было много советов и лекарств, и не было ничего, что могло бы от нее спасти. И когда повторялись приступы, Барсов мысленно отсчитывал секунды, ожидая, последние они или нет. И уже много раз он «вытягивал» и, раскрыв глаза, видел мир во всех красках, среди которых даже самые пепельно-серые и черные казались прекрасными. Но с каждым новым приступом болезни он все яснее и яснее ощущал, что скоро придет такой, при котором все краски померкнут. Но разве он мог признаться этой бесхитростной ласковой женщине, навсегда для него оставшейся девчонкой с косичками, какой провожала она его на войну. И, поборов себя, Барсов повторил:

— Успокойся, Женька, шейк мы обязательно спляшем.

— Спляшем, Сережка,— весело ответила она.

— ...Эй, люди! — закричала в ту минуту появившаяся из-за куста Иринка.— Смотрите, какие я вам лавровые венки сплела... и Евгении Максимовне придется торжественно один из них сейчас повесить. И вам, Сергей.

— Надо повиноваться,— засмеялась Евгения Максимовна,— давайте станем на один час патрициями.

* * *

Глубокой осенью двадцать пятого октября хмурое московское солнце с трудом пробивалось сквозь низкие свинцовые тучи. Даже Останкинская телевизионная башня была наполовину срезана ими.

В небольшой палате одной из столичных клиник бледную, похудевшую Евгению Максимовну готовили к тяжелой операции, и хирург в хрустящем белом колпаке, потирая, словно со стужи, большие обветренные руки, одобряюще говорил:

— Вы на меня получше посмотрите, Евгения Максимовна. Лапищи — что надо. В них скальпель никогда не дрогнет. Однако этим лапищам ведь и помощь нужна. А какая, сами знаете. Не буду турусы на колесах подводить и психологические тексты осуществлять всяческие. Одно скажу: успех любой операции не только от одного хирурга зависит.

— От хирурга и от оперируемого? — слабо спросила Евгения Максимовна.

— Умница,— захлопал он в ладоши.— Теперь я удаляюсь, а вы постарайтесь отвлечься от наших предстоящих забот и несколько расслабиться. Одним словом, призовите на помощь всю женскую мудрость и беззаботность. Для этого я вам даже сегодняшнюю газету принесу.

Когда он вышел из палаты, Евгения Максимовна, заботливо переложенная сестрами на тележку, развернула свежий хрустящий номер, равнодушно скользнула глазами по надоевшим заголовкам: «Положение в Бейруте», «Израильские ястребы ищут поживы», «Фантомы от американцев». Потом она развернула газету на сгибе и вздрогнула. На второй странице был напечатан большой некролог. Но не черные буквы в жирной рамке, а маленький прямоугольник портрета привлек ее внимание. Стискивая дыхание, Евгения Максимовна прочитала бьющие по глазам строки: «Академия наук СССР с при-

скорбием сообщает о смерти выдающегося исследователя атомной энергии лауреата Ленинской и Государственных премий, действительного члена Академии наук СССР профессора Барсова Сергея Петровича».

Евгения Максимовна почувствовала, как огромная соленая волна захлестывает ее от висков и до щиколоток, так что трудно становится дышать, и оцепенелая мысль не знает, на чем сосредоточиться. «Вот и все,— горько подумала она.— И для чего теперь вся эта длинная история с операцией!»

Однако она не сказала этого вслух. Появились медсестры и покатили тележку в операционную.

Гость

Миловидная девушка в коротком по-летнему платье с сиреневыми разводами пристально смотрит на сидящего напротив парня, и тот под этим взглядом смущенно опускает глаза, растерянно останавливает их на своих широких красных ладонях, неспокойно лежащих на коленях. Парень облачен в светлый кримпленовый костюм, из числа тех, что уже вышли из моды. Несмотря на жару, пиджак его застегнут на все три пуговицы, узел галстука давит шею. Синие глаза не рискуют подняться на собеседницу. У парня такая высокая густая шевелюра, что оранжевая бабочка, по ошибке залетевшая в распахнутое окно, мгновенно запуталась в ней и только с помощью толстых крепких пальцев была выпущена на свободу. Оба: и девушка, и парень улыбнулись, тронутые этим происшествием.

— Пожалеем уж на этот раз божью тварь, Ольга Алексеевна,— нескладно говорит парень,— хотя лично я отрицательно отношусь к бабочкам. Пользы от них меньше, чем вреда.

— Да какая я вам Ольга Алексеевна,— задиристо перебивает девушка.— Лелей просто зовите.

— Нет, не могу.— Густая шевелюра, словно от ветра, шевелится на голове у парня, на его могучих плечах хорошо сшитый костюм плотно натягивается.— Как-то непривычно, ведь первая встреча. А тогда я вас и разглядеть-то не успел как следует. Зачем же так фамильярни-

чать.— Загорелые коленки девушки плотно сжимаются под натянувшимся подолом, будто дразня его. И она осуждающе говорит:

— Ну, как не стыдно, Георгий Сергеевич... ведь я вам на всю жизнь теперь обязана.

Между ними низенький журнальный столик. На нем нераспечатанная бутылка вина, хрустальная ваза с апельсинами, фисташками и яблоками. Вконец смутившийся парень решительно ее прерывает.

— Не надо об этом, Ольга Алексеевна... очень прошу, не надо.

Развить свою мысль он не успевает. Решительный звонок прерывает их беседу. Девушка вскакивает и легкой изящной походкой спешит к двери. В комнату врывается ее подруга, голубоглазая, ярко раскрашенная, с прической-башней, над которой старательно поработали парикмахеры.

— Лелька! — восклицает она с порога.— Милая, дорогая Лелька, я только на минуточку. Я так давно тебя не видела... да у тебя гость. Что вы тут делаете? Кейфуете? А почему бутылка до сих пор не тронута? Познакомь меня со своим гостем.

— Моя подруга Элла,— не очень охотно представляет ее хозяйка дома и, словно извиняясь, опускает глаза.

— Простите,— бесцеремонно восклицает вошедшая,— моя Лелька — это старомодный тихоход. Если вы будете с ней держаться как на чопорном дипломатическом приеме, вы и десяти душевных слов друг другу не скажете за целую неделю. А путь к другому сердцу всегда предусматривает быстроту и смелость.

— Что-то не замечал до сих пор,— уклончиво замечает парень, а сконфуженная хозяйка дома пытается урезонить подругу.

— Элла, перестань, как тебе не стыдно.

Не обращая на нее внимания, продолжает гостья:

— Будьте настоящим мужчиной, я заведу сейчас музыку, и мы потвистуем. Идет?

— Я не твистую, девушка,— сконфуженно отвечает гость.

— Вот как! Значит, вино вы отвергаете, твист тоже. Полагаю, что вы придетесь моей застенчивой подружке по душе, она же у меня законченный синий чулок.

Синие бесхитростные глаза парня поднимаются на хозяйку дома, и открытая добрая улыбка преображает его лицо.

— Вот чего бы уж я не сказал, так не сказал.

— Простите, а что у вас за профессия! — выпаливает Элла.

Гость, вздыхая, опускает голову.

— Ничего романтичного, работаю на номерном заводе слесарем.

— И что же вы производите, если не секрет?

— Ничего особенного, мастерим машины по уничтожению квартирных насекомых. Знаете, включишь такую машину в электросеть, оттуда вырвется голубой конусообразный столб особого воздуха, вот он и втягивает всяких букашек, таракашек, клопов.

— Фи,— разочарованно тянет Элла, и прическа-башня презрительно вздрагивает над ее головой,— а я-то думала, услышу что-то романтическое.

Парень встает во весь рост, и только теперь взбалмошная Элла убеждается в том, какой он красивый, сильный и спокойный.

— Простите,— обращается он к одной хозяйке,— мне пора. Разрешите позвонить вам на неделе, Ольга Алексеевна.

— Зачем вы об этом спрашиваете, Георгий,— улыбается девушка.

Гость уходит, а Элла бросается к подруге и не дает ей даже раскрыть рта.

— Лелька, а ты нашу вчерашнюю «Вечерку» читала. Нет? Тогда я тебе скажу. Там о тебе обалденный репортаж. О том, как ты купалась на реке и попала в сильное течение. Тебя понесло к порогу, и когда гибель казалась неминуемой, с высокого берега в воду бросился парень и вытащил тебя на берег. Вот только фамилию его забыла. Была и в институте, и у Соколовых, и у Старцевых,— везде о тебе говорят. Гордись, городской знаменитостью стала. Все утверждают, что спас тебя красавец атлетического сложения. Не в пример этому, лишенному романтики нудному слесарю. Познакомь меня со своим спасителем...

— Элла,— весело говорит хозяйка,— он только что вышел из комнаты!

Тарантул Борька

Маленький Борька был мохнат, как все тарантулы на земном шаре. Вместе с доброй своей тучной мамашей жил он в норе, вырытой еще их трудолюбивыми предками в нескольких метрах от директорского корпуса. Он страшно гордился тем, что существует на знаменитой коктебельской земле, где от ранней весны и до самой ненастной осени отдыхают писатели, поэты и критики. Старая паучиха не уставала его поучать:

— Больше всего бойся людей, сынок, потому что каждый из них, даже самый добрый, может тебя нечаянно растоптать. Но и береги их, никогда не пускай без нужды в действие своего яда.

— Мама, а я хочу с ними познакомиться,— упрямо твердил Борька.

— Запрещаю, — серчала в этих случаях мать, — ты тарантул и должен жить, как и все тарантулы: в жару прятаться в прохладной норе, а вечером выходить на прогулку и добывать себе пропитание.

Однако строптивый Борька не послушался и однажды под вечер, когда обитатели Коктебеля уходили на ужин, на своих тонких паучьих ногах дополз до ближайшего коттеджа, поднялся по ступенькам и, преодолев порог, очутился в прохладной комнате, где обитал литературный критик Переметнов. Его супруга и дочь ушли в столовую, а хозяин жилища принимал своего соседа и друга прозаика Сюжетова, застенчивого неразговорчивого блондина средних лет. На столе стояла живописная ваза с персиками и грушами, наполненные рюмки с коньяком «коктебель» и минеральная вода. Поправляя на переносье очки в тяжелой оправе, Переметов говорил без остановки. На его толстых лоснящихся губах вскипала слюна, рыхлый, облезлый от загара нос вздрагивал.

— Друг мой! — восклицал он, искрясь от счастья.— Давно никто не доставлял мне такого эстетического наслаждения. Ваш роман «Одержимый» — просто чудо. Сколько динамики, сколько лирики. А как тонко показано совершенствование героя, его духовный рост, переживания чистой влюбленной души. А что за прелесть героиня. А величественная картина пуска большой си-

бирской гидростанции. Дайте мне вас обнять, голубчик, прежде чем поднять эту рюмку за ваш талант.

Притаившись за коричневой раковиной, куда критик сбрасывал пепел со своей дымящей сигареты, тарантул Борька слушал их беседу как зачарованный.

Вернувшись в нору, он, полный от счастья, сказал своей родительнице:

— Мама, если бы ты знала, какой это необыкновенный человек критик Переметнов. Что за глубина мысли, что за откровенность и искренность. Мама, я завтра опять пойду к ним.

— Иди, иди,— улыбнулась старая паучиха,— только будь осторожен и никогда не пускай в действие своего яда.

— Что ты, мама! — рассмеялся тарантул Борька.— Да разве против таких людей можно!

На другой день в тот же самый час он снова очутился в прохладной комнате критика. На столе стояла прежняя ваза с фруктами, боржом и рюмки с коньяком, только на том стуле, на котором сидел накануне прозаик Сюжетов, возвышалась огромная фигура другого прозаика — Семена Проломова. Бритый могучий затылок, торс борца и жилистые руки просто очаровали Борьку, притаившегося за той же самой раковиной. Сквозь лениво опущенные веки, Проломов рассеянно взирал на хозяина, а тот, заглядывая ему в глаза, частил:

— Какая радость, Семен Петрович, что вы нанесли мне визит. Я обожаю вас, как мастера нашей современной прозы. И ваш роман «Канитель» — это памятник нашей литературной эпохе. Какая глубина мысли, какая сила образов. К сожалению, подобные удачи у нашего брата весьма редки. Вот много, например, пишет Сюжетов. Но его последняя книга «Одержимость» — это такая убогость, такая примитивность и серость...

«Постой, постой,— зашевелился под раковиной от удивления тарантул Борька,— ведь он только вчера хвалил Сюжетова. Как же так?»

А критик тем временем продолжал:

— Я человек прямой и честно вам говорю, что такой бездарности еще не встречал. Сюжетов — подлинный графоман.

«Да как он смеет! — возмутился Борька.— Вчера хвалить, а сегодня уничтожать. Где же правда!»

— Правда — это великая вещь,— продолжал тем временем Переметов.— Горько, но я должен сказать вам, уважаемый Семен Петрович, что мой сосед Сюжетов бездарен, как пробка, а книги его зеленая тоска.

На нижней губе критика вскипела злая слюна, словно девятый вал на бессмертном полотне Айвазовского.

«Ну, нет, больше не могу!» — пискнул разгневанный тарантул Борька в это мгновение.

Он выбежал из своего укрытия, прыгнул Переметову на рукав, стремительно промчался по плечу, шее и гладко выбритому подбородку, а потом изо всей силы укусил критика за язык.

В кипении жизни

В знойном июле 1966 года я прилетел в Ташкент, этот огромный город, совсем недавно переживший землетрясение. Прямо с аэродрома, вместе с писателем Евгением Поповкиным, мы отправились на заседание республиканского партийного актива. После прохладной московской ночи, столица Узбекистана дохнула ровной устойчивой жарой. Проезжая по улицам, мы с горечью видели, как изменился облик города. На каждом шагу попадались дома с лопнувшими стенами и выбитыми оконными стеклами, рухнувшими перекрытиями и крышами, груды камней и обломки мебели. Остро и больно напоминал Ташкент фронтовой город. Да он и на самом деле был таким, потому что в это утро, когда по местному времени не было еще и девяти часов, уже оказались зарегистрированными три подземных толчка, один из которых равнялся трем баллам. Однако толчки продолжались, а над городом висела густая серая дымка, вовсе не связанная с землетрясением. Это была благородная трудовая пыль над строительными площадками. Стихия еще окончательно не отступила, а новый Ташкент уже строился.

К назначенному часу мы успели в зал заседаний, уже заполненный приглашенными на партийный актив. Большинство участников этого совещания прибыли сюда прямо с бетонных заводов, строительных объектов, про-

ектных бюро. Время не всем из них позволило привести себя в идеальный порядок, и на пиджаках коммунистов можно было увидеть следы пыли, но это тогда никого не могло удивить.

На трибуну поднялся человек с доброжелательными спокойными чертами лица и внимательным, несколько усталым взглядом. В течение часа он с увлечением говорил уже не о драме, а о подвиге, который совершается на улицах и площадях Ташкента, о замечательном узбекском народном обычае «хашар», когда в трудные дни братья и друзья приходят на помощь оказавшимся в беде, о сердечной отзывчивости русских, украинцев, белорусов, казахов, таджиков, сынов и дочерей других советских народов, которые по первому призыву приехали строить новый Ташкент.

Так я впервые встретился с Шарафом Рашидовичем Рашидовым, Героем Социалистического Труда, государственным деятелем, одним из крупных советских писателей. В одной из первых бесед я спросил у Шарафа Рашидовича:

— А вашему творчеству не мешает напряженная государственная работа?

— Не замечал,— ответил он с мягкой улыбкой, но тут же серьезно продолжил:— Конечно, с одной стороны, выкраивать время для собственного творчества порой бывает очень сложно, но с другой, какая огромная и яркая жизнь проходит перед глазами и как хочется о ней писать.

Пристальное внимание к современности, к той жизни, которая нас окружает, умение писать о ней глубоко и остро — вот главная черта писательского таланта Шарафа Рашидова. Она красной нитью пронизывает лучшие его произведения, такие, как романы «Победители», «Сильнее бури», «Могучая волна», полюбившиеся многомиллионному читателю нашей страны.

Несколько лет назад в журнале «Москва» впервые появился роман Ш. Рашидова «Могучая волна», выдержавший много изданий, завоевавший заслуженный успех.

В чем сила и убедительность этой книги?

Мужество советского солдата, отважно сражавшегося за свое социалистическое Отечество на войне, надо всегда рассматривать, как итог его патриотического воспитания. Прежде чем попасть на фронт, он проходил в

тылу через многие испытания, порожденные войной, закалялся в преодолении трудностей. Вот почему в нашей литературе особое место занимают произведения, посвященные тылу и тем самоотверженным труженикам его, которые вместе с фронтовиками ковали победу.

В годы Великой Отечественной войны тыл и фронт были у нас едины. Именно такое единство помогло одержать победу над столь сильным противником, как фашистская Германия. Не сразу можно ответить на вопрос, что было порою труднее: идти в атаку, штурмовать с воздуха механизированные колонны врага или в холоде и голоде, стоя по колено в воде, возводить цеха эвакуированных заводов, заниматься укладкой бетона, варить сталь.

Такое единство тыла и фронта прекрасно показал в своем романе «Могучая волна» Шараф Рашидов. Его герой, вчерашний десятиклассник юноша Пулат, пылкий, впечатлительный и неподкупно-прямой в своем восприятии действительности,— это образ, в котором воплощены лучшие черты советской молодежи военного времени.

Пулат чист и светел в своем первом искреннем чувстве, к чудесной девушке Бахор, беспощаден и тверд в борьбе с таким общественно опасным человеком, как работник райкома партии Турахапов, который ратует за честность и принципиальность в демагогических речах, а на самом деле является носителем самых опасных для общества пережитков феодально-байского быта.

С одной стороны лицемерные речи на заседаниях бюро и собраниях, а с другой — забитая жена Зеби, которая не в силах перенести непрерывные издевательства, едва не кончает жизнь самоубийством.

Пулат гордится своим отцом, находящимся на фронте, у самого сердца носит его письма. Юноша сам рвется в бой, но внезапно врачи обнаруживают у него начальную форму туберкулеза. И в этом нелегком положении юноша находит в себе мужество для того, чтобы пойти на самый трудный участок новостройки, и там показывает образцовое отношение к труду.

Ярко выписан автором образ комсомольского вожака, уже побывавшего на линии огня, Анвара. Остается в памяти читателей и образ бригадира бетонщиков наставника Пулата Рустама, человека откровенной широкой души.

В романе Шарафа Рашидова убедительно показаны трудности строителей, их непреклонное упорство в тех случаях, когда всему наперекор надо выполнять план. Писатель старательно поработал над пейзажами, оживляющими повествование. Как правило, они не изолированы от сюжета, а выражают или настроение героев, или реальную обстановку, в которой те действуют. Нам близок и понятен главный герой «Могучей волны» Пулат, когда он мысленно восклицает:

«— Родина! Ты сделала меня сильным, знающим, богатым.

Пришла пора щедрой траты накопленных сил, я готов отдать их тебе, все отдам и стану еще богаче!»

Рашидов сумел вложить в характер своего героя огромный заряд человеколюбия. Вот его размышления о своем товарище комсомольском вожаке Анваре, пришедшем после ранения на стройку: «Ты прост и скромен, в своем рассказе ты ни словом не обмолвился о себе, хотя откуда бы тебе знать все, о чем ты рассказывал, если бы там сам не сражался в рядах защитников непокоренной высоты? Ведь в том памятном бою тебя и ранило... Но все, что ты сам делаешь, ты не считаешь подвигом и не ждешь ни похвал, ни наград».

Очень ярко через весь роман проведена линия связи двух поколений. Письма отца с фронта сыну Пулату нельзя читать без волнения. Они образны, согреты той подлинной скупой правдой, без которой нельзя писать о поведении советского человека на войне. И когда юноша Пулат мужественно переживает потерю отца, мы верим, что он не будет сломлен этим тяжелейшим горем. Так и завершается его судьба. Победив болезнь, он отправляется на фронт, чтобы встать в боевые ряды вместо погибшего отца.

«Могучая волна» — это по-настоящему народный роман, получивший широкую признательность.

Книги, принадлежащие перу Шарафа Рашидовича Рашидова согреты той подлинной большой правдой и выразительностью, которые по плечу настоящему талантливому взыскательному художнику. Они — достойный вклад в нашу современную отечественную литературу. Их эстетическая и воспитательная сила исключительно велика. В этом их ценность и притягательность.

Свое шестидесятилетие кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС Герой Социалистического Труда первый секретарь Центрального комитета коммунистической партии Узбекистана писатель Шараф Рашидович Рашидов встречает полным сил и энергии, и хочется от всего сердца пожелать ему новых творческих взлетов.

Слово о друге

Если бы неотвратимая болезнь не оборвала яркую жизнь талантливого советского писателя, автора замечательных художественных произведений романов «Семья Рубанюк», «Большой разлив» и других, лауреата Государственной премии Евгения Ефимовича Поповкина, ему бы исполнилось сейчас семьдесят лет. Почти десять из них Е. Е. Поповкин отдал работе на посту главного редактора журнала «Москва». Совсем недавно вышел первый том собрания его сочинений, и это символично тем, что хорошие книги хороших писателей неувядаемы и после их смерти.

У каждой книги своя собственная судьба. Пока она создается в тиши кабинета, она принадлежит только лишь своему творцу — автору. Но как только первые экземпляры издания появляются в магазинах и на полках библиотек, начинается ее раздельное существование с писателем. Бывает иногда, что книга захлебывается, как неудачная песня, спетая фальшивым голосом, а бывает, что она живет в сердцах и умах многочисленных читателей долгие годы, переживая при этом своего творца. Убедительным подтверждением сказанному является прекрасный роман Евгения Поповкина «Семья Рубанюк», выдержавший многие издания в нашей стране и за ее рубежами. Это эпическое произведение, написанное по горячим следам Великой Отечественной войны, не случайно завоевало широкий интерес наших читательских кругов.

Талантливое перо писателя броскими красками представило нам жизнь одной из самых обычных советских семей. Автор правдиво изобразил своих многочисленных героев со всеми их страстями и переживаниями, слож-

ностями и трудностями бытия. И человеку, прочитавшему повествование о судьбах этих людей, становится ясно почему нельзя было ни одному лютому врагу победить государство, состоящее из подобных семей. Герои романа, наделенные запоминающимися индивидуальными чертами, стали для читателя символами мужества и непреклонности в борьбе за родную землю, величайшей доброты и отзывчивости в отношениях со своими соотечественниками, любви к Советской Родине. В этой книге много действующих лиц, но, как подлинный художник, Евгений Поповкин сумел наделить их своими запоминающимися характерами и чертами.

Роман «Семья Рубанюк» стал, в хорошем смысле этих слов, хрестоматийным народным романом, нашедшим дорогу к миллионам сердец. А что такое народный роман? На мой взгляд, это роман, который настолько полюбился иному читателю, что тот содержание книги хранит в своей памяти гораздо дольше, чем фамилию автора.

Лет десять с лишним назад щедрой золотой осенью довелось мне побывать на Дону. Возвращаясь с озера, мы остановились у крепко сбитого домика, обнесенного голубым частоколом, и попросили напиться. Плотный седеющий казак с густыми пшеничными усами, хозяин жилья, вынес ведерко ледяной колодезной воды. За голубым частоколом гнулись деревья под тяжестью ярких спелых яблок.

— Что? Любуетесь? — дружелюбно осведомился хозяин.— Да, хороши. Удались в этом году, ничего не скажешь.

Я попросил его продать немного яблок для тяжело больного писателя, своего друга. Казак подумал и спросил:

— А как фамилия этого писателя?

Услыхав ответ, покачал седеющей головой.

— Нет, не припоминаю. А какие он написал книги, не скажете?

— «Семья Рубанюк»,— ответил я.

Собеседник вдруг оживился и воскликнул:

— Как же! Прекрасно знаю. Эту большую книгу я дважды перечитывал. И хотя это было несколько лет назад, я ее героев, как живых, помню. Одно слово — добрая книга!

Есть своя особая закономерность в том, что добрые люди создают добрые книги.

Евгений Поповкин был очень добрым человеком, умевшим, пытливо всматриваясь в жизнь, замечать в ней прежде всего светлое, сильное, доброе. Поднимая в своих произведениях пласты этой жизни, он создавал надолго запоминающиеся образы простых людей — строителей нашей новой советской деревни, комсомольцев двадцатых годов, участников Великой Отечественной войны.

Когда Евгений Ефимович был уже неотвратимо болен, во время одного из посещений застал я его за раскрытой тетрадью. Лежа на больничной койке, он неторопливо перечитывал только что законченную страницу. Оторвав от нее печальные глаза, грустно сказал:

— Если бы ты знал, как сейчас хочется писать! До чего же отчетливо, словно вчера это было, вспоминается комсомольская юность, работа в ЧОНе, преследования белобандитских шаек. Иной раз при воспоминании или слезу смахиваешь, а то и улыбку долго не может погасить. Какой чистой и романтической была эта юность у всех моих ровесников!

Так родился один из его самых лучших рассказов «Графская кухарка», где каждая художественная деталь и каждое слово были отточены до совершенства. Евгений Ефимович дописывал последние строки рассказа незадолго до своей кончины, испытывая мучительные приступы боли. Только человек с поистине сильным характером, закаленный фронтовыми испытаниями, наделенный большой любовью к людям, мог в это время с такой подкупающей теплотой и доброй внутренней улыбкой вспоминать тревожную молодость своих ровесников — первых наших комсомольцев.

Очень несложен сюжет этого замечательного рассказа. Молодой паренек, комсомолец, в котором угадывается сам автор, прибывает в село заменить убитого кулаками секретаря комсомольской ячейки. Сложной оказывается обстановка в селе Богодаровка. Председатель сельрады здоровяк Самойленко на самом деле оказывается матерым бандитом, главарем крупной контрреволюционной банды. В селе нет партийной организации, и на молодого секретаря комсомольской ячейки мгновенно сваливаются важные дела. Он ведет большую аги-

тационную работу, разъясняя темным крестьянам смысл новой жизни, с неиссякаемой юношеской энергией берется за строительство нового клуба. Определенный на постой к бывшей графской кухарке Софье Емельяновне, попросту именуемой в селе бабой Соней, он быстро проникается к ней уважением, ощущая на себе доброту и заботливость этой пожилой, многое повидавшей на своем веку женщины.

Герой рассказа принимает участие в ответственной чоновской операции по захвату главаря банды Самойленко и его подручных. В трудную минуту бывшая графская кухарка баба Соня помогает начальнику ЧОНа уехать из села безопасной дорогой и гибнет, настигнутая бандитами.

Только настоящий зрелый мастер мог с таким лаконизмом, яркостью и глубиной вылепить образы своих героев, придать им столько юмора и колорита.

Когда-то Евгений Поповкин рассказывал о том, как ему хочется создать цикл произведений о собственной боевой юности, активной работе в комсомоле, органах ЧОНа. Очень прискорбно, что из задуманного цикла писателю удалось написать только один рассказ. Но и он является подлинным вкладом в нашу большую советскую литературу.

Евгений Ефимович был не только талантливым писателем, но и очень тонким, внимательным и требовательным редактором. Он весьма точно и взыскательно судил о любом только что появившемся или принесенном на его суд произведении, безошибочно угадывал любую фальшивую ноту, искренне радовался каждой творческой победе. Обаятельный рассказчик, Поповкин часто делился с нами воспоминаниями о творческой работе больших наших художников слова, с которыми был в самых дружеских отношениях. Имена Павленко, Сергеева-Ценского фигурировали почти в каждой нашей беседе. С чего бы ни начинался разговор, но либо в самом начале, либо в середине Поповкин обращался к теме литературного мастерства, творческой лаборатории писателя. Евгений Ефимович умел как-то незаметно и очень тактично приблизиться к творчеству любого своего собеседника, мягко, но довольно определенно высказаться о его менее удачных страницах или образах, если, по его мнению, в этом была необходимость. Надо сказать, что о том,

что не получилось, он говорил более подробно, чем об удачах. Однажды я спросил: «Зачем?» Поповкин улыбнулся и твердо сказал:

— Видишь ли, автор почти всегда прекрасно знает свои удачи, а вот слабости не всегда отмечает с такой точностью.

Однажды разговор зашел о творчестве ныне известного, а тогда только начинавшего писателя, принесшего в журнал свою новую повесть. Е. Е. Поповкин очень долго говорил об одной или двух неудавшихся сценах, о небольшой реплике, снизившей, по его мнению, художественный уровень всего произведения. Автор покинул его кабинет явно расстроенным, а при следующей встрече спросил:

— Евгений Ефимович, вы обрушились всего лишь на три мои страницы, но что вы скажете о повести в целом?

— В целом? — весело прищурился Поповкин.— А разве я не сказал? Отличная вещь, она, несомненно, украсит номер нашего журнала,— и рассмеялся.

Таким он был всегда: и добрым, и строгим, умеющим поддержать чужой успех и предостеречь любого литератора от ошибок. Он остался в наших сердцах и воспоминаниях, как верный и добрый товарищ, а яркие талантливые его книги обрели себе долгую жизнь в читательском мире.

Высота

Как-то одного довольно смекалистого десятиклассника попросили назвать наиболее полюбившуюся ему книгу о Великой Отечественной войне. Парнишка, не задумываясь, весьма бойко перечислил с десяток, если не больше широко известных советским читателям повестей и романов. Но когда ему напомнили, что надо назвать лишь одну книгу, он отрицательно покачал головой:

— Одну не могу.— И, не желая, очевидно, разочаровать спрашивавшего, прибавил: — А вот о гражданской войне, если хотите, могу. Это «Тихий Дон» Михаила Шолохова.

Думается, десятиклассник был прав. У нас много хороших, по-настоящему талантливых произведений о Ве-

ликой Отечественной войне, но среди них пока что еще нет такого, которое по широте и глубине охвата событий приблизилось бы к великой эпопее, какой вошел в умы и сердца читателей «Тихий Дон». Его автор нарисовал немеркнущие картины пламенных лет гражданской войны, раскрыл героические и драматические судьбы своих персонажей. Сила Шолохова в его неповторимости. Шолохову трудно подражать, и неоднократные попытки иных беллетристов становиться на такой путь всегда оборачивались для них неудачей. Шолохова можно любить и ценить, постоянно вдумываясь в неповторимое совершенство его письма, в гениальную лепку его характеров.

Помню трудные тридцать второй — тридцать третий годы. Мы, новочеркасские мальчишки, обучавшиеся в пятой образцовой железнодорожной школе, получали тогда по карточкам ломоть белого кукурузного хлеба весом в триста не то в четыреста граммов, так похожего на прекрасный голландский сыр, о котором в ту пору можно было только мечтать. Сердобольные мамаши успевали перед уходом в школу положить в портфель завернутый в бумагу кусочек пайки. И на большой перемене, жуя этот крошившийся кукурузный хлеб, казавшийся таким восхитительно сладким, мы наперебой обсуждали прочитанные страницы «Тихого Дона». И пусть не все нам было понятно в сложном мире взрослых человеческих отношений, все равно мы близко к сердцу принимали судьбы героев: волновались за Аксинью и Григория, со слезами на глазах читали сцены, посвященные драматическим событиям гражданской войны. А потом нашими кумирами надолго стали Давыдов и Нагульнов, а постоянным аккумулятором бодрости — искрометный жизнеутверждающий юмор деда Щукаря.

Когда в сорок первом грянула война, эти герои вместе с нами ушли на фронт. К ним прибавились новые. Никогда не забуду, как читали мы в перерывах между боевыми вылетами во фронтовых аэродромных землянках главы уже из нового произведения Михаила Александровича «Они сражались за Родину». Уже самые первые страницы этой книги сразу завоевали наши сердца, и невозможно было найти воина, который не был бы покорен титаническим дарованием Шолохова.

Когда я работал над дилогией «Космонавты живут на Земле», мне, естественно, часто приходилось об-

щаться с нашими самыми первыми летчиками-космонавтами. И вот такой эпизод. С исполнителем одного из первых космических стартов мы в кабинете у редактора журнала, озабоченного тем, как у него получится праздничный номер.

— Знаете что,— обращается он к герою космоса,— выручите нас. Как бы было хорошо получить в этот номер приветствие от Михаила Александровича. Что, если мы подготовим просьбу к нему, а вы подпишете?

Космонавт поднимается в кресле, и я вижу, как выражение веселости сбегает с его лица.

— Нет, увольте,— говорит он отрывисто и сухо.— Во-первых, я с Михаилом Александровичем не знаком. А во-вторых, чтобы обращаться к нему, не будучи с ним знакомым, надо стоять с ним вровень. А ведь Шолохов высота-то какая! Он на недосягаемые орбиты вышел!

— Да высота! — соглашается редактор, растерянно протирая очки.— Эльбрус в гордой снеговой шапке... Эверест!

— Нет,— улыбается космонавт,— и не Эльбрус, и не Эверест. У этой вершины свое собственное имя: Михаил Шолохов!

Однажды я позвонил своему другу и сообщил, что уезжаю в Ростов-на-Дону на литературный праздник, посвященный семидесятилетию великого писателя.

— Возможно, у тебя будут какие поручения? — задал я традиционный вопрос.

— Да нет, пожалуй,— ответил космонавт, но вдруг воскликнул с волнением: — Хотя постой. Появится случай, обязательно передай самый низкий земной поклон Михаилу Александровичу Шолохову за все им сделанное!

Чингисхан с мотором

В июне 1946 года я прибыл для дальнейшего прохождения службы в штаб Шестнадцатой воздушной армии, находившейся в тихом немецком городке Вердере в двенадцати километрах от Потсдама, окруженном изумительными озерами, необычайно зеленом, потонувшем в садах. Даже эмблемой этого города была цветущая

вишня. Война не нанесла ему разрушений, и маленькие, в большинстве одноэтажные домики с решетчатыми и каменными заборчиками остались нетронутыми.

В те дни поезда из Москвы ходили еще очень медленно, и перед отъездом на Белорусском вокзале один из провожавших друзей сунул мне на дорогу книгу для чтения. Это был роман Бернгарда Келлермана «Туннель». Я читал его еще в шестом классе, но многое выветрилось из памяти. Поэтому за дорогу книга была прочитана вновь одним, что называется, залпом.

Мой друг, у которого я заночевал, снимавший квартиру у старенького школьного учителя математики, давно вышедшего на пенсию, спросил, когда я распаковывал чемодан:

— Что это за книга у тебя?

Я ответил.

— «Туннель»? — воскликнул он.— А ты знаешь, что Бернгард Келлерман наш сосед. Кварталах в четырех живет отсюда.

Я почему-то твердо считал автора «Туннели» давно переселившимся в лучший мир и строптиво воскликнул:

— Ты что-то путаешь, дружище.

— Я? — возмутился товарищ.— Да сейчас тебе мои слова мой хозяин подтвердит. Вольф, комен зи мир,— обратился он к старому учителю и, неверно произнося немецкие слова, объяснил мои сомнения.

— О, я! — воскликнул немец.— Келлерман лебен хир.

— Вот видишь! — воскликнул мой друг. — Да чего там говорить. Если хочешь, мы завтра же нанесем ему визит.

И мы это сделали. На следующее утро (а в тот день было воскресенье) мы остановились в далеком от центра квартале перед воротами, на которых висела металлическая дощечка с надписью на русском языке: «Здесь живет писатель Бернгард Келлерман» — и осторожно толкнули калитку. Навстречу нам вышел высокий старик с непокрытой седой головой и коротко подстриженными усами. Призвав на помощь весь свой небогатый немецкий лексикон, мы объяснили ему, что пришли познакомиться, и просили уделить несколько минут. Келлерман широко улыбнулся и тотчас повел наверх в свой скромно обставленный кабинет.

У него были движения человека, привыкшего ко все-

му, но отнюдь не напуганного войной. В глазах спокойное достоинство, ни тени тревоги или заискивания, какое можно было увидеть у иных немцев в ту пору. Мы быстро освоились, убедившись, что Бернгард Келлерман обладает примерно таким же запасом русских слов, каким мы немецких, и беседа наладилась. С присущей всем фронтовикам широтой мы выложили на письменный стол с десяток пачек московского «Беломора», в руках у моего друга блеснула бутылка шнапса, а я положил объемистый пакет с закусками.

— О! — воскликнул Бернгард.— Узнаю русскую доброту. Ее никакая война не сломит. Я тоже помню вашу Москву. Был в ней по приглашению Луначарского. Холод, разруха, хлеб по карточкам, а люди последним готовы поделиться. Еду в трамвае с замороженными стеклами. Надо было узнать, где на Трубной сойти. Одну старушку спросил на полурусском-полунемецком, а она как закрестится да на весь трамвай закричит: «Черт, черт!» Зато какие беседы были с Луначарским. Как он широко мыслил о будущности искусства, о реализме, о нашей немецкой литературе того времени, о моих книгах.

Келлерман принес небольшие синие рюмочки, бутылку пива, и мы, не чокаясь, выпили. Друг мой с опозданием произнес:

— За будущую новую Германию,— и кто-то из нас спросил у писателя, какой он ее представляет. Седые брови Келлермана нависли над помрачневшими глазами.

— В сорок первом году двадцать второго июня,— медленно заговорил он,— ранним утром я шел по Унтер-ден-Линден, а уже везде висели флаги со свастикой, орали громкоговорители, гремела музыка и раздавались крики о блицкриге. А я видел, какие траурные лица у многих прохожих. Они уже предвидели драму немецкого народа... а будущее? О, как на этот вопрос трудно ответить. Однако скажу, как бы я хотел видеть свою Германию такой же доброй, мирной и счастливой, как ваш Советский Союз.

Я подарил Бернгарду Келлерману тот самый экземпляр его романа «Туннель», с которым ехал из Москвы в Берлин, и старик растрогался, со смешанного русско-немецкого перешел на один родной немецкий, потом снова заговорил так, чтобы мы поняли:

— Я знал, что этот роман много раз издавался в Советском Союзе, и очень этим гордился. Это очень дорогая для меня книга. А знаете, как я над ней работал и за сколько написал? За две с половиной недели, всего за две с половиной недели!

— Не может быть,— вырвалось у меня.— Как же вы над ней работали?

— О! — задумчиво улыбнулся наш хозяин.— Я работал по двадцать три часа в сутки, а отдыхал только час. Жена приносила мне ночью бисквит, чашечку кофе и вот эту большую рюмку ликера. Я ее про себя называл по-русски «царь-колокол», потому что был в вашем великолепном Кремле. Жена очень боялась, когда я ночью очень иногда хохотал или плакал над судьбами своих героев, предполагала, что я чуточку помешался.

— А вычерков и поправок на страницах вы много делали? — спросил я, но Келлерман только рассмеялся.— О! Какой тонкий вопрос. Наверное, тоже пишете. Об этом когда-нибудь потом.

Меня поселили в самом центре Вердера в угловом четырехэтажном доме с окнами, выходящими на самую бойкую улицу. А над угловым подъездом почти всегда горела лампочка под синим абажуром, над которым на вывеске чернело готическими буквами написанное слово «Бир». Это была одна из наиболее популярных пивных, куда заходили в тот год и шоферы, и торговцы из маленьких зеленых лавочек, и служащие. Здесь можно было за полторы марки купить бокал полуторапроцентного пива, чашечку кофе или бутылку сельтерской. Мы близко познакомились со старым писателем и довольно часто навещали это кафе. В жаркую погоду или дождь, когда булыжные плиты мостовой были затянуты пленкой гололеда, он выходил на прогулку с маленьким лохматым псом на поводке, которого, если не изменяет мне память, окликал «шипцзигом», пересекали улицу и, остановившись под моими окнами, весело окликал:

— Капитен, капитен,— а заканчивал по-русски: — Уже пора. Бокалы нас ждут.

Когда мы садились на излюбленный угловой столик, тотчас же появлялся сам «шеф», розовощекий полный немец, ставил на стол рюмочку ликера или шнапса, тарелку с бутербродом с тонким ломтиком ветчины и торжественно произносил:

— Фюр зи, герр Келлерман. — Я заказывал желтое пиво, над которым в бокале вздувался огромный шар пены. Тем временем лохматый «шипцзиг» устраивался здесь же, рядом с нами, под столом и мирно дремал у ног хозяина. А я слушал изумительные рассказы Бернгарда о выдающихся писателях его времени, иногда приукрашенные то добрым юмором, то грустными раздумьями над их судьбами. Как-то я сказал о том, что его замечательный роман «Туннель» чем-то сродни творчеству такого большого художника, как Герберт Уэллс, и спросил: знакомы ли они.

— О, да! — воскликнул Келлерман. — Мы с ним лишь однажды встретились, когда он приезжал в Берлин, и я так мечтал поговорить с этим огромным писателем о творчестве. Я встречал его на Ангальском вокзале, и был он весьма веселым, потому что в Париже его хорошо провожали собратья по перу. В течение трех дней мы ездили по Берлину, побывали на нескольких приемах, официальных и товарищеских пирушках, я показал Уэллсу лучшие рестораны Берлина и потом снова таким же веселым отправил его домой с Ангальского вокзала. Но о творчестве мы так и не поговорили.

Однажды Бернгард спросил:

— Вы, наверное, знаете Гергарта Гауптмана?

— Еще бы, — ответил я, — мы же в школе изучали его драму «Ткачи», она шла в советских театрах. Дома у моего отца хранятся напечатанные в издательстве Маркса произведения Гауптмана. У нас в стране он широко известен. «Потонувший колокол», «Перед заходом солнца».

— Вот, вот, — одобрительно закивал Келлерман, — но вы едва ли знаете, что он в настоящее время живет вблизи от Котбуса. Вот бы собраться и поехать его проведать.

Но мы так и не собрались. В том же году восьмидесятивосьмилетний классик немецкой литературы Гергарт Гауптман скончался.

Во время наших встреч Келлерман с волнением рассказывал о начатой им работе над романом «Пляска смерти», который впоследствии был переведен на русский язык, издавался в Москве.

— Вам этого не понять, — грустно улыбался он. — У вас все сейчас впереди, а у меня за спиной. Садишь-

ся за очередную страницу и думаешь: «А успею ли?» И как хочется оставить своей новой книгой еще один след в литературе родного тебе народа. Это будет книга о великой трагедии, которую принес нам, немцам, вместе с фашизмом Гитлер. Да только ли нам. А вашей великой доброй стране, а всей Европе. Знаете, как я назвал его однажды? Чингисхан с мотором.

Часто и теперь вспоминаю одухотворенное, освещенное гневом лицо Бернхарда Келлермана, произносившего эти слова. Вспоминаю и думаю, как глубоко и точно оценил он те трагические для его соотечественников годы.

Добрый наставник

В ту пору редакция газеты «Красная звезда» работала с двух дня до одиннадцати ночи. Часов в семь, примерно, когда творческий процесс редакционного коллектива достигал своего наивысшего накала, меня потребовали в кабинет к главному. На столе у Василия Петровича Московского, нашего руководителя, как и всегда, уже лежал оттиск первой сверстанной полосы, а сам он в синих редакторских нарукавниках, предохраняющих от типографской, довольно маркой краски, прогуливался вдоль стола, решив, по-видимому, размяться.

— Вот что,— сказал он, не предлагая, как обычно, садиться. — Будем экономить время. Федор Иванович Панферов прислал нам свою публицистику. Я прочел. Ярко написано. Но конец надо бы расширить. Короче говоря, он тебя ждет.

Больше часа ехали мы с Иваном Падериным на дежурной краснозвездовской машине на дачу к Панферову. Был январский вечер. Снег, скованный почти тридцатиградусным морозом, искрился фиолетовыми огоньками.

Мне никогда не приходилось встречаться с писателями такой величины, как Панферов. Еще на школьной скамье в свое время я и мои новочеркасские дружки зачитывались первыми книгами «Брусков», наперечет знали героев. На портретах Федор Иванович казался несколько суровым, и это настораживало. Но все оказа-

лось значительно проще, чем я думал. Вместе с Антониной Дмитриевной Коптяевой хозяин дачи в меховом жилете без рукавов встретил нас радушно и, потирая руки, произнес:

— А хорошо январь заворачивает! Берет свое наша московская зимушка. Замерзли небось. Ну, так что же. Соловья баснями не кормят, садитесь сразу к столу, за ним и о делах поговорим.

Но я забыл о своем деле и сразу попал во власть панферовской беседы. Морщинистое лицо Федора Ивановича как-то сразу оттаяло и подобрело, глаза зажглись добрым светом, когда он начал говорить о мастерстве литератора.

— Главное — это слово, — поучал он. — Есть слово, — значит, есть и писатель, а нет — нет и писателя. Слово должно быть ясным и точным, как кирпич, который при постройке дома в определенное место кладут. И народным оно должно быть, потому что самые образные слова от народной речи идут. Народ, он щедрый и добрый языкотворец. Ну, а если нет у литератора слова, то никакой сюжет не спасет. И еще хочу я сказать, что нет ничего опаснее, чем формализм в отношении к слову. Язык наш настолько мудр и образен, что не надо писателю никаким канонам слепо подчиняться.— Он улыбнулся и хитровато прищурился. — Был у меня недавно забавный случай. Встретился с одним своим другом, очень известным мастером нашей прозы, а он и говорит: «Прочел я твою последнюю статью, Федор Иванович. Есть там у тебя фраза, в которой написано черным по белому: «целиком и полностью». Ну, как же так? Если целиком, так значит и полностью. Если полностью, так значит и целиком». А я промолчал, потому что наперед знал, что окажусь в споре победителем. На другой день партсъезд открывался. И в конце отчетного доклада как раз-то и была фраза, в которой оба эти слова стояли рядом: целиком и полностью. Спрашиваю своего соседа: «Ну, как?» А он руками разводит, дескать, молчу. И сказал я ему: правильно эти слова употреблены, потому что они, как гвозди, где можно было одним обойтись, второй для крепости забивают. Да и оттенки у этих слов различные все-таки.

За полночь затянулась наша беседа, и нельзя было перебивать Панферова, рассказывающего о Шолохове,

Паустовском, Пришвине, о тех молодых ярких талантах, что сплотил он после войны вокруг журнала «Октябрь»: Михаиле Бубеннове, Борисе Полевом, Семене Бабаевском, Аркадии Первенцеве.

Признаки неотвратимо надвигающейся болезни уже и тогда давали себя знать. Федор Иванович устал, лицо его заметно посерело. Несмотря на его протест, мы стали прощаться. Я с тоской посмотрел на свернутую трубочкой статью и горестно вздохнул, понимая, что в этот вечер так и не дойдет до нее дело.

— Ничего, — утешил меня хозяин. — Ты ее мне оставь, а завтра часиков в одиннадцать позвони. Я конец публицистики допишу. Между прочим, мне ваш редактор сказал, что у тебя первая повесть вышла. Зря не захватил. Или при тебе? Тогда подписывай, прочитаю. Я тебе тоже что-нибудь подарю.— Панферов поднялся наверх, достал в библиотеке одну из своих книг и вручил мне с короткой надписью. Там были слова: «талант надо тренировать ежедневно», обязательные для каждого взявшегося за перо.

Утром я позвонил Панферову, и он тотчас же снял трубку.

— Здравствуй, узнаю. Но должен огорчить, конец статьи я так и не успел. Сам в этом виноват: я же твою книгу ночью прочел. Слушай, — внезапно оживился он. — Ты ведь тоже писатель. Начинающий, но писатель. Вот возьми и допиши за меня эти два абзаца. Идет?

Корни

Есть мудрая монгольская пословица, которая звучит так: «Человек, у которого нет друзей — узок, как ладонь. Человек, у которого много друзей — широк, как степь». У широко известного советского писателя Михаила Алексеева, прошагавшего в свое время по военным дорогам от Сталинграда до Праги, много друзей. Это не только его друзья и знакомые. Это прежде всего та многомиллионная армия читателей, которая крепко полюбила созданные им образы наших современников, ставшие такими осязаемыми на страницах романов и повестей этого художника. Если говорить несколько огрубленно, то все творчество Михаила Алексеева посвящено

одной теме: человек и земля. Человек, возделывающий нашу прекрасную щедрую землю, и человек, защищающий ее от врага в грозные для Отечества нашего дни: человек — пахарь и человек — воин. И дело тут не только в том, что Алексеев по велению сердца выбрал эту тему. Дело в личном опыте чувств и переживаний, в человеческой памяти, отразившей все сильные жизненные испытания, сквозь которые автору пришлось пройти.

Самый большой талант может иногда завянуть, если у него отсутствуют глубокие корни, связывающие его с землей и народом, сыном которого он является. У Михаила Алексеева эти корни крепки и надежны.

Не так давно пришлось мне посетить родину писателя, далеко не богатое в прошлом село Монастырское на Саратовщине. Михаил Николаевич показал мне небольшой бугорок, у основания которого виднелись полуистлевшие бревна, и грустно заметил:

— Здесь стоял когда-то наш дом. Все было: и русская печка, и добрая мать, и дед, рассказывавший добрые сказки. Однажды его спросил: «Дедушка, а кто выдумывает сказки, богатые или бедные?» Он лишь на мгновение задумался и сказал: «Бедные, внучек, конечно, бедные. Богатые, им что... им и так хорошо живется».

Вероятно, с самого детства понес по жизни будущий писатель любовь к этим людям, что не от счастья сочиняли сказки, а потом при Советской власти выросли в богатырей, героев труда и боев. Искренней сыновней любовью к ним пронизано все творчество писателя.

Помню, стояли мы у сравнительно небольшого пруда с топкими, заросшими берегами темно-зеленой поверхностью, — по ней плавали широкие листья кувшинок, и Алексеев сказал:

— А ведь это вишневый омут и есть. Тот самый.

Я тогда не признался в том, что если бы подобный пруд встретил у какого-нибудь другого села, то ровным счетом не обратил бы на него никакого внимания и подумал, какую же силу художественного воображения надо было иметь, чтобы воспеть вишневый омут так, как он воспет в прекрасном романе, того же названия. Любому, побывавшему в Монастырском, не надо задавать М. Алексееву традиционного вопроса, кто из местных жителей был прообразом его персонажей. Каждый третий, а может, и второй коренной обитатель села упомя-

нут в таких его лучших книгах, как «Ивушка неплакучая», «Хлеб имя существительное», «Корюха», «Вишневый омут». Страстная любовь к родному краю позволила писателю с большой художественной убедительностью нарисовать картины крестьянского быта, показать своих земляков в суровые времена первых послевоенных лет, когда приходилось поднимать пострадавшее сельское хозяйство.

Однако, говоря о творчестве Михаила Алексеева, надо прежде всего отметить, что он вошел в литературу как военный писатель. Уже первый его роман «Солдаты», появившийся вскоре же после окончания войны, обратил на себя внимание самых широких читательских кругов. Яркие образы солдат и офицеров Великой Отечественной войны, правдивое изображение их окопных будней и невиданных подвигов во славу первого в мире социалистического Отечества — вот чем было привлекательно первое широкое полотно молодого автора. А в следующей повести, посвященной послевоенным будням нашей армии и озаглавленной «Наследники», М. Алексеев изобразил те первые рубежи нового ракетно-атомного века, на которых уже стояли наши вооруженные силы. Если к этому прибавить цикл талантливых новелл «Дивизионка» и те страницы «Ивушки неплакучей», которые посвящены нашему тылу — тогда и можно будет измерить и взвесить вклад писателя, внесенный им в военно-патриотическую тему.

Год назад в дождливый сумрачный день вместе с Михаилом Алексеевым поэт Гарольд Регистан и я долго колесили по окрестностям Волгограда, разыскивая траншею, в которой более четверти века назад размещалась минометная рота. Политруком той роты в дни ожесточенного наступления фашистов на Сталинград был будущий писатель. Завидное упорство оправдало надежды. В тот день мы нашли и окоп и яблоню, посаженную в те суровые дни огрубевшими, но нежными ко всему живому руками минометчиков. Алексеев долго рассказывал о них: о тех, кто дожил до светлого Дня Победы и о тех, кто сложил свою голову на исторической сталинградской земле.

На любом фронте есть передний край, и он начинается с командного пункта полка, продолжением его становится командный пункт батальона, затем роты. Но есть

сверхпередний край — это траншеи, заселенные бойцами, находящимися в самом близком соприкосновении с противником. Не зря говорили бывалые наши солдаты:

— Что до фашистов два шага, что до смерти!

Сколько бессонных ночей и дней выдержали на этой раскаленной земле наши воины, прежде чем разгромить сталинградскую группировку? В ту суровую пору офицер Михаил Алексеев был бойцом переднего края.

Теперь он тоже боец переднего края, потому что каждая страница его прекрасных книг согрета любовью к Советской Отчизне, к нашим замечательным соотечественникам.

Хмурый лейтенант

Рассказ

Хмурый лейтенант — так прозвали в нашем полку нового летчика Ярового, и прозвище это лучше всего соответствовало его характеру. Редко кто видел улыбку на его резко очерченных губах. Даже в минуты короткого отдыха, наступавшего после напряженного боевого дня, когда каждому хотелось как-то рассеяться, побренчать на гитаре или посидеть за домино, Яровой усаживался где-нибудь в дальнем углу землянки и, обхватив колени руками, медленно посасывал маленькую черную трубочку, безучастно наблюдая за происходящим.

— Почему он такой? — часто задавали себе вопрос летчики нашего полка и не находили ответа.

Да, он был очень странным, этот высокий, нескладный в движениях лейтенант Яровой. В свои неполные двадцать семь лет, он казался многое повидавшим человеком. Узкое, всегда гладко выбритое лицо было прорезано глубокими морщинами, а глаза, спокойные, холодные, светло-голубые, смотрели так, как смотрят на мир глаза человека, прожившего долгую жизнь. Он появился в нашем полку совершенно неожиданно, в самый разгар тяжелых оборонительных боев на подмосковных полях. Каждый день полк нес потери. Часто бывало, что вместо четверти «Ильюшиных» обратно возвращалась лишь пара, а два других самолета оставались на месте вынужденной посадки. Гибель каждой машины с болью переживал весь летный состав нашего полка. Но во сто крат было больнее, когда мы узнавали, что вместе с машиной, подожженной снарядом зенитки или пушечной очередью с «мессершмитта», за линией фронта погибали друзья. С утра и до ночи гудела земля от

близкой артиллерийской канонады. Фашисты прорвали линию фронта и приблизились к аэродрому. Их танки вели бои в пятнадцати километрах от него. И вот тогда-то последовал приказ перебазироваться на восток. Горбатые, окрашенные в грязно-зеленый цвет поздней осени ИЛы уже были подготовлены техниками к взлету, когда над аэродромом появился незнакомый штурмовик, отличавшийся от наших самолетов красной окраской кока. Он выскочил как-то неожиданно из-за нахохлившихся пожухлых сосенок, столпившихся вокруг аэродрома, и, не делая круга, с прямой зашел на посадку.

— Узнайте, кто это? — сердито спросил командир полка майор Черемыш, приготовившийся отдать приказание на перелет всем исправным машинам.

Минуты три спустя перед ним уже стоял незнакомый летчик в помятом кожаном реглане и, вытянув вдоль туловища длинные руки, устало докладывал:

— Я из дивизии полковника Сухоряба. Был на вынужденной. «Мессеры» перебили гидросистему, до своих не дотянул. Пришлось у танкистов подремонтироваться.

Это и был лейтенант Яровой.

— Кто же вам ее восстановил? — не без удивления спросил Черемыш, твердо знавший, что без авиационных техников такая операция неосуществима.

— Сам,— односложно ответил Яровой.

Брови у командира полка удивленно поползли вверх.

— Вы?

— Да,— неохотно повторил лейтенант и, вероятно не желая вновь подвергаться расспросам, прибавил: — Я в прошлом авиационный техник.

— Так, так,— протянул майор Черемыш,— а вы знаете, где сейчас дивизия полковника Сухоряба? Она направлена в глубокий тыл за новой материальной частью. Небось не обедали? Пообедайте, а я за это время свяжусь со штабом и узнаю, куда вам лететь, чтобы найти своих.— Черемыш ожидал, что Яровой, как и каждый человек, потрепанный первыми жестокими месяцами войны, облегченно вздохнет, узнав о том, что впереди его ожидает кратковременная передышка, поездка в тыл, возможно, свидание с родными и близкими, но незнакомый летчик продолжал так же сосредоточенно смотреть мимо командира светлыми немигаю-

щими глазами. И только при упоминании о поездке в тыл на его лице нервно дернулся мускул.

— Товарищ командир,— произнес он, простуженно покашляв,— разрешите остаться у вас, в тыл не лететь. ИЛ у меня в порядке, на нем еще можно повоевать.

Черемыш обескураженно пожал плечами: время было горячее, командир соединения требовал штурмовать, штурмовать и штурмовать.

— Хорошо,— неожиданно для всех прислушивавшихся в разговору согласился майор,— я вас зачисляю в первую эскадрилью, а в штаб сообщу, что впредь до уточнения будете воевать с нами.

Никакого уточнения не последовало, и Яровой остался в полку. Вместе с нами он перелетел на новый аэродром. Ему отвели место на нижних нарах землянки, в самом дальнем углу. Рассыльный принес из вещевого склада новый матрас, и Яровой стал устраиваться. В бревенчатую стену землянки он вбил гвоздь, повесил на него реглан и кожаный шлем — все свое имущество, и скорее себе, чем соседям, наблюдавшим, как он устраивается, сказал:

— Вот и все. Жить можно. А главное — нужно.

Так он начал жить с нами. Он летал много, больше других. Если майор Черемыш вместе с начальником штаба брался за составление боевого расчета и на листок бумаги заносил фамилии летчиков, включавшихся в очередную пару или четверку, Яровой первым просил разрешение на вылет. И только в те недолгие минуты, когда командир полка повторял боевой приказ да еще когда приходилось укладывать в планшет карту с прочерченным маршрутом, Яровой несколько оживлялся. Как-то по-особенному блестели тогда его глаза. Но не волнение и не испуг — злость появлялась в них. Лейтенант буквально выпрашивал у командира каждый лишний вылет, а когда возвращался на аэродром, снова становился мрачным и неразговорчивым.

— Задание выполнил,— докладывал он коротко.

Оружейники начинали производить послеполетный осмотр и не находили ни одного снаряда. Яровой старался расстрелять в полете весь боекомплект.

— Так нельзя,— сказал ему однажды майор Черемыш.— А если на обратном пути вас перехватят «мессеры», как будете отбиваться?

— Уйду на бреющем, сманеврирую.

— Я вам запрещаю расходовать весь боекомплект,— строго напомнил Черемыш.

— Есть, товарищ командир,— сухо согласился летчик.

Но летать продолжал с тем же холодным азартом. Даже в тех случаях, когда огонь фашистских зениток покрывал низкое октябрьское небо сплошной свинцовой завесой, он ухитрялся совершать по два, по три захода. ИЛ-2, на котором летал Яровой, почти ежедневно возвращался с пробоинами, и рыжий вскудлаченный механик Зайченко так к этому привык, что, завидев идущий на посадку самолет лейтенанта, с добродушной улыбкой говорил товарищам:

— А ну, хлопцы, готовьте побильше латок. Це ж командир вертается и опять що тот гусак, якому вси перья повыщипывалы. Не разумею, чего вин хоче: смерти, чи що!

Так думал не один механик. Даже командир полка, летчик опытный, любивший риск и тех, кто рискует, недоумевал, почему Яровой такой отчаянный. Командир часто говорил ему:

— Вы устали, вам нужно отдохнуть.

А Яровой лишь молча шевелил сухими обветренными губами, словно силился улыбнуться и не мог.

— Я еще успею до темноты возвратиться, товарищ командир, разрешите еще один полет на «свободную охоту».

И улетал. И ему везло. Тридцать шесть штурмовок совершил лейтенант Яровой за какие-нибудь пятнадцать дней пребывания в нашем полку и ни разу не был сбит ни зенитками, ни «мессершмиттами». За это время он отыскал и взорвал два крупных нефтесклада, разбил эшелон.

Список подвигов Ярового рос быстро, и даже «старики» отдавали должное летному мастерству лейтенанта. Но для всех было неведомо, что носит в своем сердце этот мрачноватый, неразговорчивый человек. Многие думали, что он попросту гордится, заносится и поэтому избегает общения с окружающими летчиками, считая, что среди них не сможет найти себе равного. Может быть, поэтому к Яровому все относились с нескрываемым равнодушием, а если и хвалили его, то холодно

и скупо, как мастера своего дела, но не как товарища, с которым приходится делить и место в землянке, и опасность в воздухе.

А Яровой продолжал летать и оставался все таким же замкнутым. После двадцатидневного пребывания Ярового в нашем полку командир решил его представить к ордену Красного Знамени. Но, как назло, сутки спустя после того, как штабной писарь Тесля заполнил наградной лист, Яровой не возвратился с задания.

Случилось это в холодный ветреный день, когда аэродром затягивала белесая пелена тумана. Погода стояла нелетная, но утром оперативный дежурный передал майору приказ командующего ВВС. Черемыш взял телефонограмму: «Цель восемь уничтожить к четырнадцати ноль-ноль». Под целью восемь значился по коду штаб немецкого корпуса, расположенный в деревне Озерки. Черемыш посмотрел в окно. Дул сырой от дождя ветер, гнал черные тучи, и низкое небо, казалось, вот-вот должно рухнуть на землю.

— Не так легко уничтожить,— произнес майор, сердито кусая губы,— попробуй полетай в такую погоду.

В землянке было тихо, даже удары дождя о стекло отчетливо слышались. Черемыш думал о том, что летчик, которого он пошлет в такую погоду на штурмовку немецкого штаба, имеет мало шансов на то, чтобы вернуться. Трудно пробиваться к цели, когда впереди тебя горизонт каждую секунду грозит сомкнуться, сделать невидимой землю. Но еще труднее без прикрытия истребителей, одному атаковать цель с низкой высоты под огнем десятка зенитных батарей. В углу на деревянных нарах, тесно прижавшись друг к другу, спали летчики. Один из них зашевелился и медленно сполз на пол. Черемыш увидел холодные светлые глаза.

— Яровой?

— Разрешите полет, товарищ командир.

Майор посмотрел на лейтенанта и внезапно рассердился. «Ну почему он всегда выскакивает раньше других? Ведь есть же в нашем полку и более опытные штурмовики». Командир скомкал в руке телеграфный бланк, потом снова разгладил его, перечитал короткий текст: «Цель восемь уничтожить к четырнадцати ноль-ноль».

Над самым ухом он услышал глухой от скрытого волнения голос лейтенанта:

— Я еще вчера заметил признаки этого штаба под Озерками. Мне будет легче его разыскать.

— Хорошо, готовьтесь,— согласился Черемыш, затем недружелюбно и ворчливо прибавил: — Честное слово, если бы не простудился вчера капитан Веденеев, его бы послал, а не вас.

Через несколько минут Яровой был готов. На этот раз командир сам вышел проводить его. Майор, посылая в опасный полет даже такого летчика, к которому не питал особенной симпатии, как-то менялся, оттаивал, становился необычно ласковым. Так случилось и в этот раз. После того как все приготовления были закончены и Яровой уже застегивал шлемофон, Черемыш подошел к лейтенанту и потрепал его по плечу.

— Значит, летишь,— сказал он, переходя на «ты»,— а погода, видишь, какая... высоту все время придется держать маленькую... ты к земле прижимайся, где можешь, а то зенитки у фашистов злые.

Слова «можешь и не вернуться» остались несказанными, но Яровой прочитал их в грустных глазах командира.

— Закурить разрешите? — спросил он.

— Покури, покури,— спохватился майор,— перед вылетом это полезно, в водухе будешь спокойнее.

Командир протянул ему спичку и, обняв лейтенанта за плечи, вышел с ним из землянки.

— Ну ладно. Желаю удачи. Трогай.

Яровой ушел к машине. Черемыш стоял у входа без шлема, комкая в руках кожаные перчатки, смотрел вслед.

А вскоре майор увидел, как протащился по раскисшему полю аэродрома медлительный, тяжелый ИЛ, словно бы нехотя оторвался от взлетной полосы и скрылся в непроницаемом тумане. Командир стоял до тех пор, пока не смолк в небе шум самолета, а потом спустился в землянку.

Снова ветер гнал тяжелые тучи. Черемыш сел за стол и положил перед собой часы.

По той сосредоточенности, какая была в его глазах, все поняли, как сильно волнуется командир за судьбу летчика.

Прошло два тягостных часа. Три раза за это время выходил майор из землянки и напряженно всматривался в низкое хмурое небо. Но все было напрасно. Чуткое ухо не могло уловить знакомого шума.

К вечеру туман рассеялся, и звено истребителей вылетело на разведку. Когда оно возвратилось, капитан Еремеев, водивший летчиков за линию фронта, сообщил, что санаторий, где расположился штаб немецкого корпуса, разрушен, а в десяти километрах от него, сбоку от шоссе, лежит сбитый штурмовик.

В долгом молчании выслушали летчики эти слова, а когда дверь тихо скрипнула за ушедшим Еремеевым, майор медленно встал, и все услышали его тихий голос:

— А какой храбрый был все-таки парень!

Но Яровой не погиб. Он пришел на тринадцатый день, худой, осунувшийся, с запавшими от бессонницы глазами. Ему обрадовались, как родному. Летчики бросились тормошить лейтенанта, но Яровой лишь на секунду согрел лицо теплой улыбкой, а затем опять стал сдержанным и молчаливым. Освобождаясь от объятий, он нескладно объяснил:

— Зенитки сбили. Почти над самой целью. А штаб я все-таки зажег. Тринадцать дней скитался, пока удалось добраться. Спасибо, ягоды в лесах много... Вот видите,— он показал глазами на изодранные сапоги с отвисшими подметками.

То самое, о чем другой рассказывал бы несколько вечеров, Яровой передал в трех-четырех фразах. Но сейчас на это никто не обратил внимания. Всем стало легче от того, что молчаливый лейтенант жив и невредим. Майор Черемыш, возбужденно размахивая руками, кричал:

— Вот молодец! Ей-богу, молодец! — И вдруг не без досады хлопнул ладонью по затянутому целлулоидом планшету: — Кого же послать на задание с пятой машиной?

— Постойте,— вдруг сказал Яровой.— А какое задание?

Черемыш сердито махнул рукой:

— Да опять эти самые Озерки, около которых тебя сбили. Километром западнее бензосклад, надо поджечь.

— Бензосклад! — воскликнул Яровой.— Это тот, что на левом берегу речушки?

— Ну да.

— А зенитки стоят правее, в мелком кустарнике... заходить надо с юга, чтобы поменьше в зоне обстрела находиться. Там еще можно к лощинке прижаться, я знаю.

— А гореть-то они как будут, эти цистерны, батеньки вы мои,— продолжал Яровой,— ни один фриц не затушит. Разрешите вылет.— Он растерянно оглянулся на окруживших его летчиков, словно просил о поддержке.

Майор не выдержал и, в сердцах обругав назойливого лейтенанта, приказал идти к машине.

Когда пятерка ИЛов улетела и шум моторов смолк где-то за синеющим лесом, начальник штаба, недоуменно пожав плечами, сказал командиру полка:

— Или это какой-то спортсмен, охотящийся за собственной смертью, или просто невменяемый человек. Мне упорно кажется, что в каждом полете Яровым руководит не столько ненависть к врагу, сколько летный азарт.

Черемыш нахмурился. Он сам не понимал лейтенанта, но никогда не судил о людях поспешно. Поэтому сердито возразил начальнику штаба:

— Торопишься, Кондратьич! Разве можно торопиться, когда человека судишь!

Полтора часа блуждали в низком, затянутом облаками небе пять «Ильюшиных». В полном составе возвратились они на аэродром, и командир пятерки Ведедеев доложил, что задание выполнено.

— Это вот Яровому спасибо,— прибавил он, закончив официальный рапорт,— если бы не он, проскочили бы цель.

Черемыш посмотрел на лейтенанта. Тот молча снимал меховые перчатки, его обветренное лицо, рассеченное на правой щеке глубокой морщиной, было, как всегда, угрюмым.

Вечером хлынул неожиданный для осени теплый проливной дождь с громом и яркими молниями, и летчики решили устроить «вечер отдыха». К потолку была

подвешена еще одна «летучая мышь», свет от нее веселыми кругами побежал по стенам и ярче осветил жилище. А когда завели патефон, монотонный шум дождя не был уже слышен.

Около одиннадцати в землянке появился Яровой. Очевидно, после ужина он бродил где-то по лесным опушкам, потому что на голенища его сапог налипли осенние листья. Он молча сбросил мокрую шинель, прошел в самый дальний угол и сел на свою постель. На приход лейтенанта никто не обратил внимания. Но когда молодой летчик Левушкин посмотрел в угол, он увидел, что Яровой, подперев ладонями голову, сосредоточенно рассматривает большую фотографию. Левушкин, а за ним следом и еще двое подошли к нарам. Яровой никогда не показывал никому из нас ни своих фотографий, ни своих писем, и то, что сейчас он долго и пристально рассматривает какой-то снимок, заинтересовало всех.

— Это кто? Жена? — осторожно спросил Левушкин, не рискуя заглянуть через плечо Ярового на фотоснимок.

— Нет, сын,— тихо ответил Яровой и вздрогнул.

Все мы ожидали, что лейтенант молча уберет снимок. Возможно, так бы и случилось, если бы не настойчивый Левушкин. Взъерошив и без того лохматую голову, он нерешительно попросил:

— А можно посмотреть?

Яровой, ни слова не говоря, протянул фотографию. С открытки глядело улыбающееся лицо двухлетнего мальчугана. Мальчик прижимал к себе плюшевого медведя. В больших глазах ребенка застыло удивление перед громадным, еще не понятным ему миром.

— Больно хорош! — обрадованно воскликнул капитан Веденеев, очевидно вспомнивший о своих ребятишках.

— Какой толстяк,— добродушно заметил Черемыш.

— И веселый,— прибавил кто-то третий.

— Он что у вас, в Ленинграде? — спросил Левушкин, откуда-то знавший, что Ленинград — родина Ярового.

— Был в Ленинграде,— ответил лейтенант и вдруг нервно забарабанил пальцами правой руки по коленке.

— Почему вы говорите — «был»?

Яровой притронулся к воротнику гимнастерки, но тотчас же отдернул руку.

— Потому, что его теперь нет,— ответил он тихо бесстрастным голосом, в котором не было ничего, кроме сильной усталости.— Вы помните сообщение о первом крупном налете «юнкерсов» на Ленинград? Фашистская фугаска попала тогда в дом. Сын и жена...— Голос его оборвался...

Яровой поднял голову, и летчики, обступившие нары, увидели его глаза... И каждый подумал в ту минуту, что, очевидно, такими они бывают, когда Яровой идет на цель на своем ИЛе и жмет на гашетки, обрушивая на врага снаряды и бомбы...

«Собачьи валенки»

Фронтовая быль

М. А. Шолохову

Пожалуй, я нисколько не солгу, если скажу, что в то время не было у нас более светлой минуты, чем та, когда безусый солдат полевой почты вручал очередной номер «Правды» с новым отрывком из шолоховского романа «Они сражались за Родину».

В ту тревожную, озаренную всполохами войны весну мы жили в кубанской станице, в горнице небольшого домика с осевшей, словно нахлобученной на облупившиеся стены камышовой крышей. Нас было четверо парней, гордившихся тем, что общий наш возраст перевалил уже за восемьдесят пять лет. Ежедневно с зарей мы уходили на аэродром, ежедневно летали на боевые задания. А по вечерам, когда над разбухшей от весенней грязи станицей смолкал надтреснутый гул ИЛов и аэродром замирал, кто-нибудь зажигал изрядно коптившую «летучую мышь» и молча придвигал командиру звена Вячеславу Бестужеву газету. Слава был у нас признанным чтецом, еще до войны брал призы на смотрах художественной самодеятельности. Он отбрасывал назад густые светлые волосы и начинал читать.

В тот день я задержался на аэродроме и вошел в горницу, когда чтение подходило к концу. Выразительный Славкин голос наполнял наше жилище. Он как раз читал монолог одного из героев, Звягинцева, о том, как наши летчики не успели вступить в бой с вражескими бомбардировщиками.

— «Опять опоздали! Когда нас немцы бомбили и висели над нашим порядком, как привязанные,— вы небось кофей пили да собачьи валенки свои натягивали,— раскатывался его голос, передавая сочную шоло-

ховскую речь,— а теперь, после шапочного разбора, пошли в пустой след порхать, государственное горючее зря жечь...»

В горнице раздался дружный смех. Даже хозяйка, измученная войной, потускневшая в разлуке с мужем женщина, которую мы именовали «мамашей», совсем не беря в расчет, что ей только пошел тридцать седьмой, и та смеялась в соседней комнате за перегородкой. Но Славка вдруг отложил газету и хватил себя ладонью по затылку.

— Позвольте!— растерянно воскликнул он.— Это же прямое попадание! Что же теперь произойдет в войсках доблестного Военно-Воздушного Флота? Вы не знаете, да? Так я вам нарисую. Завтра нам, летчикам, проходу давать не будут этими самыми «собачьими валенками».

И как в воду глядел наш друг. Утром, едва лишь мы стали собираться на завтрак, хозяйка первая из своей комнатки произнесла эти слова:

— Сыночки, Христом-богом прошу, оставляйте свою обувку в сенцах. Уж больно тяжелый дух идет от ваших «собачьих валенок».

— Ладно, мамаша,— мрачно ответил один из нас.

А когда мы, все четверо, подходили к столовой, водитель штабной полуторки конопатый ефрейтор Беклемишев сказал своему дружку вполголоса, но так, что мы услышали:

— Эй, Сенька, гляди-ка. Наши «собачьи валенки» уже кофей пить идут. Выходит, скоро и моторы загудят на летном поле.

Но это были только «цветочки». «Ягодки» обозначились чуть позднее. В столовой я без особого зла ругнул официантку Сонечку за то, что она задержалась с завтраком. Миловидная Сонечка, сдвинув подбритые бровки, бросила взгляд на мои новые шикарные унты с чуть вывернутой наружу рыже-белой изнанкой и прыснула со смеху.

— Товарищ лейтенант, а товарищ лейтенант! — невинным голоском обратилась она.— А вы свои «собачьи валенки» по утрам не расчесываете? А то я вам на этот случай свою старую гребенку с выломанными зубцами подарю.

Рядом с нами размещался пункт связи, и молодые

девчата в кокетливо пошитых яловых, а то и хромовых сапожках, с утра и до вечера оглашали улицу звонкими голосами и смехом, деловито обсуждая подробности своих состоявшихся и несостоявших свиданий. К ним наведывались степенные зенитчики из дивизиона, охранявшего наш аэродром. Но в этот вечер мы натянули им нос и после ужина первыми устремились к «девичьему питомнику», как окрестили наши полковые остряки общежитие связисток. И вдруг услышали вослед мрачные восклицания потерпевших поражение зенитчиков:

— Ребята, поворачивай назад, нас «собачьи валенки» обогнали.

— Да тише ты! — возразил другой голос предостерегающе.— Летчики народ самолюбивый. Еще вздуют!

— Куда там! — издевательски заметил первый голос.— Нешто они догонят нас в своих «собачьих валенках».

У Славы Бестужева был воздушный стрелок Никита Марлинский, здоровый рыжий парень, и мы окрестили этот экипаж «Бестужев — Марлинский», вспомнив в свое время нашумевшего модного беллетриста. Однажды, когда Слава дежурил на КП, Марлинский разбудил нас за добрый час до подъема и торжественно объявил:

— Презренные сони! Моему командиру сегодня стукнул двадцать один год. Так неужто мы чего-нибудь не соорудим?

— Соорудим,— поспешно прогудел самый старший из нас двадцатитрехлетний белорус Тарас Скрипка, любивший назидательно повторять: «Братка ты мой, ты на полеты не спеши, смотри, как бы голодным не остаться!» Впрочем, присказка эта никак не отражала его существа. В боевой работе Тарас горел и за один лишний вылет готов был отдать пять обедов. Выслушав воздушного стрелка Марлинского, он бодро изрек: — Я же дипломат, ребята. С «мамашей» переговоры проведу ментом. Собирайте деньжата, и мы командируем ее за бутылкой самогона.— Он самоуверенно шагнул за перегородку, но вышел оттуда с расстроенным лицом.

— Не получается,— признался Тарас, смущенно ероша курчавую шевелюру.— «Мамаша» сказала: за деньги не продадут. Вот если бы «собачьи валенки», хотя бы самые старые.

Игорь Чесноков сделал порывистое движение:

— Как это не получается! Берите мои унты. Они давно на ладан дышат и все сроки носки вынесли.

К вечеру в горнице был накрыт богато сервированный по тем временам стол. Тарелка с квашеной капустой, десятка два печеных картофелин, несколько вареных яиц и в центре бутыль самогона. Не успели сесть за стол, за окном заскрипели ржавые тормоза штабной полуторки, и дежурный офицер с порога крикнул:

— Экипаж «Бестужев — Марлинский», в машину. Задание на разведку.

— Ребята, подождите, я через сорок минут вернусь,— широко улыбнулся Слава.— День рождения не отменяется.— И они ушли. Вскоре над крышей нашего дома раздался надтреснутый бас улетающего за линию фронта ИЛа. Мы ждали его возвращения сорок минут, потом час, потом час двадцать и страшно обрадовались, услыхав нарастающий гул приближающегося к аэродрому штурмовика. Игорь Чесноков глубоко вздохнул, и вздох этот в пояснениях не нуждался. Значит, пришли, значит, полный порядок! Потом распахнулась входная дверь, и в слабо освещенной горнице с парой рыжих унтов в руке возник воздушный стрелок Марлинский.

— Наконец-то,— воскликнул Чесноков.— Но где же сам юбиляр? Где Бестужев, маэстро Марлинский?

Воздушный стрелок, пошатываясь, стоял посреди комнаты, нелепо сжимая в руке унты, и долго молчал.

— Слава погиб! — произнес он медленно, отдирая от себя каждое слово, как отдирают бинты от тяжелых незаживающих ран.

Ни у одного у нас не вырвалось душераздирающее «как?!». Оно замерло только на устах и во взглядах. Но, покоряясь ему, Никита Марлинский, глотая воздух широким ртом, пояснил:

— Зенитка. Снаряд разорвался в кабине. Он сажал нашу «шестерку» почти без сознания, а когда я подбежал, сказал хриплым шепотом: «А вы все-таки выпейте за меня, нельзя отменять дня рождения! — Потом, собрав все свои силы, улыбнулся и прибавил: — А «собачьи валенки» мои отмойте от крови. Очень я хочу, чтобы кто-нибудь из вас дошел в них до самого Берлина и по куполу рейхстага, где Гитлерюга засел, отбомбился!»

Онемевшие от горя, мы безмолвно смотрели на Марлинского, принесшего страшную весть. А тяжелый решительный Тарас Скрипка бросился к воздушному стрелку и почти вырвал у него окровавленные унты.

— Я возьму эти «собачи валенки»! — выкрикнул он тоном, не допускающим возражений.— И клянусь, что выполню завещание лейтенанта Бестужева.

Настал день, когда гвардейский штурмовой полк взял боевой курс на Берлин. Тридцать шесть ИЛов. Тридцать шесть летчиков и тридцать шесть воздушных стрелков. Итого, если помножить надвое,— семьдесят два человечка!

В апреле сорок пятого было за Одером уже довольно тепло, и все были обуты в армейские сапоги. И только на ногах у одного, у командира полка гвардии майора Тараса Скрипки, были рыжие с подпалинами меховые унты — Славкины «собачьи валенки». В тесной кабине ИЛа Скрипка ожесточенно давил ими на педали, когда вел свою армаду сквозь сплошную завесу зенитного огня, когда сбрасывал бомбы на почерневший от дыма купол рейхстага и поливал его из пушек.

Может, это было и не так, но говорят, будто весь мир услышал, как выкрикнул из кромешного дыма и пламени Тарас Скрипка, майор по званию и командир полка по должности:

— Это за тебя, Слава!

* * *

Прошло тридцать лет. В квартире генерал-лейтенанта авиации Тараса Максимовича Скрипки до сих пор стоят в полутемном углу заботливо прикрытые зеленой плащ-накидкой старые ветхие унты.

Бывает, что разыгравшийся шестилетний внук отдернет ее край и, уставившись глазами-пуговками на облезлые носы унтов, звонким голосом спросит:

— Что это, деда?

— Осторожно, шалунок,— строговато отвечает седой генерал.— Это — «собачьи валенки» лейтенанта Вячеслава Бестужева.— Отчества генерал не произносит, потому что, по глубокому его убеждению, грешно называть по отчеству человека, которому в день его гибели исполнился двадцать один год.

Апрель 1975 г.

Госпиталь

Рассказ

Когда холодное мартовское солнце украдкой проглядывало сквозь беспросветно серые снежные тучи, в госпитале становилось как-то веселее, уютнее, и маленькая палата уже не казалась Ивану Митричу угрюмой.

— Весна... весна приближается... марток,— тихо говорил он, поглядывая на своего соседа по койке.

Еще в прошлую субботу он мчался в атаку на вороном Орлике. Вокруг слышался гул снарядов, стрельба из винтовок и однообразное стрекотание пулемета. В этом день белые сопротивлялись особенно ожесточенно. Под вечер они получили подкрепление — целый батальон американских и английских солдат, и бой разгорелся с новой силой. Иван Митрич отчетливо помнил, что он вместе с братом Денисом скакал впереди эскадрона, слегка пригинаясь к луке седла, подгоняя шпорами разгоряченного коня. Потом грива коня Дениса стала почему-то отплывать назад. «Наверное, ранили братишку»,— подумал Иван Митрич и ощутил, как закипела на сердце злость. Он молча пришпорил Орлика. Видимо, он намного опередил бойцов, потому что сзади раздался предостерегающий окрик командира эскадрона Крюкова:

— Назад, Митрич, назад, черт тебя побери!

Но повернуть назад Митрич не успел. Около него разорвался снаряд, испуганная лошадь рванулась в сторону. Он почувствовал острую боль в левом предплечье и, изогнувшись дугой, выпал из седла на снег. Когда запоздалый рассвет сменил холодную ночь, санитары подобрали обмороженного, бесчувственного Ивана

Митрича и доставили в городской госпиталь. Главный врач Стаценко поглядел на почерневшие ноги и покачал головой.

— Придется отнять. Если мы даже его и примем, то в лучшем случае он выйдет из госпиталя калекой, совершенно неспособным к труду,— сухо промолвил врач,— да у нас и места-то нет.

Командир эскадрона Крюков, богатырски сложенный казак с буденновскими усами, доставивший Ивана Митрича, сурово взглянул на доктора и притронулся к болтавшемуся на желтом ремне маузеру.

— Ну, разговаривать! — резко перебил он.— Сделайте все, чтобы спасти товарищу жизнь, а про инвалидность и думать бросьте, человек кровь за Советскую власть проливал!

Когда Митрич очнулся, он сначала ничего не понял. Насилу открыв веки, он уперся глазами в серый потолок, потом слегка повернул голову. Его взгляд блуждал по палате и натыкался на незнакомые предметы. Постепенно наступало прояснение. «Да я же раненый»,— подумал Панкратов. Он хотел приподняться, но тело было неимоверно тяжелым. «Тогда я на ноги встану, если так не выходит»,— решил Иван Митрич и, собрав все свои силы, сделал попытку пошевелить сразу обеими ногами.

В том месте, где должны быть ноги, он ощутил необычную пустоту. Левой рукой Митрич сорвал с себя одеяло. Ног не было. Там, где должны были быть колени, он увидел толстые, пропитанные кровью култышки бинтов. А дальше... дальше была простыня, потом спинка кровати, но не ноги. Митрич вздрогнул. Не поверил. Он поглядел еще раз и тогда, холодея, понял, что все это совершается наяву, что все это правда.

— Ноги? Где мои ноги?!

И сразу стало легче, и холодный пот побежал по вискам. Сосед по койке повернул черноволосую голову и внимательно посмотрел на Митрича.

— Отбрили их вам, голубчик. В операционной остались ваши ноги,— хладнокровно объяснил он.

Митрич тупо поглядел на него и вздохнул. Странное равнодушие соседа подействовало на него успокаивающе.

— Да как же,— пробормотал Митрич,— меня в плечо садануло, а при чем ноги, почему ноги?!

Сосед безразлично хмыкнул.

— Ничего, бывает и так,— сказал он, закашлявшись и закрыв губы желтой ладонью курильщика.

Митрич больше ни о чем не спрашивал. Лежал молча, стараясь заглушить подступавшие к горлу рыдания. Он понимал, что случилось непоправимое, что теперь на всю жизнь остался калекой, и на смену отчаянию и испугу пришла невыносимая тоска. Только под вечер Митрич немного успокоился и начал равнодушно осматривать палату.

Палата была тесная и маленькая. Кое-где на потолке обвалилась штукатурка, стены были поцарапаны, пол долго не мылся. В палате стояли две койки. На одной лежал он, Иван Панкратов, а другую занимал страшно худой пожилой мужчина с сединой в черных жестких волосах и усах. Мужчина часто кашлял, и тогда его скуластое лицо с большими глазами кривилось и бледнело.

Иван Митрич узнал, что соседа зовут Петром Андреевичем Фроловым, что он штабс-капитан, но уже около двух лет лежит больной туберкулезом в постели. У Фролова в городе был собственный дом, но там разместили лазарет, а его при содействии главного врача, дальнего родственника, положили в госпиталь. Он был лишь на два года моложе Ивана Митрича.

Сначала Панкратову не понравилось, что его поместили в одну палату с ним, но потом одинаковый возраст и тяжелое состояние обоих как-то сблизило их. К тому же Петр Андреевич оказался на редкость разговорчивым человеком. Так у них завязалось знакомство.

Мартовский день был особенно серым и пасмурным. Солнце, показавшееся утром, спряталось, и теперь в палату через оттаявшее окно просачивался блеклый свет. В полдень пришла сестра и поставила на табуретку тарелку супа. Суп медленно остывал, и горячий пар винтом поднимался вверх.

Пока Митрич ел, Фролов, лежа с закрытыми глазами, вспоминал свое прошлое. Фролов видел своего

отца, щеголеватого полковника, от которого вечно пахло хорошими духами и крепким коньяком, мать — высокую блондинку, мечтавшую все время уехать в Англию, где она провела свое детство. Фролов видел большой, хорошо сервированный стол, вылетающие пробки из бутылок с шампанским, декольтированных дам и среди них первую красавицу губернского города Амалию Ручинскую с нежным восковым профилем, ту самую, которая впоследствии два года была его женой и убежала в Италию с полковником Лембергом, отставным кавалеристом.

Перед глазами Фролова проносились картины шумных гуляний на тройках в рождественские дни, он видел загородный ресторан и себя — пьяного, бросающего с диким криком пригоршни монет в танцующих цыган, видел подобострастное лицо старого лакея Филиппа, кидавшегося его раздевать, едва лишь он переступал порог.

Где все это? Беспутная молодость пронеслась так же бешено, как и тройка, увозившая его из загородного ресторана. Умерла мать. Отец и старший брат, спасаясь от наступающих красных, ушли в Архангельск и находятся сейчас где-то там при американском экспедиционном корпусе. Он сам еще до начала гражданской войны заболел туберкулезом и вот лежит беспомощный, обозленный, ненавидящий все окружающее. Он не сделал ни одного выстрела по большевикам, но смертельно ненавидит их за одно то, что они отняли у него богатую усадьбу, слуг, лакированный фаэтон. Фролов не верил в свое выздоровление, он знал, что впереди его ничего не ожидает, кроме медленной смерти, и от этого начинал еще больше ненавидеть окружающих его людей.

Пока Фролов с закрытыми глазами размышлял о своем прошлом, Иван Митрич тоже загрустил от нахлынувших воспоминаний. Ему вдруг предстала залитая вечерним солнцем улица большого ставропольского села, хатенка с голубыми ставнями, большая широколицая с русыми длинными косами, еще полная силы и свежести жена Наталья, стирающая в простом ситцевом платье или хлопочущая у печки, меньшой сын Васятка, которому осенью должно было исполниться восемь. Митрич вздохнул, подумав о том, как

пахнет сейчас развороченный чернозем, как хорошо было бы пройтись рядом с конем по борозде.

Фролов повернулся на бок и откашлялся.

Солнце проглянуло сквозь тучи, и через квадратное окно в палату проник косой луч. Он пробежал по серым стенам, скользнул по бледному лицу Панкратова. Иван Митрич оживился, сразу в серых запавших глазах заблестели огоньки, лохматые брови приподнялись, и бледный румянец заиграл на щеках.

— Гляди, Андреич, солнышко! — громко воскликнул он.— Весна, весна идет. Ты погляди, какое оно яркое, солнышко. Эх, земля теперь какая ядреная! — Иван Митрич мечтательно вздохнул, нахмурился.— Пахать нужно, пахать. Эх, вспомню я, как раньше... Хоть и жилось погано, а выйдешь в степь — душа радуется, свежим воздухом не надышишься. Так, Андреич, добрая работа крестьянская.

— Добрая,— тихо отозвался Фролов.

Слова Панкратова неожиданно затронули его. И хотя он и сейчас знал, что никогда этого не сделал бы, но чтобы поддержать разговор, сказал тихо, стараясь придать своему голосу особую торжественность:

— Дай только выжить, Митрич. Выживу, пойду в отставку, сам займусь земледелием. Хорошо весной, Митрич, в поле, ах и хорошо. Просто сам за плуг взялся бы!

— А я вот не гожусь,— с тоской сказал Митрич,— куда мне, безногому. Эх и судьба!

Иногда Фролов пробовал просвещать своего соседа. Он рассказывал ему про известных полководцев, ученых, и Митрич, слушая эти рассказы, в душе был признателен ему, начинал думать, что Фролов совсем не плохой человек. Особенно понравился ему рассказ про Архимеда.

— Чудак этот Архимед! — повторял он.— Гляди, богатырь какой нашелся. У нас на селе дед Архип был, так тот семь пудов поднимал и точки опоры не искал. Вот это да, скажу я... Только и он надорвался, грыжу нажил. Это от семи пудов, значит, грыжа. А Архимед мир хотел ворочать. Да куда ему! Мир только большевики ворочать могут!

Митрич не заметил, как с бледного чахоточного лица штабс-капитана сбежала усмешка и под остры-

ми скулами нервно забегали желваки. Фролов стиснул зубы и промолчал. Он опять вспомнил о своем родовом имении, конфискованном большевиками. Слова Митрича задели больную рану.

Вечером Фролов долго расспрашивал Панкратова о положении на фронтах. Когда Митрич говорил об успехах красных, лицо офицера темнело, губы сжимались, а зеленоватые глаза становились холодными и жесткими. И тогда между ними вставало что-то новое, что резко отделяло одного от другого. Штабс-капитан смотрел на соседа молча и строго.

— Эх, Иван Митрич,— пересилив себя, с укором говорил он и вздыхал,— старые мы с тобой люди. Вот у меня виски уже седые, да и у тебя в голове белый волос есть. И должен я тебе сказать попросту, по-стариковски: остановись ты вовремя. Куда идешь? Разве ты правильно сделал — ушел к красным? Вот давай рассудим.— Фролов скинул с себя одеяло и сел, свесив с кровати босые ноги.— Жил ты спокойно и тихо,— сказал он,— две ноги имел, жену, детей. И жизнь тебе такую бог определил. Он всемогущий, Иван Митрич. Он создал мир, он поставил законную власть. И мы, жалкие рабы его, должны за это день и ночь молиться. А ты? Семью ты кинул, Иван Митрич, хозяйство кинул, а сам пошел с этими бандитами. И против кого пошел? Против законной власти. А власть же от бога.— Фролов укоряюще покачал головой.— Ты Библию читал?

— Ну, читал.

— А Священное писание?

— Тоже читал.

— Так вот: бог — он твой творец, или демиург по-гречески. Только он в состоянии познать любое явление природы, создателем которой является. Бог установил отношения между людьми, и люди не должны их нарушать, Митрич. А ты стал на сторону тех, кто пытается нарушить эти отношения.

Панкратов добродушно усмехнулся, погладил рыжую колючую бороду и хитровато подмигнул:

— И откуда у тебя такая набожность, Петр Андреевич? Ведь ты же офицер, а не поп. А речи ведешь, любой поп позавидует. Нет, Петр Андреевич, напрасно ты меня стращаешь. Нас так не первый год стращают. Нас батюшка-царь этак вот стращал-стращал, а мы

7 Заказ 1497

ему шею набок свернули. Керенский стращать надумал, и ему то же сделали. А теперь, Петр Андреевич, поздно стращать нашего брата.— Иван Митрич сделал паузу и с усмешкой оглядел Фролова.— Москва наша, Питер тоже наш. На юг конная продвигается, скоро весь юг займет. Вся Россия будет наша, советская!

Штабс-капитан презрительно улыбнулся, обнажая редкие желтые зубы, и смерил своего собеседника уничтожающим взглядом.

— Вся Россия наша...— передразнил он.— Не будет никогда этого. А про Антанту ты слыхал? Не ошибись, Митрич. Цыплят по осени считают.

Они поглядели друг на друга, и Фролов с великим удовлетворением отметил, что лицо Митрича нахмурилось и глаза обеспокоенно забегали.

— А ты скажи, Петр Андреевич, много у них танков и аэропланов?

Фролов раскатисто захохотал.

— Что ты, Митрич, вот чудак. Против такой силы не устоять красным.

Панкратов стал невеселым, хмурым.

— Так, американцы и англичане,— ни к кому не обращаясь, говорил он,— чего забыли они на нашей русской земле?..

Здоровье Фролова резко ухудшилось. Его непрерывно бил сухой кашель. Петр Андреевич еще больше пожелтел, острые скулы выдались вперед. Кашель вызывал, видно, сильные боли. В часы приступов лицо штабс-капитана становилось смертельно бледным, на лбу выступал холодный пот.

За последнее время Фролов сделался очень раздражительным. Один раз ночью он разбудил Ивана Митрича. Тот спал крепко и проснулся неохотно.

— Чего, Андреич? — недовольно спросил он.

Штабс-капитан сидел на кровати, подобрав под себя босые желтые ноги, глаза его торопливо бегали по палате.

— Страшно, Митрич... страшно,— хрипло прошептал он.

Иван Митрич насмешливо покачал головой:

— Хе... чудак ты, право. Чего ж тут бояться, а еще боевой офицер.

Но и насмешка на этот раз не подействовала на

Фролова. Он повернул голову к окну, с минуту смотрел в него, не отрываясь, потом вскрикнул и вскочил с кровати. Худой и высокий, в белых кальсонах и рубашке, похожий на привидение, он подошел к кровати Митрича и сел на табуретку.

— Ругай меня, Митрич, сколько хочешь ругай, только говори, ради бога, говори, иначе я сойду с ума,— бормотал Фролов.

Фролов повернул к нему синевато-бледное лицо и схватился за спинку кровати. Стыло блеснули остановившиеся глаза.

— Страшно, Митрич, страшно. Ходит, проклятый, под окном, ходит, черт его побери. Ты прислушайся, Митрич. Тсс...

Фролов поднял вверх вздрагивающий указательный палец.

— Ничего не понимаю. Кто ходит?

— Он...— прошептал Фролов.— Он... Афанасьев.

Петр Андреевич глубоко вздохнул и дотронулся ладонью до мокрого холодного лба.

— Покойник, Иван Митрич,— заикаясь от страха, прошептал Фролов.— Был у меня денщик Афанасьев Митька. Что ни дай — разобьется, а сделает. Заболела у него молодая жена, он просился к ней на побывку, но я не отпускал. Афанасьев не выдержал и сбежал самовольно. Его поймали, и я уговорил полковника дать ему сто шомполов. Вечером прихожу на конюшню, лежит он на сене весь в крови, опухший. Узнал меня и говорит: «Ну, ваше благородие, доконал ты меня, живодер, умру, буду каждый понедельник к тебе приходить». Через два дня скончался... После этого, Митрич, как вспомню, жуть берет. Ходит он под окном, каждую ночь ходит. Вот и сейчас, слышишь?

Фролов вздрогнул и заплакал. Митрич отвернулся от него. Если бы было светло, штабс-капитан смог бы заметить, как побелело лицо соседа по палате.

На другой день во время обхода в палате появился главный врач Стаценко. Митрич видел пепельно-серое лицо с заостренным птичьим носом и косой складкой на правой щеке.

— Как у вас, Панкратов? — спросил он, щуря карие глаза.

— А ничего,— хмуро ответил Митрич.— А вы кто, товарищ, будете?

Доктор поднял голову, безразлично пожал плечами:

— Главный врач госпиталя.

Митрич удивленно раскрыл рот.

— А-а-а,— пробормотал он.— Вот что. А я думал, что вы не такой. Либо лысый, либо седой весь. Ученый человек завсегда седым должен быть,— убежденно заключил он.

Стаценко нахмурился и хотел что-то сказать, но больной опередил:

— А скажите, и это ваша работа? — Митрич кивнул на пустое, аккуратно разглаженное по матрасу одеяло. Доктор не понял. Тогда Митрич печально усмехнулся.— Я про ноги,— пояснил он.— Ноги, стало быть, мне тоже вы отрезали?

В глазах Стаценко появилась холодная усмешка:

— Да, я.

Митрич с уважением поглядел на него.

— Вот как. Здорово вы их, значит, мне. Поди, часто приходится такие операции делать?

Стаценко махнул рукой и, поворачиваясь спиной к Митричу, сказал Фролову:

— Лежите вот... А там судьба наша решается. Вы понимаете, не сегодня-завтра решающий бой. Или мы, или эти вандалы...

Жизнь в госпитале была нерушимо спокойной. Дни тянулись медленно, страшно нудные и однообразные. По утрам выпадал свежий мартовский снежок. Был он мягким и пушистым, словно мох. Иван Митрич выздоравливал. Сестра с радостью отмечала перемену к лучшему.

— У вас-то и лицо посвежело, Иван Митрич,— певуче говорила Люба.

Панкратову это нравилось, и он счастливо улыбался, зажмуривая глаза. Люба напоминала ему молодость и первые, наполненные до краев счастьем, годы семейной жизни с Натальей. К штабс-капитану сестра относилась равнодушно. Фролов это понимал и, когда она приходила, старался держаться подчеркнуто холодно.

— Скучно у вас, сестричка,— цедил он сквозь ред-

кие зубы.— Вы бы хоть карты, что ли, достали, мы бы с Митричем в дурачка срезались.

Люба широко разводила руками и поправляла локоны под косынкой.

— Да я же забыла. У доктора шахматы есть!

Фролов снисходительно улыбнулся.

— Шахматы, шахматы. Что вы, сестричка, шахматы — игра трудная, логики требует, а разве Иван Митрич может.

Панкратов добродушно усмехнулся.

— А вы принесите нам все-таки шахматы, Люба,— попросил он.— Мы сыграем с Петром Андреевичем разочка два.

Брови Фролова насмешливо приподнялись:

— Неужели умеешь?

— Умею.

— Чудеса!

Штабс-капитан с достоинством пожал плечами.

Принесли шахматы. Иван Митрич расставлял фигурки любовно и неторопливо.

— Занятная штуковина — шахматы,— гудел он.— Я в них играть еще с германской войны выучился, только вот давно не брался.

Фролов хотел разыграть мат в три хода, но Митрич умело защитился, и игра приняла затяжной характер. Митрич морщил лоб и долго думал над каждым ходом. Фролов, наоборот, переставлял фигуры быстро, и с его бледных губ не сходила снисходительная усмешка. Еще не так давно он увлекался шахматами и теперь в своей победе над соседом был твердо уверен. Только когда противник снял обоих коней и ладью, он задумался и стал играть осторожнее.

— Ничего, хорошие шахматисты всегда так делают,— оправдывал он сам себя.— Ты же слаб, Митрич, вот я и отдал тебе ладью, чтоб игру осложнить.

— Мат, Петр Андреевич. Маток.

Фролов закусил губу.

— Давай еще раз,— бледнея, сказал он.

Снова расставили шахматы. Фролов теперь играл осторожно, решив во что бы то ни стало добиться победы. Но как раз перед тем, как Петр Андреевич должен был, по его расчету, нанести противнику поражение, Митрич скромно переставил королеву и усмехнулся.

— Снова мат,— как бы с сожалением проговорил он.— Слабо это вы, значит...

Фролов порывистым движением смахнул с табуретки шахматную доску и отвернулся от Митрича. Митрич басовито расхохотался.

— Эх, Петр Андреевич, ну чего злишься, все равно проигрыш за тобой останется.

Проигрыши Фролов переживал болезненно. В эти минуты он совсем переставал разговаривать с Митричем. Они часто спорили, и штабс-капитан, не выдерживая каменного спокойствия Митрича, раздражался и прекращал разговор. Он бледнел и бросал на собеседника долгие взгляды. Вообще же Фролов держался с достоинством, стараясь и в разговорах подчеркнуть свое превосходство. Митрич понимал это, и самоуверенный штабс-капитан с каждым днем становился для него все более чужим.

В тот день было страшно скучно. С утра над городом стоял сырой бесцветный туман, в палате было мрачно и серо. Митрич лежал молча и неподвижно. После обеда Фролов предложил сыграть в шахматы, и Панкратов по обыкновению согласился. Из четырех партий штабс-капитан выиграл только одну. Фролов понимал, что сейчас сосед самодовольно усмехается, радуясь своим победам. Фролов хотел сказать что-нибудь резкое, уничтожающее, но нужные слова, как назло, не приходили. Он нервничал и молчал до самого вечера. Он хотел думать, но это плохо удавалось. Мысли теснились в голове, обгоняя одна другую. Фролов успел подумать и о погоде, и о своей быстро развивающейся болезни, и об упрямом спокойном Митриче, который всегда держит наготове простое нужное слово или шутку для того, чтобы парировать любой ехидный вопрос. Фролов хотел вспомнить своих приятелей и знакомых женщин, но оказалось, что все они разбрелись по свету и никто не считал своим долгом навестить его в эти трудные дни. Фролову неожиданно до того стало жаль самого себя, что он повернулся к соседу и, заикаясь, проговорил:

— Митрич, а Митрич... тоскливо. Вот лежу, и никто про меня не вспомнит, никто не навестит. Сволочи, а не люди. Когда я был настоящим штабс-капитаном Фроловым, ведь все в гости ко мне ходили, шам-

панское глушили на брудершафт, с дамами на прогулки ездили. А теперь хотя бы одна собака письмо прислала.

Фролов ожидал сочувствия, но Митрич молчал, отвернув голову, и в серых его глазах вспыхивали искорки смеха.

— А за что тебя жалеть, Петр Андреевич? — спросил он вдруг.— Что ты сделал хорошего, живя на той земле, дарами которой пользовался? Ты же Митьку Афанасьева, денщика своего, не пожалел?

Вопрос был неожиданным. Фролов вздрогнул при этих словах и весь загорелся.

— Ты что? — отрывисто спросил он.— Кто дал тебе право меня судить? Я этого не позволю. Ты лучше лежи, не за свое дело берешься. Не таким, как ты, меня судить. Вашему брату, простолюдину, повадку дай, так и получится: посади свинью за стол, она и ноги туда же. Знаю я вас, все на один манер: лодыри да бездельники.

Он взглянул на Митрича и удивился. Впервые лицо соседа было таким строгим. Серые спокойные глаза не моргали. Митрич, не отводя от Фролова взгляда, с укором закивал головой. В его глазах погас гневный огонек, и Панкратов снова стал таким же спокойным, рассудительным, немного насмешливым.

— Эх, Петр Андреевич,— вздохнул он.— Вот когда мне, простому мужику, тебя жалко. Человек ты разумный, благородный, образованный, а простых вещей не понимаешь. Разве можно нас бездельниками называть? — голос Митрича словно подпрыгнул и в маленькой палате зазвучал громко и обвиняюще. Митрич приподнялся, насколько это позволило ему простреленное плечо, и штабс-капитан отчетливо увидел его лицо, небритое, загоревшееся неожиданным румянцем.— Разве мы бездельники? — осуждающе повторил Митрич.— Ты вот погляди, кто на поле работает. Мы, Панкратовы. Погляди, кто уголь из-под земли достает для того, чтобы вы могли разжигать свои камины? Мы, Панкратовы. Кого на ненавистную войну за батюшку-царя гонят? Нас, Панкратовых. Чьими руками вся Русь строилась? Нашими, панкратовскими. А ты родился в теплой комнате, над твоей люлькой сызмальства иностранная гувернантка стояла, тебя ожидала сытая жизнь, рысаки,

имение с лакеями и слугами. А что ты сделал полезного для матушки нашей России за свои полсотни лет, кроме того, что бил по зубам таких, как твой денщик Митька Афанасьев. Что?

Бледные губы офицера скривились в неестественной улыбке.

— Смеешься,— сквозь зубы выдавил Митрич.— Да сказать-то тебе нечего. Не народ лодыри, а такие вот, как ты, трутни. Вы счастье свое и деньги на нас, на Панкратовых, наживали, пока по загривку вам не дали... Ничего,— сказал Митрич после короткой паузы.— При Советской власти всем, кто работает, хорошо будет. А с вашим братом найдем что сделать. Тех, кто по-доброму покается, простим и работать наравне со всеми заставим, а тех, кто сопротивляться вздумает, тех мы военно-полевым судом да к стенке. Так вот. Как врагов революции!

— Что ж, и меня к стенке? — хрипло спросил Фролов и глянул на Митрича. Зеленоватые зрачки его глаз были настороженными, губы плотно стиснуты. Панкратов выдержал его злобный взгляд и спокойно прищурился.

— Если, Петр Андреевич, согласитесь с нашей политикой, будете жить спокойно, а если против пойдете...

— Так ты что? — резко перебил его штабс-капитан.— Думаешь, я с тобой одинаковыми правами соглашусь пользоваться?

Митрич провел ладонью по большому широкому лбу и вздохнул:

— Это уже воля ваша. Пеняйте тогда на себя.

— Что ж, ты меня расстреляешь? — глухо спросил Фролов и стиснул зубы. Он понимал свою полную беспомощность: простой необразованный мужик называл его на «ты» и разговаривал с ним, штабс-капитаном, потомственным дворянином, как с равным. Трудно сдерживаемая ненависть теперь мучила его. Митрич чувствовал, что Фролов еле сдерживается, что его злость вот-вот прорвется, но старался быть спокойным.

— Меня расстреляешь? — с усиливающимся гневом в голосе повторил Фролов.— Да наш род один из старейших. Мой дед у Кутузова состоял при штабе, когда Наполеона гнали.

— И очень хорошо, великий почет ему за это,—

перебил Митрич.— Твой дед, выходит, землю нашу русскую от лютых врагов спасал, а ты Россию этим врагам, англичанам и американцам, продать готов.

— Ты не смеешь о них судить! — закричал Фролов.— Ты, неграмотная образина, разве можешь разбираться в гуманизме цивилизованных народов?

Резкий кашель прервал речь штабс-капитана. Он уткнулся головой в подушку, и Митричу было видно, как худые плечи сотрясаются от приступов кашля.

Прошел час, а может, и больше. И вдруг где-то недалеко в ночное молчание ворвался грохот канонады. Задрожали стекла. Панкратов поднял голову и прислушался. С минуту снова было тихо. Но потом десятки торопливых пулеметных очередей и беспорядочная винтовочная стрельба взбудоражили ночь. На железнодорожной станции тревожно и пронзительно выли паровозы. Выстрелы слышались все ближе и ближе. Потом мимо окон промчался броневик, загрохотали на выбоинах мостовой колеса тачанок.

Фролов сполз с кровати, подошел к окну и стал коленями на подоконник. Длинными ногтями он расчистил замороженное стекло и смотрел на улицу, на противоположный подъезд, освещенный двумя фонарями. Митрич следил за его движениями, затаив дыхание, и нервно комкал короткими пальцами наволочку подушки.

За окнами что-то загремело, послышалось ржание коней, и вдруг Фролов соскочил с подоконника. Зеленоватые глаза его загорелись, а на бледных щеках пробились пятна багрового румянца.

— Наши, наши! — дико закричал он и кинулся в одних кальсонах и рубашке к дверям, рывком распахнул их и захлопнул за собой.

Митрич отер со лба холодные капли пота и подпер руками голову. «Неужели белые заняли город,— подумал он.— Скажет про меня Фролов или нет?»

В коридоре раздались тяжелые шаги солдатских сапог, откуда-то потянуло холодом. Порыв ветра распахнул дверь, и Панкратов увидел картину. В сопровождении одетых в короткие френчи и каски солдат мимо двери, словно призраки, проходили в одном нижнем белье раненые красноармейцы. Он разглядел рванувшуюся за ними с простертыми руками, чем-то вдруг

напомнившую подстреленную птицу, сестру Любу. Солдаты прикладами подталкивали раненых. Шум удаляющихся шагов уже раздавался на лестнице, когда до Митрича донесся исступленный крик Любы:

— Раненых куда?! Они же раненые все! Ой, да что вы с ними хотите сделать, изверги, пожалейте!

Сухой, совсем близкий винтовочный залп покрыл ее слова. Послышались стоны, потом снова выстрелы, и все смолкло. Несколько минут стояла мертвая тишина. Митричу было неудобно лежать на спине, и он повернулся на бок, но так, чтобы открытая дверь была в поле зрения. Снова шаги подкованных сапог загрохотали в коридоре. Шаги приближались. Митрич затаил дыхание. «Раз, два, три, четыре, пять»,— для чего-то сосчитал он. В маленькую палату вошел высокий толстый офицер и с ним трое солдат. Фролов тоже протиснулся следом за офицером. Кто-то на него накинул полушубок. Фролов почтительно кланялся вошедшему офицеру и заглядывал ему в лицо. Ему все-таки было холодно. Он подпрыгивал с ноги на ногу и растирал щеки, замерзшие, пока он ходил где-то по коридорам госпиталя.

— Господин полковник, я так счастлив, что могу с вами говорить,— вспыхивая от радости, бормотал он.— Вы сразу меня поймете. Я тяжело больной дворянин, не мог участвовать в боях, мне нужен покой, у меня плохие легкие, а здесь приходится лежать со всякой скотиной и выслушивать фанатический бред о коммунизме.

Полковник достал платок, коротко и гулко высморкался.

— Ол-райт,— отрывисто проговорил он.— Но, мистер Фролов, нам нужен свет, вы должен, пожалуйста, сделать свет.

Фролов выскочил из палаты, а через минуту возвратился с маленькой керосиновой лампой в руках.

— Так, так,— односложно выговорил полковник, равнодушно разглядывая Митрича.— Красный воин, значит. Твой место тюрьма, почему не ушел с конвой?

— Он безногий, господин полковник,— угодливо пояснил Фролов,— снарядом оторвало обе ноги.

— Ол-райт,— икнул полковник.

А Митрич лежал, не двигаясь, глядя на них широко

раскрытыми глазами. В этих глазах нельзя было прочитать ни тревоги, ни страха, ни волнения.

— Почему молчишь? — крикнул полковник.— Язык отрезали, что ли? Кто, коммунист?

Митрич поднял голову.

— Нет.

— Врешь,— полковник поднял над ним тяжелый волосатый кулак.

— Большевик.

Полковник опустил руку. Он глядел на этого безногого человека даже с некоторым удивлением, а Фролов торопливо подошел к постели Панкратова и смерил его презрительным взглядом.

— Ну, как? — показывая желтые зубы, спросил он.— Как твоя революция, победила?

И Митрич молча выдержал его взгляд, спокойно перенес ядовитую усмешку.

— Еще победит,— не повышая голоса, сказал он,— рано торжествуешь. Калеку застрелить ты, известное дело, можешь, на это ты обучен. А победу вот празднуешь рано. Придется еще с нашей русской земли удирать твоим иностранным благодетелям. Будет и на нашей улице праздник, я до него не доживу, так дети доживут.— Митрич локтями уперся в подушку и прикусил нижнюю губу.— Жалко только, тебя расстреливать не придется.

Фролов подавился громким визгливым смехом.

— Конечно, не придется,— согласился он.— Раз революция ваша будет задушена, то на помещика Фролова никто руки не поднимет.

— Не потому,— хмуро перебил Митрич.

Штабс-капитан пожал худыми плечами, и усмешка сбежала с его лица:

— Так почему же?

И тогда Митрич усмехнулся широкой презрительной улыбкой.

— Сам сдохнешь, сволочь,— спокойно сказал он.— Пулю на тебя портить не станут наши.

Фролов ошеломленно отступил. Его лицо на секунду стало бледным. Но вот красные пятна снова блеснули на впалых чахоточных щеках. Большой кадык подскочил сначала вверх, потом вниз и остановился, как у человека, которому не хватило воздуха.

— Ты... ты это мне?! Молчать! — хрипло закричал Фролов.— С кем говоришь!

Руки его конвульсивно вздрагивали, стараясь найти какой-то нужный предмет. Фролов торопливо повернулся направо и протянул длинные тонкие ладони.

— Господин полковник, дайте мне, пожалуйста, во имя нашего общего дела, дайте...— забормотал он, и пальцы потянулись к ремешку, на котором висел у полковника кольт. Полковник в это время спокойно закуривал сигару, с любопытством следя за разговором.

— Зачем? — выпуская широкую струю дыма, сказал он Фролову.— Вы хотите пошутить с этим безногим большевик? Не возражаю.

Фролов расстегнул кобуру и нащупал холодную рукоять. Дрожащими руками он взвел курок и начал целиться. Он видел перед собой открытое лицо Митрича, его широкие серые глаза. Он хотел, чтобы хотя бы на мгновение в них мелькнул испуг или просьба о пощаде, но на него глядели все такие же спокойные глаза. Штабс-капитан увидел серые зрачки, наполненные гневом.

— Стреляй, сволочь,— закричал Митрич.— Стреляй в Панкратовых. Нас, Панкратовых, все равно не убьешь, нас, Панкратовых, много! — И неожиданно Митрич вспомнил лицо человека с большим открытым лбом и прищуренными глазами, человека, которого знал каждый боец, каждый крестьянин и рабочий.

— Да здравствует Ленин! — крикнул он.

Фролов торопливо нажал курок. Он видел, как покачнулось вправо лицо Панкратова, и выстрелил снова. Но Панкратов зашевелился, и тогда Фролов третий раз спустил курок. Тяжелое тело Митрича повернулось на бок и глухо упало с кровати на холодный немытый пол. Фролов сделал шаг вперед и остановился с опущенным вниз кольтом над убитым Митричем. Ему показалось, что и мертвый Митрич неожиданно раскроет глаза, с твердым укором посмотрит на него и снова начнет говорить, шевеля губами, спокойно и медленно нанизывая одно слово на другое, задавая вопросы, на которые он, Фролов, опять не найдет ответа.

Фролов молча попятился.

Ему стало страшно.

Послесловие к подвигу

Повесть

Памяти фронтового друга,
Героя Советского Союза
Александра Георгиевича Наконечникова

1

Есть высота поднебесная, и есть высота человеческая. Иногда они сливаются воедино, и одна как бы оттеняет другую, ей соответствующую. Но сначала все по порядку.

Жаркий июньский день подходил к концу. Голубое, словно отполированное небо висело над проспектами и площадями, дворцами и серыми памятниками, над закованной в бетонные набережные Москвой-рекой. Когда на перекрестках у красных светофоров на мгновение замирало уличное движение, над горячими капотами автомашин плавал синий от бензиновых паров воздух. В подземные переходы и станции метрополитена уже хлынул нескончаемый поток людей, возвещающий о наступлении часа пик, такого нелегкого для всех больших городов мира.

Опираясь левой рукой на узкий белый подоконник, Буров распахнул фрамугу. Со стороны Красной площади в его небольшой номер ворвался ветерок, и сразу стало легче. Он с наслаждением разделся и шагнул в ванную. Все-таки за этот день он чертовски устал. С семи утра и до шести вечера «Волги», выделенные для делегации металлургов из ГДР, которую он сопровождал, намотали на свои новенькие покрышки по триста километров. Плюс к тому трехчасовая научно-техническая конференция на экспериментальном заводе и затянувшаяся экскурсия в научно-исследовательский институт. Короче говоря, было от чего устать. Буров с удовольствием подставил лицо под струю холодной воды. Мылся долго и сосредоточенно. На три телефонных звонка он никак не прореагировал. Лишь на чет-

вертый подошел и, вытирая мокрое лицо хрустящим вафельным полотенцем, неохотно снял трубку. Вздрагивающий от скрытого смеха голос Алены нельзя было спутать ни с чьим другим.

— Полагала, не застану тебя так рано. А ты уже на своей штаб-квартире. Молодец. Ночевать сегодня приедешь?

— Едва ли, Алена,— вздохнул Буров.

— Смотри, Николай. Дети скоро перестанут тебя узнавать.

— Это еще не самое страшное,— отшутился он,— у детей быстро восстанавливается память. Лишь бы не перестала узнавать женушка.

Бурову совсем недавно исполнилось двадцать семь. Хорошо сложенный, темноглазый, он отличался той добротой, которой отличаются все сильные от природы люди. Вздохнув, пояснил:

— Пойми меня правильно, Аленушка. Мне своих подопечных еще в Большой театр сводить надо, потом ужин. Раньше часа ночи никак вырваться не смогу. А к нам домой из гостиницы «Россия» не меньше полутора часов езды.

Он улавливал в трубке ее громкое недовольное дыхание.

— Аленка, согласись с доводами.

— А ты не лукавишь? — засмеялась жена.— Может быть, ты в какую-нибудь немочку из Дрездена или Шверина влюбился?

— Угадала, Алена,— развеселился и Буров.— В нашей делегации есть именно такая. Но на пути к изъявлению чувства очень серьезное препятствие...

— Ты — энергичный,— не дала ему договорить жена,— ты любое препятствие сумеешь устранить.

— Это не в моей власти, Аленка. Дело в том, что инженеру из Иены фрау Гертруде Ригель завтра исполнится пятьдесят четыре. Я должен еще позаботиться о торте для нее. Спасибо, что напомнила. Ты свой допрос закончила? А то до смерти хочется полчасика подремать.

— Подремли, бедненький. А завтра приезжай, иначе не на шутку рассержусь.

Но Бурову решительно не повезло. Едва успел он облачиться в пижамные брюки, телефон зазвонил снова,

и он услышал в трубке мужской голос, старательно выговаривавший русские слова. За четыре дня общения с членами делегации Буров научился узнавать каждого из них по голосу. Сейчас он безошибочно определил, что это звонит инженер магдебургского завода Гредель, сорокалетний худощавый, несколько застенчивый блондин с очень спокойными, немножко грустными глазами.

— Геноссе Буров,— заговорил он, волнуясь, — вы бы не могли уделить мне немного минут?! Я все время хотел застать вас одного, но как-то не получалось. Поверьте, я не буду утомлять вас своим разговором.— Он помедлил и прибавил: — Но заранее должен вас предупредить: то, о чем я буду говорить, никакого отношения к нашим сталелитейным проблемам не будет иметь. Это будет общечеловеческий разговор, и по очень серьезной теме.

— Заходите, товарищ Гредель,— вяло согласился Буров и положил трубку, понимая, что ни о каких тридцати минутах отдыха теперь не может идти и речи. К приходу Гределя он успел вновь одеться и поправить покрывало на кровати.

— Садитесь,— жестом указал он на диван. Узкие, неподдающиеся загару руки инженера неспокойно лежали на обтянутых серым костюмом коленках, и уже по одному этому Буров догадался, что разговор будет не совсем обычным.

— Хотите стаканчик боржоми? — спросил он.

Немец молча сделал отрицательный жест.

— Сигарету? — поинтересовался Буров.

Но снова последовал отказ. Тонкие губы насмешливо покривились.

— О, данке, данке, я совсем не ради этого вас беспокою. Знаете, геноссе Буров, нам уже осталось каких-то четыре дня гостить на вашей прекрасной земле, а я все хожу и думаю, как к этому подступиться, кому и каким образом сказать... И не скрою, меня очень-очень этот короткий разговор тяготит.

Буров озадаченно улыбнулся:

— Так говорите. Знаете, у нас, у русских, есть точная пословица: берите быка за рога.

Гредель снял ладони с коленок и закивал головой, соглашаясь:

— О, да! Русские пословицы — это моя слабость.

Как они точно отображают ваш национальный характер. Вот и на этот раз вы правильно сказали. Давайте действительно брать быка за рога. Я уже предупредил, что мой разговор никакого отношения к нашим сталелитейным делам иметь не будет. Я буду говорить о тысяча девятьсот сорок третий год.

Буров удивленно отодвинулся от него вместе со стулом.

— Но позвольте, геноссе Гредель, в сорок третьем вам было... лет четырнадцать?

— Ошибаетесь,— грустно улыбнулся немец.— Всего лишь двенадцать, и я жил в небольшом городке на берегу Эльбы.— Он запнулся и не сразу продолжил: — Я имею в виду те дни, когда произошло событие, о котором буду рассказывать.

Буров скрестил на груди руки, с напряженным интересом всматриваясь в собеседника.

— Продолжайте, я вас очень внимательно слушаю.

— Так вот. Представьте себе провинциальный городок этого времени с узкими улицами и знаком свастики на ратуше, с больницами, превращенными в госпитали, и затемнением по ночам, с развалинами на месте упавших бомб... Мой отец в сорок втором скончался от туберкулеза, а в семье, как у вас говорят, четверо полуголодных ртов. Я — главная рабочая сила. Чтобы прокормить больную мать и двух сестренок, я работал в госпитале, а при случае ходил на вокзал встречать поезда, подносил чемоданы офицерам, прибывшим с фронта или, наоборот, отправляющимся на фронт, получал за это по двадцать — тридцать пфеннигов. Однажды, ничего не заработав, стоял я на берегу Эльбы, думая о том, как появиться дома с пустыми руками. Вдруг ко мне подошел незнакомый человек в форме офицера «люфтваффе», оглянулся по сторонам и заговорил на очень плохом немецком языке. Сначала я решил, что это румын или итальянец. Он стал расспрашивать меня, кто я, из какой семьи, где мой отец, мать. Выслушав ответы и оглядев мои стоптанные башмаки из эрзац-кожи, незнакомец насмешливо сказал: «Да, парень, судя по всему, ты действительно родным племянником рейхсмаршалу авиации Герингу не доводишься. Да и министру пропаганды Геббельсу тоже. Так

вот, слушай. Ты, вероятно, парень не глупый и веришь в то, что война скоро закончится».

— О да! — ответил я, как нас всегда учили и в школе и в гитлерюгенд.— Победой войск фюрера!

Незнакомец усмехнулся и перебил: «Не будем, парень, гадать на кофейной гуще. Как бы то ни было, но война закончится. Ты молод, и у тебя все впереди. Не исключено, что ты когда-нибудь попадешь в Москву или в другой какой-нибудь русский город. Вот тогда подойди к первому человеку, который тебе покажется заслуживающим доверия, и попроси его найти летчика Балашова и передать ему, что майор Нырко ушел из жизни несломленным». Я остолбенел от этих непонятных слов. А немецкий офицер в летной форме еще более озадачил меня новым вопросом: «Что такое флюгплац, знаешь?» — «Знаю»,— ответил я. «Где он у вас находится?» Я показал за Эльбу. «Правильно,— усмехнулся незнакомец.— Так вот, приходи сюда послезавтра и постой на этом же самом месте от двенадцати до часу дня. У меня один шанс из тысячи, но больше мне довериться некому. О том, что увидишь, расскажи потом летчику Балашову. Почему-то я верю, что Витька обязательно останется в живых». Сказав это, незнакомец ушел, и только тогда я, мальчишка, с испугом подумал: а что, если это был не румын и не итальянец, а русский. Но я тотчас же отогнал от себя эту мысль, как нелепейшую. Здесь, на таком расстоянии от Восточного фронта, и вдруг русский! И в какие дни. Когда войска фюрера перешли Днепр, стоят на берегу Волги. Как я, жалкий мальчишка, мог только об этом подумать.— Гредель на минуту замолчал. Тонкие его пальцы нервно гладили черное основание настольной лампы, явно не находя себе места.— Позвольте, геноссе Буров. Я сначала отказался, но это было опрометчиво... если можно, разрешите сигарету.

Немец закуривал, и Буров отметил, что пальцы его дрожат.

— Скажите, товарищ Гредель, и вы пришли в назначенный час на набережную?

Инженер гордо встряхнул головой:

— Да. Пришел. Ибо если бы я не пришел, этого разговора у нас с вами не было бы.— Он высек огонь из какой-то простенькой зажигалки, в поисках которой

долго шарил по своим карманам.— Я пришел туда задолго до двенадцати. День был промозглый, с Эльбы тянуло сырым ветром. Помню, что на середине реки стояла на якоре неразгруженная баржа, а над нею кружились чайки. Небо было пасмурным, и только сквозь разрывы облаков проглядывало солнце. Часы на ратуше пробили двенадцать, затем половину первого, затем час, но я ничего особенного не отметил в окружающей обстановке. Старенькое пальто на вискозной подкладке было плохим союзником в этот холодный полдень, и я уже собрался идти домой, когда в небе раздался звук мотора. Прямо на меня со стороны аэродрома несся «мессершмитт», такой же серый, как и все, что я видел в этот день. Он немножко взмыл над водой, а потом снизился и скользнул над моей головой. Однако я успел заметить, как летчик в кабине истребителя, склонив голову в мою сторону, приветственно поднял руку. Самолет развернулся и снова промчался надо мной. Во второй раз я уже совершенно явственно определил: да, летчик мне махал. Вероятно, это был тот самый вчерашний незнакомец. А потом в низком небе забухали зенитки. Нас часто бомбили, и я, как и все мальчишки, мои ровесники, уже прекрасно знал, как бьют зенитки. Вы никогда не слышали, как бьют зенитки, геноссе Буров?

— Откуда же? — усмехнулся Буров.— Ведь я же в сорок восьмом...

— Вот и хорошо,— без улыбки отметил Гредель.— Пусть и внуки ваши никогда не услышат этого противного «пах-пах-пах»... Зенитки били все громче и громче, и я остолбенел, когда понял, что целятся они в наш немецкий «мессершмитт» с крестами на крыльях и свастикой на хвосте. Целятся в этого непонятного мне совершенно летчика. А он вдруг пошел на высоту, скользнув из кольца разрывов. Потом его машина как-то резко выпрямилась и ринулась в отвесное пике. Как пикируют самолеты, мы, мальчишки, видели уже не однажды.— Гредель затушил недокуренную сигарету и горько вздохнул.— Пить захотелось,— сказал он, поглядев на бутылку минеральной воды. Буров торопливо налил боржоми в стакан. Немец сделал несколько жадных глотков.— Я ожидал, что после пикирования самолет опять наберет высоту и появится над серыми

зданиями нашего города. Но этого не случилось. Раздался огромной силы взрыв, над аэродромом взметнулся целый столб пламени и дыма. Вот и все.— Гредель вдруг каким-то суетливым движением полез в нагрудный карман, извлек оттуда старенькую трубку с изображением коварно ухмыляющегося Мефистофеля.— Совсем забыл. При встрече ваш летчик отдал мне ее на тот случай, если я когда-нибудь разыщу Балашова.

Буров взял трубку, долго рассматривал ее, потом вернул немцу:

— Спасибо, товарищ Гредель. Я обязательно постараюсь разыскать летчика Балашова. Если он... если он, разумеется, остался в живых.

2

Окна парадной стороны госпиталя выходили в лес. Вдоль широкой асфальтовой дороги до самых въездных ворот, словно исправные часовые, стояли рыжестволые сосны, а подальше от них, будто пугливо отбежав, светлели молоденькие березки. Нарядные клумбы с пышными георгинами и астрами были разбиты у входа в желтое двухэтажное здание. Раньше здесь была дача одного из членов правительства. Но с тех пор, как линия фронта вплотную подошла к Вязьме, хозяин отдал ее на нужды фронта, а командование решило разместить здесь очередной стационар для тяжелораненых солдат и командиров Красной Армии, обороняющих дальние подступы к столице. За георгинами и астрами уже некому было ухаживать. Небольшие комнаты, заставленные произведениями краснодеревщиков, наполнились стонами, а из просторной гостиной мебель пришлось убрать совсем и поставить в центре операционный стол, за которым с рассвета и до поздней ночи орудовал теперь громадный краснолицый хирург Коваленко с грубым простуженным голосом и сердитым взглядом белесых глаз. Он оперировал лишь самых тяжелых. Но «самых тяжелых» было так много, что главному хирургу по десять — четырнадцать часов приходилось бывать на ногах. Когда же становилось совсем невмоготу, то раз или два за свою тяжелую смену он просил у старшей сестры «фронтовые сто грам-

мов», стыдливо прибавляя при этом: «Для того, чтобы не заснуть и чтобы рука не дрожала».

Двадцатитрехлетнего командира авиационного истребительного полка майора Федора Нырко главный хирург оперировал около часа — так много пришлось извлечь из его тела мелких осколков. Потом, смахивая с широкого лба пот рукавом не первой свежести белого халата, Коваленко заглянул в журнал и повелительно распорядился:

— Это тот самый летчик, которому командующий фронтом просил создать самые благоприятные условия для выздоровления. Поместите в одиннадцатую одиночную палату на втором этаже.

И майор оказался в небольшой угловой комнатке, где совсем недавно звучал звонкий смех внуков хозяина дачи. Когда он очнулся, было уже около полудня, и в комнату сквозь полуоткрытое окно пробивались солнечные лучи яркосентябрьского дня. Майор увидел белый подоконник, зеленые листья фикуса, легкую марлевую занавеску с нашитыми на нее розовыми матерчатыми корабликами. Не сразу понял, что он в госпитале. Потом он вспомнил все пережитое, до мельчайших подробностей воскресил в памяти события минувшего дня. Да! То был бой! Жаркий, отчаянный, какие не всякий раз складываются на фронте. Двенадцать «мессершмиттов» навалились на них. А их было только трое: он, лейтенант Плотников и его любимец и постоянный ведомый Виктор Балашов, только что сменивший три кубика в голубых петлицах на одну капитанскую шпалу. Этих смелых, находчивых парней он любил и не зря взял в трудный полет, заранее предвидя, что завершится он численно неравным боем. Когда «мессершмитты» стали разворачиваться перед атакой, Нырко, охваченный азартом, успел крикнуть по радио:

— А ну, сынки, держись! Карусель начинается мировая. Смотреть за хвостом соседа.

Их было всего трое, но на высоте в четыре тысячи метров они сумели стать в круг, так что сзади летящий всегда видел хвост впереди летящего и мог отсекать вражеские атаки. А потом все завертелось, смешалось. Свистели «мессершмитты», свистел ветер, рвали небо желтые и зеленые трассы. И все это покрывал надтреснутый рев мотора. Нырко сумел атаковать ведущего

немца, длинной очередью ударил по «мессершмитту», едва лишь мелькнул в кольце прицела его силуэт. Очевидно, очередь пришлась по бензобаку, потому что вражеский самолет мгновенно взорвался в воздухе. Нырко заметил, что другой «мессер» стал заходить в хвост лейтенанту Плотникову. «Сережка его сейчас не видит,— промелькнула торопливая мысль.— Никто, кроме меня, его не спасет!» А рука уже поставила истребитель в вираж и палец нажал на гашетку. И снова удача. Второй «мессер» задымил и медленно отвалил в сторону. «Ребята, бей их!» — в буйном азарте закричал Нырко, но сзади что-то затрещало и голова наполнилась звоном. Майор потянул ручку на себя, но машина уже не набирала высоту. Она заваливалась на левое крыло, а тело слабело и наливалось тупой безотрадной болью. «Это уже меня,— с горечью подумал майор.— Меня сбили». Нырко почувствовал, что волосы под шлемом слиплись от холодного пота. Неожиданно в нос ему ударил острый запах дыма, и в ту же минуту перед глазами вырос жаркий столб пламени. Стрелка осатанело крутилась под стеклом высотомера. «Я падаю,— подумал он,— в запасе у меня считанные секунды, надо ослабить это бешеное вращение. Нырнуть за борт, нащупать потом кольцо парашюта». Почти у самой земли раскрыл он парашют. Оставалось каких-нибудь пятьсот метров. И вдруг за спиной послышался нарастающий свист «мессершмитта». Заплясали перед глазами красные огоньки трассирующих пуль, что-то обожгло ноги, пронизало все тело мгновенной болью. Желтое скошенное поле возникло перед глазами. Нужно было приземляться, и Нырко по привычке согнул ноги в коленях. Но когда он толкнулся ступнями о землю, страшная боль заставила отчаянно вскрикнуть. В глазах помутнело, поле из желтого внезапно превратилось в зеленое, потом все поплыло, и майор упал на землю лицом в мокрую от росы колючую стерню.

Больше он ничего не помнил. Да и нужно ли было помнить остальное. В госпитальной палате было тепло, уютно, тихо. Стены, отделанные розовыми обоями, успокаивали глаза. И только правая нога, тяжелая от бинтов, подвешенная к высокой спинке кровати, насторожила. Однако Нырко сразу почувствовал, что она не ампутирована, и успокоился. «Человечка бы сюда како-

го-нибудь,— с тоской подумал Нырко,— чтобы все пояснил, что со мной было». Никогда не лежавший ни в больницах, ни в госпиталях, он сразу вспомнил, что в таких случаях прежде всего положено звать сестру. А когда вспомнил, то, набрав полную грудь воздуха, выкрикнул:

— Сестра, пожалуйста... зайдите.

Но сестра не откликнулась. Вместо нее в комнату вошел громадный краснолицый человек с засученными по локоть рукавами белого халата на мускулистых руках. Белые усталые глаза с тонкими красными прожилками уставились на майора.

— Вы, кажется, Нырков? — спросил он гулким бесцеремонным голосом.

— Возможно,— покоробленно ответил летчик.— Да только не Нырков, а Нырко.

Вошедший насмешливо буркнул:

— Простите, кажется, не учел вашего запорожского происхождения.

— Угадали,— прищурился летчик,— я действительно по отцу казачьего запорожского рода. А мать русская, да и вырос в России.

— Ладно, майор,— добрее проговорил вошедший.— Исправлюсь. Меня ты, разумеется, не помнишь, да и где уж. Я тебя в течение часа резал на операционном столе, а ты ни разу в сознание даже не пришел. А ведь я из тебя, мой милый, вчера двадцать три осколочка вытащил. Спасибо скажи, что санитары из двадцатой стрелковой дивизии быстро доставили, а то бы и гангреной могло кончиться. Теперь все позади. Давай знакомиться. Я — главный хирург. Коваленко Андрей Иванович. О тебе все знаю. Восемнадцать самолетов на нашем фронте лишь один ты угрохал. Если есть у тебя вопросы,— задавай.

Нырко скосил глаза на подвешенную в тяжелых бинтах ногу:

— Значит, это вы меня так разукрасили?

— Считай, что я.

— Красивая работенка, ничего не прибавишь. А скажите, долго ли теперь лежать?

Коваленко зевнул, широкой ладонью прикрывая рот.

— В доброе мирное время для того, чтобы выздороветь как следует, вам бы полагалось пролежать меся-

ца два. Затем поехать на месяц в Одессу полечиться грязями. Но, увы, такая поездка сейчас невозможна. Стало быть, выход один. Надо поскорее снимать гипс с вашей ноги. Полагаю, через месяц мы это сделаем. Только зачем вы торопитесь? Неужели для того, чтобы как можно скорее опять подставить свою ногу под огонь зениток и «мессершмиттов»?

— Только для этого,— мягко улыбнулся Нырко, и черные глаза его под широкими бровями сразу потеплели.— Иначе мы никогда не отбросим врага от Одессы и мне не придется долечиваться грязями.

Главный хирург присел на стул и похлопал по своим коленям широкими ладонями.

— Вот как! — басовито расхохотался он.— Люблю летчиков за веселый нрав. Считайте, что я за вас. Будем надеяться на то, что из списков полка вас исключать до возвращения не будут.— Он немножко помолчал, плотно стиснул полные губы и неожиданно закончил, как отрубил: — В строй вы, бесспорно, вернетесь, даю вам голову на отсечение. А вот будете летать или нет, это вопрос, как говорится, уже другой категории. Все-таки двадцать три осколка, задет нерв, повреждена кость. Пусть незначительно, но повреждена. Не знаю, дорогой потомок запорожцев, честное слово, не знаю.

— Послушайте, Андрей Иванович,— с нарастающей злостью заговорил Нырко, каменная фигура хирурга внезапно показалась ему надменной, а его басовитый голос снисходительным.— Вы заблуждаетесь. Я вам не нищий, вымаливающий подаяние. Я не прошу, а требую. Знаете, в чем заключается моя обязанность летчика-истребителя?

— Просветите,— пожал плечами Коваленко и снова зевнул.

— В том, чтобы с каждым проведенным воздушным боем сокращать на какое-то количество единиц самолетный парк Геринга и его кадры.

— Допустим.

— А знаете, в чем ваша обязанность хирурга военного госпиталя?

— Очевидно, нет,— снова захлебнулся Коваленко хриплым смехом.

— Конечно, нет,— сверкнул на него глазами Нырко.— Ибо если бы знали, то не разговаривали бы в та-

ком ключе. У вас одна обязанность — вернуть меня в кабину истребителя во что бы то ни стало! — Майор ударил кулаком по матрасу, так что сетка взвизгнула.— Представьте на минуту наш огромный советско-германский фронт от Черного и до Баренцева моря, как иногда пишется в сводках Совинформбюро. Представьте сотни госпиталей и сотни летчиков, которые ежедневно попадают на такие вот больничные койки. Так разве есть среди них хотя бы один, который не мечтал о новых боевых полетах и о том непередаваемом ощущении, которое рождается, когда ты видишь, как падает на землю сбитый тобою вражеский самолет? Какое же вы имеете право лишать меня надежды?

Нырко умолк и только теперь заметил, что хирург, оставаясь сидеть в той же позе и продолжая упираться широкими ладонями в свои колени, спал. Взрыв громкого храпа огласил комнату. «Черт побери! — с гневом про себя подумал Нырко.— Издевается, что ли? Я ему о самом сокровенном, а он храпит!» Нырко покашлял. Коваленко вздрогнул и раскрыл светлые глаза.

— Вот черт! Прости меня, майор. Сон сморил. Знаешь, что я первым делом сделаю, когда мы закончим войну и разобьем фашистов? Трое суток подряд спать без просыпу буду. Видишь, какая у меня простая мечта в отличие от твоей.

Он внимательно вгляделся в черные глаза летчика, и на секунду ему показалось, будто в этих глазах блеснули слезы. Хирург терпеть не мог, когда в его присутствии начинали плакать.

Встав со стула, он сделал два шага к двери, потом обернулся и выпрямился.

— Ну, знаете ли,— холодно сказал он,— в вашем возрасте — и слезы... Это стыдно, молодой человек.

Но вдруг увидел, что израненный летчик вовсе и не собирался заплакать. И хирургу самому стало стыдно, что он мог заподозрить майора в этом. То, что Нырко о своем желании вернуться на боевую работу говорил со злостью, что в его голосе не было никакой мольбы, как-то необычно подействовало на Коваленко. Было что-то особенное в этом черноглазом молодом парне, чего он, главный хирург, не замечал в других, хотя за свою жизнь повидал сотни людей, в судьбу которых ему приходилось вмешиваться. С теми все было проще

и яснее. Выслушав его прямые доводы, больные либо впадали в уныние, либо по нескольку раз переспрашивали о своей судьбе, в надежде, что хирург как-то смягчит сказанное накануне, произнесет слова совсем противоположные тем, что говорил сначала. А этот не заглядывал ему в глаза. Он разгневанно требовал, и только. И в душе у Андрея Ивановича пробудился какой-то новый голос, шевельнулось далекое, еще неосознанное чувство уважения к этому крепко сложенному, искалеченному войной человеку, горько подумалось: «Черт побери! Режу, режу, в тело человеческое заглядываю, а в душу хоть когда бы!» И ему, хирургу, у которого редко находились для пациентов ласковые слова, захотелось утешить раненого. Он молча прошелся по маленькой палате, остановился у полураскрытого окна и, глядя на прорубленную в редколесье асфальтовую въездную дорогу, сказал:

— Слушай, Федор... по-моему, Федор Васильевич?

— Федор Васильевич,— подтвердил с усмешкой Нырко,— по всему видно, в мои анкетные данные вы заглядывали.

— Положено,— буркнул Коваленко.— Но ты слушай. Знаешь, с какой поры появилась у меня эта несносная привычка говорить пациенту любую правду? С того дня, когда я потерял единственного сына. Это было давно, когда я еще кончал медицинский. Жорке было восемь, и он заболел дифтеритом. Я бегал по Москве как угорелый, призывал самых выдающихся светил, но они скрывали от меня — отца — правду, заставляли жить в мире надежд и иллюзий, уверяли, что ребенок выживет, а он умер на моих руках. И я поклялся тогда, что если стану хоть когда-нибудь настоящим хирургом, всегда буду говорить больным и их родственникам одну только правду. А теперь о тебе.— Он хмуро провел ладонью по колючей щеке.— Врать не намерен. Пока раны не заживут, трудно говорить, будешь летать или нет, дорогой Федор Васильевич. Вот есть у тебя где-то дом, жена, дети.

— Еще не успел нажить,— грустно вздохнул раненый,— только старики.

— Ах да... двадцать три года...— понимающе закивал Коваленко.— Однако дело не только в этом. Идет большая губительная война, и ты на ней пролил кровь. За

них, за стариков своих, пролил и за тысячи других людей, о существовании которых даже не догадываешься. Если обратиться к теории вероятности, то кто его знает, быть может, тот самый «юнкерс», который должен был сбросить бомбы на этот госпиталь, тобою был сбит где-то в окрестностях Вязьмы или Гжатска. Значит, ты и так уже много сделал на этой войне, дорогой товарищ майор. Так зачем же впадать в пессимизм? Ждать, ждать и ждать, Федор Васильевич. У летчика-истребителя должны быть крепкими нервы. Что же касается ворчливого старика Коваленко, то будьте уверены, он все сделает, чтобы вернуть вас в кабину истребителя.

— Спасибо, Андрей Иванович,— тихо поблагодарил его майор Нырко.

3

Глубокой ночью в госпиталь прибыла очередная партия раненых. В зыбучей полуночной темноте из крытых брезентом ЗИСов санитары выгружали носилки. Работали молча и быстро. Кто-то засветил фонарик и тотчас же раздался предостерегающий голос:

— Ты что, Рапохин? Очумел разве? Не слышишь, фриц на верхотуре ухает. Фугасочку оттуда в одну тонну скинет — ни от тебя, ни от госпиталя ничего не останется.

Фонарик погас, а тот же голос, но уже с угасшими нотками возмущения, обратился к кому-то из раненых:

— Лейтенант, а лейтенант, тебя что же, под самой Вязьмой ранило? Ну и докатились. Это же вы прямую дорогу на Москву Гитлеру открыли.

— Тебя среди нас не было, защитник отечества,— зло откликнулся с носилок раненый.— Только поэтому и докатились.

Кому-то при разгрузке причинили, очевидно, боль, и молодой стонущий голос разнесся по всей округе. Вскоре все стихло, и майор Нырко заснул.

Когда он очнулся, было уже утро и свет ясного осеннего дня лез в комнату сквозь отдернутую занавеску. Перед ним стояла в свежем белом халатике и высокой наколке молоденькая сестра Лиза, худенькая, узколицая, с большими сияющими голубыми глазами, которые никакая бессонница не в силах была затуманить. Нырко

прозвал ее Стрелкой. Когда он впервые ее так окликнул, девушка остановилась и озадаченно спросила:

— Стрелка? А почему, собственно, стрелка?

— Да разве не понимаешь? — безобидно рассмеялся Нырко.— Ты же вся состоишь из стрелок. Брови прямые, как стрелки, рот тоже стрелка, даже морщинки на лбу на стрелки похожи.

Девушке это понравилось, и она польщенно улыбнулась:

— Вот и зовите так. Обижаться не буду.

Сейчас она стояла перед ним, смущенно теребя узкий поясок на халате:

— Не знаю, как и начать, товарищ майор. Зашиваемся мы с ранеными. Ночью столько подбросили. Подполковник медслужбы Коваленко поручил вас спросить, не станете ли возражать, если мы в вашу комнатку еще одну койку поставим. Только на время, дня на три-четыре, не больше.

Нырко глубоко вздохнул:

— Чего же спрашивать. Если надо, так ставьте.

Так, в бывшей детской, отведенной для раненого летчика, появился еще один жилец, интендант второго ранга Аркадий Петрович Птицын, человек в возрасте, с красным добродушным, весьма полным лицом, толстыми губами и рыхлым подбородком. «Эка, каким меня толстяком судьба наградила»,— усмехнулся про себя Нырко, внимательно разглядывая соседа. И так как от природы Федор Васильевич был человеком любознательным, то уже несколько минут спустя он затеял ознакомительный разговор.

Жизнь устроена так, что на вокзале в ожидании поезда, на аэродроме в ожидании погоды, и тем более в госпитальной палате в ожидании выздоровления человек быстрее познает человека, чем в каких-либо иных, производственных отношениях. Интендант Птицын оказался до крайности словоохотливым. Начав говорить, он уже никак не мог остановиться. Сначала майор Нырко слушал его с интересом и нередко совершенно искренне хохотал над рассказанными историями, но потом Птицын стал повторяться, и летчик попросту устал от его красноречия. А интендант, ничего не замечая, в пятый раз передавал одну и ту же историю о четырех цистернах вина.

— Понимаете, майор, это же просто жуть! — восклицал он, потрясая коротко остриженной головой.— Четыре вагона с вином, да не с каким-нибудь, а с кахетинским. Привезли их в Тулу и уже разгружать собирались, как вдруг тревога. Паровозы противными голосами как завоют! Сущая тебе зубная боль! Потом репродукторы заголосили: «Граждане! Над городом появился вражеский самолет». Еще две минуты прошло, а диктор уже новое: «Спокойно, граждане! Фашистский самолет полетел дальше, в сторону Орла». У меня уже от сердца отлегло. «Переливайте кахетинское в автоцистерны!» — приказываю. Да только успел сказать, как вдруг над станцией, едят тебя мухи с комарами, пять «юнкерсов». Стали они в этот самый пеленг, как он по-вашему, по-авиационному зовется, и давай бомбить. Матушки мои, что там делалось. Жуть. Одна бомба как ахнет в мои вагоны. Только одно воспоминание от кахетинского. А какое было вино, ах, какое вино! Я же вез его на годовщину дивизии, три дня от полковника на командировку в Москву получил. А когда комдив узнал об этом печальном финале, три шкуры обещался с меня содрать. И содрал бы, если бы не это случайное ранение в голень при артналете.

Птицын складывал свои губы бантиком и долго причмокивал. Майор несколько раз откровенно зевал, давая соседу понять, что его рассказы уже изрядно ему надоели, но Птицын не умолкал. Его словно прорвало. Он говорил и говорил без передышки, сопровождая речь бурными жестами. Тогда, чтобы заглушить монотонный голос соседа, Ныркo начинал хрипло напевать одну и ту же песенку, умышленно коверкая мотив:

А я иду и вспоминаю,
И дремлет улица ночная,
Но огонек в твоем окне
Опять, опять напомнил мне
О мирных днях и о весне.

Это спасало. Птицын обиженно умолкал и отворачивался к стенке. Но, вдоволь наговорившись, он быстро засыпал, и тогда на всю палату раздавался удручающий храп. Однажды он заметил, каким грустным и пристальным взглядом проводил майор Нырко уходившую с подносом в руках из палаты медсестру Лизу. В масленых глазах интенданта заиграли бесенята:

— Что, майор, нравится? Изумительная девка, едят ее мухи с комарами. Честное слово, если бы не проклятый осколок в голени, я бы за ней и в свои сорок пять поухаживал. А вы? Вы бы нет? Да, если бы не ваша загипсованная ножка, она бы первая вам на шею, такому красавцу, бросилась.

— Зачем,— сказал Нырко, и губы его горько покривились.— Зачем это нелепое донжуанство. И себе, и ей только в душу плюнуть?

— Как зачем? — вспылил Птицын.— Да вы что же? Не от мира сего? Или забыли, что в доброй студенческой песенке поется: «Наша жизнь коротка, все уносит с собой, проведемте ж, друзья, эту ночь веселее».

— Веселей,— поправил майор.

— Ну, пусть,— охотно согласился интендант.— Но ведь это же песня мирного времени. А мы на войне, да еще на какой. Где каждую минуту погибнуть можно. И трудно сказать, на кого смерть навалится раньше. На меня, когда я продовольствие и боеприпасы на передовую транспортирую во главе автоколонны, или на вас, когда вы идете в бой.

— У меня все-таки шансов больше оказаться в ее власти,— усмехнулся майор.

Птицын поднял широкие пухлые ладони:

— Не спорю, не спорю! Но и я не застрахованный. Так в чем же дело? Если рядом отзывчивые мягкие руки и податливые губы, неужели бы вы, воздушный боец, остановились?

— Не знаю,— хмуро произнес Нырко.— Честное слово, не знаю, как бы я поступил, если бы кто-то даже бросился мне на шею, но только убежден, что большая чистая любовь может быть у человека только раз в жизни. Один только раз. И за нее можно шагнуть в огонь.

Птицын яростно захлопал в ладони.

— Что? — захохотал он.— Один раз в жизни! Нет, вы только поглядите на этого чудака. Натуральный карась-идеалист, едят меня мухи с комарами. Хотя постойте,— он вдруг запнулся и посерьезнел: — Ах да, как же я смог забыть... ведь вам только двадцать три, а в эти годы порою все воспринимается в розовом свете. Ну, что касается меня, то я свой Рубикон давно уже перешел.

Нырко не ответил. Он лежал неподвижно, глядя открытыми глазами на разрисованный незатейливыми виньетками потолок, думал о своей судьбе. А все-таки нельзя обижаться на этого толстяка. В одном он совершенно прав. Жизнь невозможна без любви, даже сейчас, в эту пору, когда ты каждый день ходишь под смертью. А у тебя, Федор? Разве не любовь наполнила всю твою жизнь возвышенным содержанием, дала второе дыхание в воздушных боях. Как много в жизни военного летчика, по-настоящему преданного небу, безраздельно срастившегося со своим звонкоголосым истребителем, элемента случайности! Случайный досрочный отпуск из-за того, что эскадрилья не получила новых самолетов И-15 бис, случайная (тогда еще не говорили «горящая») путевка в Кисловодск, случайная встреча на танцплощадке и первый случайный поцелуй у затемненного санаторного корпуса с обещанием «завтра обязательно встретиться». Он тогда нелепо пошутил:

— Послушай, Лина, у тебя нос холодный-холодный.

— Так бывает у самых верных. У тех, кто умеет любить,— промолвила она.— Сколько тебе, Федя?

— Двадцать два,— ответил старший лейтенант Нырко.

— А мне двадцать один. Но я гораздо тебя старше.

— Почему?

— Потому что я уже была замужем.

— Ты?

— Да, я.

— Значит, ты не относишься к племени самых верных, если разлюбила своего мужа,— обиженно заметил он.

— А разве можно жить, если один прожитый день кажется тебе годом,— сказала она с вызовом и заплакала.

В ту ночь они не вернулись в санаторий. Только на завтраке их увидели соседи по палатам. Они смело сели за один стол, беспрестанно переглядывались и без слов улыбались, разговаривая одними глазами. И уже понимал молодой командир эскадрильи Федор Нырко, что навсегда связывает судьбу с этой зеленоглазой, немножко застенчивой в своей прямоте женщиной и ни

за что не вернется без нее в далекий от Кисловодска авиагарнизон.

— Ты вот что, Лина,— степенно говорил он ломающимся баском.— Вещичек с собой у тебя много?

— Да откуда же? — краснея, ответила она.— Один чемодан. Только для чего тебе это?

— А для того, что завтра я беру два билета на гражданский самолет, и баста. В Минск летим, а там и к моему месту службы.

— Федя,— остановила она его, глядя на старшего лейтенанта восторженными глазами.— Я никуда с тобой не поеду. Разве так можно — сразу после первой встречи? А вдруг все это непрочно.

Он вывел ее из столовой, взял под руку. У большой, яркой от летних цветов клумбы они сели на скамейку. На деревянной ее спинке чей-то перочинный ножичек старательно вырезал: «Оля+Сережа=любовь навек».

— Откуда ты знаешь, какая я,— промолвила Лина.— Одна случайная встреча, и только...

— А холодный нос, который является символом верности?

— Так это же я сама придумала.

— Знаешь что, Лина? — Федор ребром ладони ударил себя по коленке.— Я сразу почувствовал: такая, как ты, лгать не сможет. И потом, о нас, о летчиках, и так много ходит легенд, что мы влюбляемся с первого взгляда и после первого вальса на санаторной танцплощадке ведем хорошенькую девушку в загс... Так я хочу еще раз подтвердить этот тезис.— Он вдруг задумался, глядя вдаль на верхушки темно-зеленых гор.— Наш командир полка майор Костромин любил говорить: «Можно женщину знать час и не ошибиться, а можно десять лет примериваться и жениться на мегере». Между прочим, он со своей Степанидой Александровной на полустанке в ожидании поезда познакомился. И сразу увез.

Лина носком белой туфли чертила песок.

— А финал?— спросила она.

— Двадцать лет семейного счастья и четверо детей — вот тебе и финал. Так что сдавайся!

— Мне что же — рассматривать это как предложение? — засмеялась она.

— Нет, подожди,— встрепенулся старший лейтенант

Нырко.— Если уж делать предложение, то только так.— Он перепрыгнул через цементный ободок, окружающий клумбу, и стал бесцеремонно обламывать красные и белые гладиолусы.

— Сумасшедший! — закричала Лина.— Тебя же на гауптвахту посадят.

— Отсижу,— выкрикнул Федор.

— Из санатория выпишут.

— Переживем, Линочка, и это несчастье, тем более что до окончания путевки два дня осталось,— хохотал он, собирая цветы в букет.

— Да постой, ты видишь, к тебе и на самом деле дежурный врач спешит.

Нырко поднял голову и увидел, что от парадного подъезда их корпуса к нему, спотыкаясь, бежит дежурный врач, пожилой Федор Федорович, с которым они шутя всегда именовали друг друга «тезками»,— бежит, поправляя спадающее с подслеповатых глаз пенсне.

— Да. Действительно, влип,— пробормотал Нырко.— Вот уж перед кем неудобно, так неудобно. Старый интеллигент!

Еле переводя дыхание, дежурный врач остановился у самой клумбы и, не обращая никакого внимания на побледневшую, растерянную Лину, трясущимися губами пробормотал:

— Федор Васильевич, голубчик, тезка, да как же так!

Нырко стыдливо опустил нарядный букет:

— Федор Федорович, извините... тут случай экстраординарный вышел, вот я и посвоевольничал.

Но врач не обратил никакого внимания на его виноватый оправдывающийся вид.

— Вы про цветы? Да какие уж тут могут быть цветы! Война началась, Федор Васильевич!

Двадцать восьмого июня, на седьмой день войны, когда войска фронта уже отступали на восток, в полку Костромина, перебазировавшемся под Могилев, две трети летчиков были «безлошадными». Одни из них потеряли самолеты в неравных воздушных боях и на попутных машинах добрались до родного полка с одним парашютом, а то и без оного, у других истребители сго-

рели прямо на самолетных стоянках во время налетов вражеской авиации. Нырко был в числе нескольких пилотов, которым удалось сохранить материальную часть. Под вечер он ушел на боевое задание вместе с летчиками Кропотовым и Ершовым. Надо было прикрыть целый косяк маломаневренных и малоскоростных бомбардировщиков СБ, летавших бомбить вражескую переправу. Как ни странно, но в небе «мессершмиттов» не оказалось, и воздушных боев вести не пришлось. Но при отходе от цели зенитным огнем были подбиты самолеты обоих его ведомых. Кропотов и Ершов сели на запасной аэродром, а Нырко спокойно продолжал полет на основной. Мотор его маленького широколобого «ишачка» работал чисто, в баках оставалось достаточно горючего, боекомплект он не расходовал совсем. Высокое небо с легкими перистыми облачками слепило глаза и навевало успокоение. Даже верить не хотелось, что всего лишь четверть часа назад он видел истерзанную землю и разрывы от бомб, сброшенных опекаемыми им СБ на вражескую переправу. Он уже видел панораму аэродрома и небольшую кучку людей у порога штабной землянки. Они ожесточенно размахивали руками. Затем подряд три красные ракеты ушли в зенит, и это было предупреждением об опасности и запрещением посадки. Нырко поднял нос истребителя и стал беспокойно осматривать небо. Впереди над собой он увидел звено двухмоторных «юнкерсов», летевших в красивом плотном строю. Вечернее солнце отблесками отскакивало от остекленных плексигласом кабин. Дыбились высокие, белым дюралем покрытые кили с четко впечатанной свастикой. Будто нарисованные жирной тушью, возникали над капотами мощных моторов диски от стремительно вращающихся винтов. В ту пору у них в полку не было радиосвязи, и ни одной наводящей команды с земли Федор получить не мог. Да и была ли необходимость в этих командах. Федор прекрасно знал, куда держит путь фашистское звено. Неподалеку от аэродрома в редком березняке на новом месте своего базирования развертывался штаб фронта. Связисты тянули провода, саперы спешно отрывали землянки и сооружали блиндажи, наполовину разгруженные машины стояли прямо на опушке, их еще не успели даже забросать ветками. Лучшей цели для бомбового удара не

подберешь. Бомбардировщики наплывали клином. Они шли без каких-либо перестроений, как на параде над каким-нибудь Александерплацем или Тиргартеном. Нырко подумал, сколько пар глаз с надеждой и ожиданием следят сейчас с земли. Он только не услышал голоса своего механика, конопатого одессита Ивушкина, горестно выкрикнувшего в эту минуту:

— Мама моя! Да что он может сделать один против трех скоростных монопланов.

Набрав высоту, Федор пошел в атаку. Лишь на какое-то мгновение подумал он еще об одной паре глаз: светло-зеленых, подернутых грустью долгой разлуки. «Эти глаза простят мне все, кроме трусости!» — решил Федор. Из задних кабин трех «юнкерсов» стрелки-радисты открыли огонь по его истребителю. А Федор, почти не маневрируя, сближался с левым ведомым «юнкерсом», и когда до того было уже рукой подать и он отчетливо различил скованное паническим ужасом лицо стрелка, хлестнул по бомбардировщику долгой пушечной очередью. И когда убедился, что разваливается взорвавшийся правый мотор, закричал в буйной радости самому себе: «Ура!» Пламя на «юнкерсе» переметнулось на кабину и фюзеляж. Видимо, убит был пилот или вышло из строя рулевое управление, потому что с большой высоты вражеская машина с ревом помчалась вниз. Короткой грозной тенью Федор уже навис над машиной ведущего. Успел заметить на фюзеляже огромного желтого тигра и ожесточенно нажал на гашетку, зная, что промахнуться с такой дистанции попросту нельзя. Нажал и внезапно облился холодным потом. Трассы не было. Или пушку заклинило, или в горячке боя он расстрелял по первому «юнкерсу» весь боекомплект, но очереди не последовало. Он шел, как привязанный, на той высоте над вражеским самолетом, на которой вражеский стрелок не мог его достать огнем своей турельной установки, и запекшимися губами яростно повторял:

— Подожди, фашистская сволочь... погибать, так с музыкой!

Федор чуть-чуть убрал газ, позволив бомбардировщику лишь на полкорпуса удалиться, и медленно стал снижаться над его хвостом. Увидел в задней кабине окаменевшее лицо рыжего стрелка-радиста, отпрянув-

шего от турели и поднявшего вверх обе руки. Отдав от себя ручку, Федор все опускал и опускал винт до того мгновения, пока он не врезался в дюраль высокого киля с черной свастикой. Страшная дрожь охватила его самолет. Федора сорвало с привязных ремней, а силой таранного удара маленький «ишачок» был отброшен в сторону, так что очутился над третьей, последней фашистской машиной. И тогда, больше ни о чем не думая, Федор обрушил свой самолет на левую плоскость «юнкерса». Одним дымным клубком падали они на землю, но Федор понимал, что разгоряченный мозг не отказался повиноваться ему. Собрав все силы на каком-то витке, Нырко выбросился из полуразрушенной кабины, раскрыл парашют. Зеленое поле родного аэродрома стремительно понеслось навстречу, а ветер остудил исцарапанное, кровоточащее лицо, придал силы.

К нему, распростертому на земле, подъехала «санитарка», голос полкового врача вернул к действительности.

— Носилки, и в госпиталь! — выкрикнул врач.

Нырко медленно оттолкнулся от земли, встал сначала на четвереньки, потом, убедившись, что голова не закружилась, поднялся во весь рост.

— Никакого госпиталя! Сначала я должен доложить.

И, волоча за собой парашют, медленными неверными шагами Федор двинулся к землянке, где размещался командный пункт. До нее было метров двести, не больше. Он шел эти метры с величайшим трудом, медленно-медленно, хотя шаг его не слабел. И так же медленно ехала за ним, подпрыгивая на аэродромных кочках, санитарная машина.

Когда он спустился в землянку, командир дивизии стоял над пестрой картой района боевых действий, разостланной на деревянном столе. Вошедшего он заметил не сразу. А Федор поднес ладонь к расцарапанной щеке, так что ее пальцы очутились у виска, и усталым, но торжествующим голосом доложил:

— Товарищ генерал! Возвращаясь с боевого задания, старший лейтенант Нырко встретил над аэродромом звено «юнкерсов», намеревавшихся отбомбиться по штабу фронта, и вступил в бой. Один самолет сбил бортовым оружием, два других таранил. В бою потерял машину. Сам жив!

— Нырко! Наш комэска! — закричал генерал.— Да неужели же это ты таких отборных зверюг уложил?! — и бросился его обнимать.

В тот же день ему присвоили звание капитана, а через неделю назначили исполняющим обязанности командира полка, потому что майор Костромин не вернулся из боевого вылета. В начале сентября, когда горькие дороги отступления привели полк к Вязьме, на счету у Нырко было уже пятнадцать сбитых вражеских самолетов, а в петлицах появилась вторая шпала.

На самом интересном месте его воспоминания были прерваны отчаянным всхрапом интенданта. Птицын не то чтобы захрапел, а попросту завыл, отчего и сам неожиданно проснулся.

— Я, кажется, того, товарищ майор,— проговорил он смущенно,— покоя вам своими руладами не давал?

— Да нет, ничего,— усмехнулся Нырко.— На войне, как на войне. К любым шумам привыкать положено.— Летчик вгляделся в его одутловатое лицо и неожиданно спросил: — Послушайте, сосед, а вы живого немца при оружии и амуниции хоть раз видели?

Птицын удивленно заморгал.

— Нет, Федор Васильевич. А вы?

— Я тоже не видел,— рассмеялся вдруг Нырко.

— Ну да? — озадаченно произнес Птицын.

— Вот вам и «ну да»,— еще веселее подтвердил майор.— Только в воздухе видел. Но ведь там толком ни лица, ни того, что на этом лице написано, не разберешь.

— Вот и дай бог нам его никогда не видеть, этого проклятого фашиста,— откликнулся Птицын.

4

После обеда наступал традиционный час отдыха. Но Федору не спалось. В квадрате полураспахнутого окна он видел четко впечатанные в голубое безоблачное небо верхушки корабельных сосен, выбегающих за пределы госпитального двора к проходной будочке, за которой бесконечным движением фронтового дня шумело магистральное шоссе Москва — Минск. Беспокойный гул авиационных моторов не смолкал в этом небе, и, прислушиваясь к нему, Федор безошибочно определял типы

пролетающих самолетов — то надтреснутый сухой звук пролетающего на малой высоте «Ильюшина», то звонкий переливающийся гул «Петлякова», то до боли знакомый родной свист «Яковлева», то заунывное уханье забравшегося на большую высоту «хейнкеля». Увлеченный этим, он не сразу обратил внимание на шум в коридоре, возникший почти у самой двери.

— Не пущу я вас, товарищи командиры. Как хотите, не пущу! — решительно протестовала медсестра Лиза.— В третий раз говорю, что сейчас у раненых мертвый час.

— И кто его только назвал мертвым,— возмущался ей в ответ знакомый голос.— Мы сейчас, сестренка, из вашего мертвого быстро живой час сварганим!

— Да дайте же хоть раненого предупредить,— постепенно сдавалась медсестра.

— Стрелка,— громко окликнул ее Нырко.— Кто это там шумит?

— Да к вам пришли, товарищ майор.

— Так пропусти их, я же все равно не сплю.

Два летчика, два самых дорогих человека, два посланца из того чудесного мира, откуда надолго выбыл Нырко, перешагнули порог палаты.

— Ребятушки! — воскликнул Нырко.— Вы и представить себе не можете, до чего я вам рад. Вы же сюда запах аэродрома притащили на пропыленных своих гимнастерках.

В палате был всего-навсего один стул с зеленой плюшевой обивкой и детская, покрытая коричневым лаком, скамеечка. Рослый широкоплечий капитан Виктор Балашов откинул со лба светлую прядь густых, немного вьющихся волос, насмешливо покосился на лейтенанта Плотникова и придвинул к себе стул.

— По праву старшего,— изрек он,— а ты, Сережа, и на детской скамеечке поместишься.

Они были совершенно разными, два этих его однополчанина. Если задубелый на аэродромных ветрах, широколицый, с серыми, немножко холодными глазами, Виктор Балашов носил на себе отпечаток грубоватости, то худенький тонкий Плотников с мальчишескими нежными чертами лица производил впечатление очень застенчивого юноши. Он был самым молодым в полку, всего за месяц до войны окончил качинскую школу и был назначен

в Белорусский военный округ. Однако война и постоянная близость к смертельной опасности постепенно меняли и его лицо, стирая доверчивую наивность и нежность. В уголках прямого тонкого рта уже наметились морщины, строже стал взгляд. Майор обрадовался однополчанам, словно родным братьям. Он долго тряс их жесткие ладони, и колючие черные глаза загорались веселым огнем, на губах сияла широкая довольная усмешка. Балашов басил, панибратски называл командира полка то «стариком», а то и просто Федей, Плотников обращался к Нырко стеснительно и всегда произносил уставное «товарищ майор».

— Да брось ты,— остановил его Нырко,— все мы под богом ходим и под одной смертью, называй и ты меня, как он. Рассказывайте: как у нас в полку?

— Живем помаленьку,— пробасил Балашов,— тебя ждем, Федя.

— Так видишь,— повел Нырко глазами на свою забинтованную ногу.

— Да. Угораздило тебя,— вздохнул капитан.— Ну, а что сулят?

— Хочешь спросить, буду ли я летать? Буду, Витя... главный хирург пугает, что, мол, пока говорить об этом трудно, но я уверен, что своего добьюсь и еще не одного фрица отправлю с небес на землю.

— Мы верим, Федя.

— Ну, а на фронте как?

— Затишье пока. Какое-то странное непонятное затишье. Ни они вперед не идут, ни мы. Только авиации, как и всегда, достается. Каждый день с утра и до ночи воздушные бои. Вчера Степкина сбили.

— Игоря?! — почти вскрикнул Нырко и поглядел на Плотникова, нервно теребившего кожаный шлем с поблескивающими очками.

— Зазевался он, товарищ майор. Погнался за «юнкерсом», а «мессера» проглядел,— трудно выговорил лейтенант.

— Та-ак,— горько протянул Нырко,— значит, еще одна похоронная.

— Если бы одна, Федя,— вздохнул Балашов.— Целых три. Еще Кострикова и Климова прибавь.

— Их что же, в одном бою? — после долгой паузы спросил майор.

— В одном,— подтвердил капитан.— Нас было семеро, а у них четыре шестерки. Мы шестерых зажгли, но и сами потеряли, как видишь. Словом, дело дрянь. От полка уже две трети в строю осталось. Но больше всего меня пугает эта фронтовая тишина. На переднем крае у них пустынно, на дорогах почти никакого движения. Похоже на то, будто они затевают что-то.

— Кто вместо меня полком руководит?

— Я, Федя. Вчера комдив утвердил до твоего возвращения. Полк мы просили укомплектовать, да только командующий отказал.

— С каждым днем все труднее, товарищ майор,— вступил в разговор Плотников.— Что ни день, то по три-четыре вылета делаем. Вот и вас сразу навестить не смогли.

Нырко мрачно нахмурил брови.

— Понимаю, ребятки. Не вам мне это объяснять. Наше дело солдатское. Когда над передовой висят эти самые «юнкерсы», тут в гости много не наездишься.

Пока майор говорил, Балашов на минуту вышел и возвратился с большим свертком в руках.

— Это подарки, Федя,— ответил он на вопросительный взгляд командира полка и, деловито развернув бумагу, стал торопливо пояснять: — Вот это папиросы, которые хлопцы из второй эскадрильи собрали. Бутылку мадеры Саша Нестеров с поклоном велел передать. Его тоже зенитный осколок вчера поцеловал. С забинтованной рукой летает. А этот торт капитану Сушкевичу удалось у наших продовольственников оттяпать. Они его командиру авиабазы на день рождения изготовили, но мы в твою пользу экспроприировали.

— Товарищ майор, чуть было не забыл,— перебил его в эту минуту Плотников. Он порылся в карманах и протянул майору черную трубку с чертом.— Мы вашего Мефистофеля в обломках самолетных нашли.

Нырко с жадностью схватил трубку.

— Милые вы мои, вот уж за это спасибо. А я-то о ней скорбил. Дайте-ка табачку немного.

Плотников достал кисет и набил майору трубку. Нырко закурил, лицо его скрылось в облаках синеватого дыма — и словно откуда-то издалека глядели острые прищуренные глаза. Жмурясь от удовольствия, глотая сладковатый табачный дым, майор слушал рассказы сво-

их ребят о полковых новостях. И от того, что крепкие руки этих парней были рядом, а голоса раздавались над ухом, майору было тепло и приятно. Солнце как-то быстро зашло за тучи, и низкие рваные облака поплыли над верхушками сосен. Балашов озабоченно покачал головой:

— Погодка усложняется, Федя. Мы же к тебе на У-2 прилетели, вот мой шеф-пилот,— кивнул он на Плотникова.— Короче говоря, пора нам и восвояси.

— Я не задерживаю,— грустно проговорил Нырко,— раз надо, так надо. Летите, ребятки, видимость действительно ухудшается.

— Мы к тебе через три денька наведаемся,— пообещал капитан,— обязательно навестим.— Он потоптался на пороге и как-то виновато посмотрел на лейтенанта Плотникова.— У Сергея несчастье, товарищ командир. Погиб отец.

— Вот как,— не находя других слов, протянул майор, и они все трое долго молчали. Прислонившись к дверному косяку, стоял Плотников с поникшей головой, а Нырко тем временем думал, что и в двадцать лет трудно потерять отца в этом огромном водовороте человеческого горя, именуемом войной. Первым нарушил молчание Балашов.

— Я не договорил, командир. У Сережи мать слегла после похоронки. Ее надо бы поддержать. Короче, если из-за погоды будет какой-нибудь антракт в боевой работе, я на два дня его отпущу навестить.— И, горько вздохнув, прибавил: — Теперь ведь Москва близко.

5

Птицын, добросовестно проспавший весь визит летчиков, открыл глаза в самом добрейшем настроении.

— Федор Васильевич, а вы не можете объяснить, отчего так себя хорошо чувствуешь после кошмарного сна?

— Затрудняюсь, я очень плохой психолог,— вздохнул Нырко. Интендант недоверчиво покачал головой.

— Притворяетесь. Летчик всегда хороший психолог.

— Может быть,— польщенно улыбнулся майор.— Однако я в себе такого таланта не замечал. Какие же кошмары вас одолевали, дорогой сосед?

— Поганый сон,— вымолвил с облегченным вздохом

Птицын.— Приснилось мне, будто готовится большое наступление и надо в срочном порядке доставить боеприпасы самой ударной дивизии. И я назначен начальником огромной автоколонны. Но я перепутал дороги и привел ее совсем не туда, куда надо. И вот меня судит военный трибунал. А в зале одни только мои недруги. Хоть бы одно доброе ободряющее лицо. Со всех сторон выкрики: «Интендата Птицына к расстрелу!», «Птицына к смертной казни!», «Птицына повесить!» Встает прокурор и медленно читает: «За тяжкое военное преступление военный трибунал приговаривает интенданта второго ранга Птицына к высшей мере наказания! Приговор окончательный и обжалованию не подлежит!» И будто ведут меня на расстрел четыре красноармейца, вскидывают винтовки, и тут я просыпаюсь и вижу ваше доброе лицо, дорогой Федор Васильевич. Гора с плеч сваливается, и такое ощущение счастья приходит, что и словами не выскажешь.

— Да, сон действительно кошмарный,— посочувствовал Нырко.— От такого сна и до разрыва сердца недолго.

— Еще бы! — согласился интендант.

Нырко внимательно вгляделся в его розовое, посвежевшее после сна лицо и вдруг подумал: «А что, если бы этот интендант лицом к лицу встретился с гитлеровцами? Хватило бы у него мужества принять бой или же он бросил бы винтовку и поднял вверх руки?»

Федор вздохнул, понимая, что на этот вопрос не в состоянии ответить.

6

Капитан Балашов сдержал свое слово. Он приехал ровно через три дня, но какой-то мрачный, небритый, осунувшийся. Комкая в руках шлем, долго стоял на пороге маленькой комнатки.

— Постой,— окликнул его Нырко,— ты же обещал прилететь вместе со своим шеф-пилотом? Где же Сережа Плотников? Ты что, к матери его отпустил?

— Нет,— уронил Балашов глухо.

— Значит, он у тебя в наряде?

— Нет.

— Так почему же ты его не взял с собою? — искренне удивился Нырко.

— Федя... — трудно заговорил капитан и запнулся,— Федя,— повторил он, беря каждое слово, как с разбега.— Вчера во второй половине дня Сережа Плотников погиб. Сбил два самолета и погиб сам.— Балашов с яростью хлопнул коричневым летным шлемом об пол, бессильно плюхнулся на зеленый стул.— Федя! — сдавленно выкрикивал он.— Какие парни гибнут на этой проклятой войне, когда же это кончится, черт бы его побрал. Ведь мы нашего Сережку в шутку нецелованным звали. Он и на самом деле ни разу в любви не объяснялся. Жить бы ему и жить. Что же теперь старенькая мать его скажет, потерявшая сначала мужа, а теперь и единственного сына!! А ведь он только что собирался ее проведать и ободрить. Где же правда, Федя, и когда же все это кончится, я тебя спрашиваю?

Нырко приподнялся на локтях в кровати, насколько ему это позволяла загипсованная нога, и яростно прошептал:

— Я отвечу на твой вопрос, Виктор. Напрямую отвечу! Ты что же, думаешь, одному тебе война поперек горла, а мне нет? Ему нет? — кивнул он на внимательно слушавшего Птицына.— Тем, кто сейчас погибает в крови на операционных столах, нет? Ты хочешь быстрого конца. Так в чем же дело? Поднимай тогда руки и сдавайся!

На широком, обожженном солнцем лице Балашова мгновенно высохли скупые слезы.

— Федя! — хрипло воскликнул он.— Это ты мне? Да разве я такие слова от тебя заслужил? Разве мы с тобой не вместе на «мессеров» и «юнкерсов» ходили? Пожалей и себя и меня, Федя!

— Черт побери, Виктор, я, кажется, действительно переборщил. Ты уж извини, сам понимаешь,— пробормотал майор, но черные его глаза продолжали пылать гневом.— Однако о том, что тебе сейчас надо делать, я в двух словах скажу. Я сейчас раненый, я никто... А ты боец, и не рядовой боец! Ты теперь целым истребительным полком командуешь. Немедленно возвращайся туда! Будь в десять раз суровее, чем был! И если я только узнаю, что ты выйдешь к летчикам с заплаканными глазами, ты мне на всю жизнь не друг!

Балашов поднял шлем, разгладил его и, побледнев, произнес:

— Слушаюсь, товарищ командир.— Шагнул к двери

и на мгновение остановился.— Извини, Федор Васильевич, совсем из памяти выпало. Я же привез тебе письмо,— и положил на стул сложенный вдвое конверт.

7

Лина писала:

«Дорогой Федор! Мне упорно кажется, что лучше прочитать одну яркую страницу из хорошей книги, чем плохую книгу от начала и до конца. Моя яркая страница — это ты, Федя! Как мало мы были вместе: ночь и кусочек дня. До самой своей последней минуты буду помнить, как ты стоял в самом центре клумбы с сорванными гладиолусами, большой, сильный, улыбающийся, как бежал к тебе дежурный врач, чтобы произнести эти страшные слова, сразу пригнувшие всех нас к земле. «Да какие уж тут цветы! Война началась, Федор Васильевич!»

Федя, милый! Только вчера узнала номер твоей полевой почты, и если бы ты представил, как много для этого пришлось затратить сил. Еще в начале июля в нашей городской газете я увидела твой портрет и узнала из подписи, что тебя наградили орденом Ленина за два тарана в одном воздушном бою. Я немедленно кинулась в редакцию, но там меня ожидало горькое разочарование. Усталый человек в роговых очках объяснил мне, как маленькой, что эта фотография разослана во все газеты нашей страны и, конечно же, твоего адреса их редакция не знает. Очевидно пожалев меня, он дал совет обратиться в фотохронику. Я списалась с фоторепортером, тот пообещал установить твой адрес, и вот я получила ответ. За меня ты не беспокойся. Живется всем нам в тылу хотя и нелегко, но эту жизнь не сравнить с твоей, полной ежечасных опасностей и риска. Первую половину дня я провожу в школе, а после торопливого обеда мчусь на завод к станку: ведь я теперь работаю в цехе, который выпускает продукцию только для фронта.

Береги себя, Федя! Ты не подумай, что я призываю тебя к той осторожности, что граничит с трусостью, совсем нет, но будь всегда осмотрительным и, находясь в воздухе, всегда помни о том, как ждет тебя на земле человек, в тебя безгранично верящий. Говорят, что есть на земле птицы, прозванные «неразлучниками». Они живут всегда парами, и если умирает самец, умирает и его

подруга. Вероятно, я из этой породы. Если бы тебя не было на земле, я не смогла бы жить!»

Нырко спрятал письмо под подушку. Свет в палатах был выключен, остался гореть только в коридорах и операционной. Птицын, который, прихрамывая, уже начинал ходить, вернулся из умывальника и взбивал перед сном подушку:

— Эх, Федор Васильевич, Федор Васильевич, а грустно все-таки.

— Это отчего же, дорогой сосед? — хмыкнул Нырко.

— Жену вспомнил, детишек,— пояснил Птицын.— Их ведь у меня трое. Как-то они там живут, в далеком Кургане, в эвакуации.

Майор не ответил. Он думал о Лине, и ему тоже было грустно. Пожелав спокойной ночи, интендант залез под одеяло, но заснул не сразу, долго и беспокойно на этот раз ворочался. А Федор продолжал лежать, не смыкая широко раскрытых глаз. За плотно зашторенным окном текла беззвездная ночь тревожного прифронтового края. Он любил ночные часы, когда можно было помечтать, отрешившись от суровой действительности. По ночным шорохам и звукам он безошибочно восстанавливал картину войны на этом, столь близком к Москве участке фронта. По автостраде Москва — Минск, рассекавшей осенний лес, беспрерывно проносились автомашины, вездеходы, тягачи. Иногда со скрежетом, высекая из асфальта искры, двигались Т-34. Из-за нехватки автотранспорта фураж и продукты подвозили даже на подводах. И если на запад военного транспорта проходило много, а на восток мало, майор Нырко радовался и думал про себя: «Значит, крепко держатся на последнем рубеже наши!» Ночью гул далекой канонады доносился с запада только при сильных порывах ветра. В небе то и дело вставали столбы прожекторов, ловили зыбкую ускользающую тень «юнкерса» или «хейнкеля», посланных фашистским командованием в дальнюю разведку. И если удавалось вражеский самолет взять в клещи, тотчас же на помощь прожектористам приходили зенитчики, направляя огонь на облитую светом серебристую точку. И эта размеренная поступь фронтовой ночи входила в его жизнь, как внушающий доверие алгоритм. Но в последние двое-трое суток странная тишина сковала фронтовые дороги. Ни к фронту на запад, ни на восток к Москве автотранспорт

почти не передвигался, дороги казались пустынными, вымершими. Раза два, не больше, прогудел в полуночном небе фашистский разведчик и умолк. Он так быстро промчался по своему маршруту, что прожекторы даже не успели начать за ним охоту. Тишина была тягучей, настораживающей, и Федор Васильевич грустно вздохнул.

Он заснул далеко за полночь, и, несмотря на невеселое настроение, сон ему снился самый что ни на есть радужный. Будто плывут они с Линой по большому голубоватому горному озеру, он на веслах, она на корме, а холодая вода тихо-тихо обтекает зеленый борт. «Подвези меня к водопаду»,— просит Лина, но он отрицательно качает головой. «Зачем? Это же опасно». У Лины капризно морщится рот. «Федя, я очень тебя прошу. Мне голос водопада хочется услышать».— «Фантазерка»,— улыбается ей Нырко и разворачивает лодку. Гул водопада становится все громче и вот уже перерастает в слитный рев. Федор пытается повернуть лодку назад, но не может и просыпается, охваченный тревожным ощущением беды.

Над крышей госпиталя плывет тяжелый густой гул авиационных моторов. Нет никакого сомнения, что это проходит большая по численности группа. Самолеты пролетают так низко, что по шуму моторов не сразу различишь их тип: ясно одно — летят бомбардировщики. Тонкое стекло позванивает слегка, отзываясь на голос моторов, а земля дрожит от другого, непохожего на авиационный, гула. В палате горит свет, интендант Птицын, свесив здоровую ногу на пол, тревожно смотрит на него:

— Что-то на передке происходит, Федор Васильевич. Это же артиллерийская подготовка. Сейчас кто-то вперед двинется. Или мы, или опять они, проклятые!

Не зная куда девать дрожащие пальцы, Птицын нервно стягивает ими воротник серого госпитального халата. Рявкают близкие бомбовые разрывы, и Птицын с искривленным ртом говорит:

— Да ведь это, кажется, штаб фронта бомбят, едят меня мухи с комарами. Подождите, Федор Васильевич, я сейчас выйду из палаты и все узнаю.

Гремя костылем, он вышел из палаты. Один за другим раздались поблизости три бомбовых разрыва. С разрисованного потолка посыпались куски штукатурки, где-то зазвенело выбитое стекло, и волною ветра распахнуло

дверь. В ее проеме стоял высокий плечистый хирург Коваленко, но не в белом халате, в каком обычно его всегда видели медперсонал и больные, а в сапогах, в выгоревших бриджах и гимнастерке со шпалами, перепоясанной портупеей. Лицо его было бледным.

— Плохо дело, Федор Васильевич! Немцы прорвали нашу оборону под Вязьмой и перешли в новое наступление. Включал радио: одни победные марши и лозунги о том, что они наносят последний удар, после которого война закончится с падением Москвы. Еще хуже другое: со штабом фронта никакой связи. Сейчас поеду туда, чтобы все решить с эвакуацией госпиталя. Нужны машины.— Он задумался и, почесав небритую щеку, продолжил: — Под свою ответственность отдал приказ всем легкораненым и способным передвигаться немедленно двигаться на восток. Как вы полагаете, Федор Васильевич? Не ошибся?

— Нет,— тихо ответил Нырко пересохшим, плохо повинующимся голосом.

— Спасибо,— наклонил голову хирург.— С легкоранеными решено. Хуже с такими, как вы. Вас у меня свыше тридцати.

— Мы подождем, Андрей Иванович,— односложно сказал Нырко.

Коваленко нерешительно потоптался на пороге, опуская глаза, произнес:

— И еще одно обстоятельство, Федор Васильевич. Вы самый старший и самый опытный боец... Если вдруг что — я только на вас надеюсь. Правильная команда, она иногда лучше самого меткого выстрела. А теперь до моего возвращения, дорогой Федор Васильевич!

8

Стрелка вошла в палату, поставила на стул поднос с завтраком и объявила:

— Легкораненые уже собрались в нижнем холле и ждут команды.— Она выглядела крайне усталой: осунувшееся лицо, припухшие вздрагивающие веки. Тонкие пальцы беспокойно скользнули в карманы застиранного халатика:

— Их поведет старшина Беглов. Позавчера у него сняли с правой руки гипсовую повязку.

— Нет,— резко возразил Нырко,— он их не поведет.
У Стрелки вопросительно расширились глаза.
— Тогда кто же?
— Вы поведете их на восток, Лиза.
Она развела руками:
— Да ведь я же не имею права покидать свой пост.
— Это приказ, Лиза,— сухо выговорил Нырко,— а приказы не обсуждаются.
Девушка растерянно опустила руки. Нырко взял ее холодную ладонь, нежно погладил и тотчас же отпустил.
— И еще есть одна причина, Стрелка, заставляющая принять такое решение,— понизив голос, улыбнулся он.
— Какая же? — робко спросила медсестра.
— Наклонись поближе,— попросил Нырко и почти в самое ухо сказал: — Всякое бывает на этой земле. Не хочу, одним словом, чтобы какой-нибудь фашистский ублюдок целовал тебя своим поганым слюнявым ртом. Ты красивая, Стрелка. Кончишь медицинский институт, светилом терапии станешь... словом, иди, выполняй мой приказ.
Девушка выпрямилась и нерешительно произнесла:
— Федор Васильевич, у нас же две подводы есть... может, и вас в одну из них как-нибудь?
Но он решительно покачал головой.
— Ты же видишь, Стрелка,— покосился он на забинтованную ногу,— куда я с этой кувалдой... мы с Аркадием Петровичем будем надеяться на лучшее,— кивнул он на примолкшего Птицына.— Ты скажи, гранаты в госпитале есть?
В его черных глазах под сведенными бровями она прочитала горькую решимость и отрицательно покачала головой:
— Ни одной, Федор Васильевич... взвод охраны еще вчера сняли на передовую. На весь госпиталь только одна винтовка СВТ. У дежурного на вашем этаже.
— Тоже хорошо,— криво усмехнулся Нырко.— Спасибо и за такую информацию. А теперь иди. Выводи раненых лесом вдоль шоссе, на само шоссе не вздумай и показываться, слышишь, как бомбят. Прощай, Стрелка.
— Прощайте, Федор Васильевич,— всхлипнула девушка. — Я верю, что подполковник Коваленко скоро вернется за вами.
Она вышла из палаты тяжелой разбитой походкой.

На пороге остановилась и обернулась. Прямой ее рот болезненно покривился.

— Прощайте, Федор Васильевич,— повторила она.

— Ладно, ладно, не торопись меня отпевать,— грубовато ответил Нырко.— Я еще после нашей победы над фашистами на тур вальса тебя приглашу.

— Вот мы и одни остались,— упавшим голосом произнес интендант Птицын, когда дверь за медсестрой со скрипом затворилась.

Нырко промолчал. Он не любил бесполезных утешений, тем более когда утешать надо было и самого себя. Он чутко прислушивался к тому, что происходило за стенами госпиталя. От вчерашней вечерней тишины и следа не осталось. Шоссе теперь грохотало. По нему беспрерывным потоком проносились автомашины с набитыми доверху кузовами, передвижные радиостанции, зеленые «санитарки» с красными крестами, лишь привлекающими внимание фашистских летчиков, походные кухни. Затем, после небольшого интервала, потянулись автотягачи с прицепленными пушками и мрачно сидевшими в кузовах красноармейцами, вперемежку меж этим потоком скрипели подводы, и было слышно, когда затихал рев моторов, как цокали по твердому асфальту подкованные копыта лошадей. Весь этот нескончаемый поток устремлялся не на запад, к линии фронта, а к Москве, и было столько скорби в его движении, что напоминал он невольно огромную похоронную процессию. С утра хлюпал мелкий осенний дождик, и небо низко-низко висело над землей, но к полудню солнце развеяло облачность, ярко заблестело над лесом, и тотчас же появились над автострадой вражеские самолеты. Где-то, уже значительно восточнее, чем утром, повторенные эхом, раздались частые бомбовые взрывы, и Нырко машинально про себя отметил: «Значит, фашисты перенесли огонь в тыл. Бомбят уже далекие от линии фронта объекты». С шоссе донеслись отголоски кем-то поданной протяжной команды «ло-о-жись!», и тотчас же хрупкий и чистый октябрьский воздух вспорол тонкий пронзительный визг чужих авиационных моторов.

— Это «мессершмитты». Шоссе штурмуют! — громко сказал Нырко.— Аркадий Петрович, уберите к чертям, пожалуйста, занавеску, в окно хочется заглянуть.

Птицын послушно проковылял к подоконнику и от-

дернул занавеску, а майор, с трудом приподнявшись на вытянутых руках, сумел увидеть дальний лес и дымные взрывы над шоссе. Неожиданно в вой немецких моторов ворвался совсем иной звук.

— Это наш «ишачок»! — воскликнул Нырко.— Где же он?

В голубом квадрате неба, доступном обзору, майор увидел, как зеленый короткокрылый истребитель, войдя в крутое пике, яростно настигал уходящий от него белый двухкилевой «Мессершмитт-110». И вдруг, почти над самыми верхушками сосен, «ишачок» врезался в дюралевый фюзеляж фашистского самолета. Обе машины тотчас же взорвались, и, как второе солнце, полыхнул над осенней землей клубок огня.

— Вечная ему память, этому парню,— глухо сказал майор и опустился.

— Да-а, коротка жизнь,— испуганно пробормотал Птицын,— и как, наверное, не хотел смерти этот парнишка.

— А кто же ее хочет, Аркадий Петрович,— невесело отозвался Нырко, подумав про себя: «Бедный интендант, уже и места себе от страха не находишь!»

К обеду поток автомашин, двигавшихся на восток, стал редеть, а вскоре и совсем прекратился. Его сменили колонны отступающих частей. Угрюмо, без песен и шуток шли красноармейцы и командиры. Лица их были серыми от горя и усталости, шаг тяжел и неровен. Заплечные вещевые мешки с нехитрым солдатским имуществом делали их горбатыми. На сапогах, к которым давно уже не прикасалась щетка с мазью, тяжелым слоем лежала горькая пыль отступления. У некоторых полы серых шинелей были с подпалинами от дыма: видать, совсем рядом вместе с разорвавшейся миной или снарядом прошла мимо такого бойца смерть. В безветренную погоду далеко от шоссе разносился их глухой шаг. Интендант Птицын отошел от окна и сел на кровать.

— Точка, Федор Васильевич. Это уходят последние,— его слова подтвердил странный лопающийся звук, такой незнакомый майору Нырко. Казалось, что кто-то дует в горлышко огромной бутылки.

— Что это такое, сосед? — обеспокоенно спросил Нырко. Несколько взрывов один за другим потрясли воздух, столбы огня и дыма встали посередь леса по обеим

сторонам от шоссе. Птицын сдавил широкими ладонями виски.

— Совсем плохо, Федор Васильевич. Это уже их артиллерия по нашим тылам лупит.

— Странно,— не зная, что сказать, промолвил Нырко.— С первого дня на войне, а под артиллерийским обстрелом впервые.

Они умолкли, скованные безотчетным ожиданием. Артиллерийский обстрел прекратился так же неожиданно, как и возник. Но со стороны фронта стал докатываться беспорядочный дробный звук, становясь все отчетливее и громче.

— Конечно! — прошептал интендант бледными губами.— Это уже пулеметно-ружейная перестрелка.

Федор снова приподнялся и заглянул в окно. По шоссе пробежали десятка два наших солдат, беспорядочно отстреливаясь, и рассыпались по лесу. В тут же минуту из-за поворота показался пестро расписанный приземистый танк, и, холодея, Нырко увидел на его башне, развернувшейся в сторону госпиталя, жирно намалеванный фашистский крест. Танк сбавил скорость. Длинный черный ствол пушки медленно поднялся над башней, выпустив вспышку огня. Снаряд со свистом пронесся над крышей госпиталя, и взрыв его далеко раскатился по лесу. За первым танком появился второй, потом низенький бронетранспортер в окружении нескольких мотоциклетных колясок, и в самом конце этой небольшой колонны — черный легковой автомобиль. Два танка остановились и, словно сговорившись, дружно повернули с шоссе в сторону проходной будочки госпиталя. Из окна было видно, как, слегка покачиваясь и оставляя за собой густое вонючее облако, мелькая в просветах между рыжими стволами корабельных сосен, мчались они к желтой и, видимо, опустевшей будочке. Первый танк с разбегу врезался в полосатый шлагбаум, преграждавший путь на территорию госпиталя, и разнес его на мелкие щепки. Метрах в тридцати от парадного входа в госпиталь по обе стороны от давно уже пересохшего, засыпанного сухими опавшими листьями фонтана, фашистские танки остановились и задрали вверх жерла пушек с таким видом, будто хотели разнести и желтое двухэтажное здание. Следовавшие за ними мотоциклы, разбившись на две группы, обогнули фонтан и выстроились перед входом.

Пестрый вездеход подъехал к самому парадному, и только легковая машина осталась стоять чуть поодаль под прикрытием танков. Из мотоциклетных колясок и бронетранспортера с автоматами наперевес выскакивали фашистские солдаты и офицеры. Все это происходило так быстро и просто, что теряло как будто бы даже реальность. Беготня немцев и лаконичные команды: «форвертс», «шнель», «цурюк», «линкс» делали происходящее похожим на старательно отрепетированный спектакль. Так, по крайней мере, показалось майору Нырко. Но весь побледневший интендант Птицын вдруг оттолкнулся от подоконника и, ничего не говоря, бросился в коридор. Через минуту он возвратился с винтовкой СВТ в руках. На примкнутом к ней штыке заиграл осколок солнечного луча и тотчас померк.

— Эх, Федор Васильевич, Федор Васильевич! — почти со стоном воскликнул интендант.— Видно, как в матросском «Варяге», настала минута спеть этим гадам «Прощайте, товарищи, все по местам», едят его мухи с комарами.

— Отдай! — крикнул вдруг Нырко, до которого только теперь стала доходить страшная правда случившегося.— Отдай, ты не смеешь... я сам! — Но пухлые губы Птицына сомкнулись, глаза стали злыми, и он тихо, но беспощадно ответил:

— Нет, Федор Васильевич, вы уж теперь лежите... в пехотных делах я как-нибудь получше вас маракую. Все-таки был чемпионом округа по стрельбе. Прощайте, Федор Васильевич.

Оставив неприкрытой дверь, Птицын, подпрыгивая на костыле, скрылся в коридоре. Через несколько секунд костыль его прогрохотал по ступенькам лестницы, и откуда-то снизу донесся отчаянный выкрик:

— Разомкнись, гады! Получайте подарок, фашистские морды, от советского интенданта Птицына!

Одна за другой прозвучали сухие отрывистые очереди, послышались заполошные стоны и крики немцев. А потом сразу несколько длинных автоматных очередей пронзили сухой настой осеннего дня.

Поднявшись еще выше на вытянутых, давно уже оцепеневших руках, Нырко увидел, что его тучный сосед, обливаясь кровью, кособоко ползет по земле, а двое фашистов целятся из автоматов ему в голову. Прозвучали

еще две очереди, и Птицын затих, разбросав бессильно руки с зажатыми в скрюченных пальцах осенними листьями. Федор, до крови закусив губы, упал на подушку. И не сознание надвигающейся смертельной беды, а совсем другое чувство острой болью царапнуло его по сердцу.

— Боже мой,— пробормотал Федор,— какие только гадости я о нем думал. И что он трус, и что дороже собственной шкуры для него ничего нет, а вот наступила минута, последняя в жизни,— и каким он оказался героем, этот добрый бесхитростный человек! Где бы винтовку или хотя бы одну гранату!..

Домыслить он не успел. По лестнице, грохоча коваными сапогами, уже взбирались на второй этаж фашисты, свирепо горланя, они подбадривали себя автоматными выстрелами в потолок. В маленькую его палату ворвались сразу четверо. Двое из них с засученными по локоть рукавами страшно напоминали газетные снимки, известные майору Нырко с первых дней войны. Пятый, толстый и широкий в кости, с автоматом, повешенным на живот, стал в дверях, подпирая правым плечом косяк. В левой руке он сжимал за горлышко недопитую бутылку.

— Руссише швайн, ауфштейн! — крикнул он Федору, бесцеремонно оглядывая его подвешенную к спинке кровати загипсованную ногу.— Мы тебе будем делать немножко, немножко больно.

— О, найн Пауль,— перебил его другой немец, в очках с тонкими квадратными стеклышками, худой и небритый, и что-то быстро заговорил. На лице у толстого появилась довольная улыбка.

— Ты сейчас будешь представлять нам театр,— обратился он к майору.— Мы отвяжем твой нога и будем запрягать тебя в этот кровать, как в телега. Я сяду в телега, а ты будешь меня катать, как лошадка. Ферштейн? Если довезешь до тот стена, будешь иметь рюмка русской водка... а потом мы тебя будем пук-пук,— загоготал он и повел в сторону Федора автоматом.

От немцев пахло водкой и потом. Они были такими картинно однообразными, что почему-то не внушали летчику страха. Казалось, что этот дурной спектакль вот-вот кончится и все станет на свое место. Но Федор вспомнил, как полз по земле, обливаясь кровью, интендант Птицын, и невольно зажмурился от этого видения.

В ту же минуту солдат в очках подошел к кровати и дернул его изо всей силы за подвешенную ногу. От страшной боли комната мгновенно подернулась красным светом, и летчик не мог удержаться от громкого крика.

— О-ля-ля! — загоготал немец, стоявший в дверях.— Ивану не корошо... Ивану никс гут! Но Иван будет вставать, или я буду пук-пук. Одна пуля нога, второй пуля живот, третий пуля шея, четвертый голова.— Он снял с себя черный автомат и под одобрительные возгласы остальных стал целиться в майора.

— Стреляй, фашистская сволочь! — с яростью выкрикнул Нырко.

Толстый разочарованно отступил:

— О, найн! Ты не будешь иметь легкий смерть.— Он поглядел на очкастого.— Нох айн! — скомандовал он, и тотчас же очкастый с еще большей силой схватил летчика за ступню.

На какие-то мгновения Федор лишился сознания. Когда он вновь обрел способность видеть и слышать, он сразу почувствовал, что в комнате что-то произошло. Пятеро фашистских солдат, сбившись в другом углу, ошалело хлопали глазами, не смея произнести ни одного слова. На пороге стоял в струнку в хорошо отглаженном серо-зеленом френчике моложавый офицер в фуражке с высокой тульей, а на солдат яростно наступал высокий худощавый человек в сером пыльнике и таком же сером дорожном клетчатом костюме. Он угрожающе занес палку над головой очкастого и громко выкрикнул:

— Век! Айн момент век! Цурюк, шнель!

Пятеро грязных, потных солдат мгновенно высыпали за дверь. Молоденький офицер остался стоять на пороге в прежней почтительной позе. Человек в штатском сделал шаг к Федору и остановился перед его кроватью. Узкое его лицо все еще полыхало гневом, и даже казалось, что на лысоватой голове остатки волос стоят дыбом.

— Надеюсь, что эти свиньи не успели причинить вам вреда? — осведомился он на чистом русском языке.

— Зачем вы убили нашего ранего офицера? — медленно проговорил Нырко.

Человек в штатском с разыгранной грустью вздохнул. Из глубоких гнезд на Федора пристально взглянули серые глаза. Их взгляд был тускло-бесстрастным. Сухими тонкими кистями рук человек провел по лицу от глубоких

залысин до острого, заметно выдающегося вперед подбородка.

— Вы имеете в виду этого фанатика? — кивнул он в сторону окна.— Этот фанатик застрелил одного нашего солдата и тяжело ранил двоих.— Штатский помолчал и прибавил: — Они навряд ли доживут до утра. И потом, ни одна война еще не обходилась без жестокостей.

— Вы и остальных убьете? — зло спросил Федор.

Немец отрицательно покачал головой:

— О нет. Убивать их мы не будем. Мы не такие кровожадные. Но по законам военного времени они являются пленными и поэтому будут содержаться в одном из лазаретов ближайшего концлагеря. Медперсонал также будет отправлен туда. А это здание мы отдадим под госпиталь для немецких офицеров. Вот как все это будет, господин майор Нырко.

— Откуда вы знаете мою фамилию? — насупился Федор.

— О! Это большой разговор! — усмехнулся одними глазами штатский.— И он у нас впереди. А сегодня вы должны как следует отдохнуть от всех потрясений. В палате останется наш солдат с предписанием удовлетворять каждое ваше желание.

Штатский обернулся к молоденькому офицеру и быстро сказал ему по-немецки несколько фраз. Напрягая свою память, по отдельным словам Федор понял, что штатский предписывает хорошо его накормить и тщательно осмотреть палату, чтобы в ней не осталось никакого оружия и ни одного острого предмета. Ремни и полотенце также предлагалось изъять. «Боятся, что покончу самоубийством,— усмехнулся про себя Нырко.— Ну и дураки. Слишком большая роскошь повеситься или вскрыть себе вены, не уничтожив ни одного врага при этом. Однако я им зачем-то нужен». Штатский приветливо поднял вверх острый подбородок.

— Гутен нахт, господин майор. Завтра мы продолжим наш диалог.

9

Всю ночь грохотало шоссе, пропуская нескончаемый поток танков, самоходок, огромных крытых автофургонов с мотопехотой, грузовиков с боеприпасами. Но это был

совсем другой поток, нежели тот, к которому еще совсем недавно прислушивался майор Нырко. Это была лавина вражеской живой силы и техники, устремившаяся к столице. Враг выходил к ее дальним подступам. «Завтра во всех наших газетах небось появится Московское направление,— с болью подумал Нырко.— Но мне этих газет увидеть уже не придется».

Рано утром его отвезли в операционную и положили на стол. Три немецких хирурга в белых халатах долго разбинтовывали ногу, причиняя при этом страшную боль, от которой несколько раз летчик терял сознание. Над своей головой, приходя в себя, Федор слышал немецкую речь. Когда-то в восьмом и девятом классах на всех зачетах и олимпиадах по немецкому языку он получал только отличные оценки, сам не понимая, почему так легко этот язык ему дается. Соседка по парте, рыженькая Настя Беседина, подшучивала:

— Ты зачем так старательно его штудируешь? Или в Германию к Гитлеру собираешься?

— Угадала. Собираюсь,— беззлобно подтверждал Федор.— Только не к Гитлеру, а к Тельману.

Сейчас он сумел проникнуть в смысл разговора. Хирурги считали, что недели через три гипс можно уже будет снимать, и, судя по всему, раненая нога успешно заживет.

После завтрака в палату, из которой уже была вынесена кровать убитого фашистами интенданта Птицына, вошел вчерашний штатский немец и сел на тот же самый единственный стул с зеленой обивкой, на который совсем недавно садились военврач второго ранга Коваленко, красивая Стрелка, интендант Птицын. Немец был в другом, уже черном костюме. Из-под твердого накрахмаленного воротника белой, идеально чистой рубашки спускался такой же строгий черный галстук, и, если бы не желтенькие горошины на нем, можно было подумать, что немец собрался на какую-то траурную церемонию. Вытянув ноги в черных лакированных длинноносых ботинках, он лаконично осведомился о его самочувствии и без всяких дальнейших предисловий выпалил:

— Вам, разумеется, интересно знать, кто я такой? Не буду играть в молчанку. Я всего-навсего полковник нашей секретной службы.

— А мне все равно — солдат вы или полковник,—

вяло отозвался Нырко.— Главное заключается в том, что вы мой враг.

Немец помедлил и сказал:

— А знаете, у нас с вами есть одно общее.

— Едва ли.— На губах майора появилась ироническая усмешка, но немец решительно запротестовал:

— Нет, есть. Сила ненависти. Я больше всего на свете ненавижу коммунизм, а вы фашизм, который у меня на родине именуют национал-социализмом.

Нырко внимательно посмотрел на своего собеседника, прочел иронию в глубоко спрятанных глазах.

— Угадали.

— Меня зовут Вернер Хольц. Запомните это, ибо меня не покидает надежда, что нам предстоит долго общаться,— продолжал немец.— Предпочитаю иметь дело с врагами умными. Вы к категории глупцов не относитесь.

— Откуда такая потрясающая уверенность, господин полковник? — скривил губы Нырко.— А вдруг...

Немец молча порылся в карманах, достал аккуратно сложенную газету и протянул ее раненому. Это была газета их фронта за восьмое июля. На первой странице он увидел знакомый фотоснимок. В центре небольшой группы летчиков он рассказывает о воздушном бое, сопровождая свои слова теми жестами, без которых ни у одного летчика не обходился еще рассказ о сбитом противнике. Под снимком крупный заголовок «Двойной таран в одном воздушном бою».

— Теперь понимаете, господин Нырко, почему я вчера назвал вас по имени?

— Понимаю.

— Один великий философ, вот забыл кто именно, говорил: «Почему не заводят себе друзей, одни из которых служили бы для веселья, другие для рассуждений?»

— Это утверждал Гельвеций в своих миниатюрах,— тихо подсказал Нырко.

Немец одобрительно закивал головой:

— Ого! Я же говорил, что вы к категории глупцов никакого отношения не имеете. Так вот, господин Нырко, отныне считайте, что я ваш друг для рассуждений, пусть они и будут у нас несовместимыми.

— Извольте, господин Хольц,— пожал плечами Нырко,— если, конечно, эти рассуждения вы не будете ис-

пользовать для того, чтобы добиться от меня разглашения каких-либо военных сведений.

Немец в штатском впервые за весь разговор рассмеялся мелким, неприятно трескучим смешком.

— О что вы, господин майор! Неужели вам могла прийти в голову мысль, что я попытаюсь превратить нашу беседу в нудный допрос и стану расспрашивать вас о том, сколько истребителей в вашем полку, с какой скоростью летает ваш Як-один, кто командует эскадрильями? Если хотите, я сам об этом скажу. Ваш сорок третий авиаполк до войны был вооружен истребителями И-шестнадцать, две трети которых потерял в первые четыре дня войны, командовал им майор Костромин, который был на пятый день войны сбит нашей зенитной артиллерией, а тремя эскадрильями вашего полка командовали старшие лейтенанты Кропотов и Ершов и капитан Балашов Виктор Степанович. Первые два сбиты опять же нашими истребителями, а капитан Балашов после вашего ранения исполняет обязанности командира полка вместо вас, господин майор. Он летает по сей день и, надо признаться, доставляет нам довольно много неприятностей.

— Да-а, Витька — он ас! — вырвалось у Федора.— Но откуда вы все это знаете с такими подробностями?

Вернер Хольц снова рассмеялся:

— Не из сочинений философа Гельвеция, господин майор. У нас слишком густая разведывательная сеть. Это я вам как полковник секретной службы говорю. Так что у меня нет никакой необходимости расспрашивать вас о полковых новостях. Лучше я вооружу вас информацией, которая будет для вас новостью.

— Попробуйте,— прикидываясь равнодушным, сказал Федор.

— Вы знаете, кто пилотировал звено «юнкерсов», намеревавшихся бомбить ваш штаб фронта под Могилевом? Знаете, кого вы таранили?

— Не-ет,— озадаченно протянул Нырко.

— Полковника Эриха Ратова. Одного из лучших асов рейха. Любимца самого Геринга.

— Ого! — с заблестевшими глазами воскликнул Нырко, не пытаясь скрывать своей радости. Но через минуту лицо его помрачнело от мысли, что фашисты этого ему ни за что не простят и расправа, предстоящая с ним,

будет еще более жестокой. Вернер Хольц, казалось, прочел эту мысль.

— Не опасайтесь,— сказал он насмешливо.— На вашей судьбе это обстоятельство никак не отразится. Мы, немцы, приверженцы рыцарских обычаев и всегда уважаем храброго врага. Еще раз хочу вам напомнить, что никаких допросов не будет. Лучше будем продолжать разговор о философии. Скажите, господин майор, а как вы относитесь к Ницше и Шопенгауэру?

— На моем щите их имена не написаны,— пожал плечами майор.— Это ваши идеологи. Теория сверхчеловека мне чужда.

Хольц положил узкие ладони на свои колени и надменно сказал:

— Напрасно. Немецкие философы тоже кое-чему научили мир.

— Научили,— подтвердил Федор.— И за это я многим из них признателен. Фейербаху, Гегелю, даже Канту с его «вещью в себе». И конечно же, Фридриху Энгельсу, которого вы сжигаете на кострах оттого, что чертовски боитесь.

— М-да,— вырвалось у немца.— Весьма интересно, господин Нырко.

— Между прочим, тот же самый Гельвеций однажды сказал: «Люди всегда против разума, когда разум против них». Вероятно, он уже тогда имел в виду вашу фашистскую машину.

Хольц надменно поднял узкий, чисто выбритый подбородок и глазами показал за окно.

— Ту самую, что с огромной скоростью мчится сейчас к вашей столице?

— А вы не думаете,— зло спросил Нырко,— что она с такой же скоростью будет мчаться от нее в обратную сторону? Неужели вы серьезно верите в то, что за два-три дня возьмете Москву?

Тонкие бледные губы немца долго не разжимались.

— Хотите, скажу с предельной откровенностью? Но только, разумеется, доверительно?

— Я в гестапо на вас доносить не пойду,— усмехнулся Федор.

— Я не верю, что наши войска возьмут вашу столицу с ходу. Слишком твердый орешек,— проговорил Хольц жестко.

Нырко пристально посмотрел на своего собеседника. «Странный немец. С одной стороны, матерый, законченный фашист, а с другой — такая непозволительная точка зрения».

— А если я все-таки донесу,— сказал Нырко с холодной ухмылкой.

На лице у немца не дрогнула ни одна жилка.

— Вас немедленно уничтожат, и только,— ответил он равнодушно и с явным огорчением поглядел на раненого летчика.— А мне бы очень не хотелось лишаться такого оригинального собеседника.

— Вы правы,— спокойно отметил Федор.— Уничтожат,— и, подтянувшись на руках, выглянул в открытое окно.

На заасфальтированной площадке перед госпиталем стояло несколько фашистских автомашин, труп интенданта Птицына давно был убран, и оставшиеся пятна крови засыпаны мелким желтым песком с чисто немецкой аккуратностью. Федор вздохнул. Хольц недовольно нахмурил брови:

— Не надо обращаться к призракам, господин майор. Мы не на спиритическом сеансе.

— Вы угадали, полковник, — вздохнул Нырко.— Я действительно подумал сейчас об убитом вашими солдатами моем соседе по койке.— Он помолчал и продолжал: — Знаете что? Мы сейчас напоминаем боксеров, которые осторожно движутся по рингу в ожидании атаки. Грустно сознаваться, но первый удар наносите вы. Я только готовлюсь к обороне.

— Правильно,— одобрительно отозвался немец.— Считайте, что я этот удар уже наношу. Впрочем, какой это удар. Это не удар, а деловое предложение. Вы знаете, кто вам делал сегодня перевязку?

— Откуда же?

— Один из самых выдающихся хирургов великой Германии профессор Гутман, к услугам которого у нас прибегают самые видные люди. Его специально для этого перебросили из Смоленска на «зибеле» и полчаса назад отправили обратно. Я мало что смыслю в рентгеновских снимках, которые он мне демонстрировал, но твердо уяснил одно: через три недели гипс снимут и вы будете ходить с костылем, а месяца через два-три сможете и взлететь.

— С площадки концлагеря, что ли? — мрачно осведомился Федор.

Хольц рассмеялся.

— Однако чувство юмора вас не покидает. Одобряю, но тут же вношу поправку. Пусть не тревожит вас это невеселое слово. Видите ли, господин майор, мы не сошлись с вами на философских категориях. Ваши любимые мыслители не нравятся мне, мои — вам. Но есть одно философское течение, которое нас должно объединить. Был когда-то давно на нашей грешной земле великий жизнелюбец Эпикур, породивший эпикурейство. В самом деле, что может сравниться с любовью к жизни, с возможностью ею наслаждаться. Вот мы заговорили о полетах. Все зависит от вас. Если захотите, вам будет предоставлена возможность летать.

— Мне?! — вскричал Нырко и даже приподнялся от неожиданности.

— Да, вам,— спокойно подтвердил Хольц и утвердительно кивнул лысеющей головой.— Не сразу, конечно, но будет. Вместо того чтобы возить на тачках кирпич или работать в какой-нибудь штольне в качестве военнопленного, вы будете служить в центральной или западной Германии в одном из наших учебных авиационных центров. Такому асу, как вы, овладеть пилотажем на «Мессершмитте-109» не составит особого труда. И не подумайте, что взамен мы потребуем от вас вести какую-либо подрывную работу против вашей страны. Теперь вы поняли, чего я от вас хочу?

Федор громко задышал и, сам того не замечая, сжал пальцы в тяжелые кулаки. Плотно стиснутые его губы побелели. В черных глазах под слетевшимися над переносьем крыльями бровей можно было прочитать гнев и сознание своей полной беззащитности. И Хольц это прочел.

— О! Вам не надо такого нервного напряжения,— сказал он жестко и высокомерно,— лучше надо подумать.

— А если я не соглашусь?

В глазах у немца блеснула ярость. Но только в глазах. Лицо оставалось по-прежнему спокойным и бесстрастным. Он даже голоса не повысил, когда сказал:

— О, не надо быть таким горячим. Чувства никогда не должны преобладать над рассудком. Если вы откажетесь, это будет огорчительно. В этом случае вашего доб-

рого интеллектуального наставника, — он гордо ткнул себя длинным указательным пальцем в грудь,— немедленно удалят, а его место займет типичный силовик,— на лицо у немца появилось выражение страшной брезгливости.— Знаете, господин майор, я делю офицеров нашей службы на психологов и силовиков. Психолог перед вами, а что такое силовик, вы понимаете и без пояснений.

— Значит, допросы, побои, пытки?

Хольц спокойно достал из кармана серебряный портсигар, вынул из него папироску.

— Скорее всего, так, как вы сказали,— подтвердил он.— Но может быть и другой, не более лучший вариант. Силовика не пришлют.

— И оставят вас до конца перематывать мне нервы?

Хольц выпустил затейливое кольцо прогорклого фиолетого дымка и долго следил за тем, как оно распускается, поднимаясь вверх, а потом и размывается, исчезая из виду.

— Нет. Мне уже здесь торчать будет нечего. Есть еще один способ сделать человека заживо погребенным даже для родных и самых близких. Допросов и пыток не будет. К вам придут журналисты и фоторепортеры из «Фолькишер беобахтер», и в одном из ее номеров, возможно, даже на первой странице, появится ваш портрет и большое интервью с вами, из которого будет явствовать, что вы, командир советского авиационного полка, под номером сорок три, добровольно перешли на нашу сторону, навсегда порываете с большевизмом и становитесь под боевые знамена фюрера.

— Ну и черт с ними, пусть пишут, — махнул беспечно Федор рукой.

— Нет, подождите, — остановил его немец и аккуратно стряхнул пепел в розоватую раковину, которая неизвестно каким путем появилась на тумбочке, пока Нырко спал. Вероятно, приставленный к нему солдат хорошо знал повадки этого полковника. — Подождите, майор, — повторил Хольц, — одно небольшое уточнение. Скажите, какого вы мнения о нашем воздушном разведчике «Фокке-Вульф-189»?

— О «раме»?

— Да. Кажется, так прозвали его ваши пехотинцы.

— Ничего машина, соответствует своему назначе-

нию, — сдержанно ответил Нырко. — Броня на ней хорошая. Не сразу такая машина в воздушном бою загорается. Однако вашему покорному слуге приходилось. Одну «раму» отправил на тот свет.

— Предположим, — не очень охотно согласился Хольц. — Так вот, когда-нибудь на закате или на рассвете очередная «рама» выбросит на том участке фронта, где будет сражаться ваш полк, тысячи три листовок с вашим портретом и этим самым интервью. На русском языке, между прочим, — прибавил он вкрадчиво, с удовлетворением замечая, как меняется выражение лица у раненого летчика. — Полсотни из них будут наверняка доставлены в ваш Особый отдел. Вас потом расстреляют, но дело не только в этом. Вы относитесь к той породе людей, которая не боится смерти. Но долгие годы после вашей гибели на вашей собственной родине вас будут считать предателем и изменником.

— Какая мерзость! — выкрикнул Федор.

— Вот и выходит, что нет у вас, господин майор, иного выхода, как принять мое предложение. Решайтесь.

Напряженная тишина повисла в комнате. Кусая от бессильной ярости губы, Федор смотрел на занавеску с розовыми корабликами. Окно было приоткрыто, и ветер чуть-чуть ее колебал. Со стороны шоссе доносился ровный гул проходящих на восток фашистских частей. И вдруг в дополнение к нему в небе возник другой, звеняще-веселый, такой знакомый, наплывающе-грозный самолетный гул. Нестройно забухали зенитки, но было уже поздно. Нарастающий рев авиабомб возник над крышей госпиталя, пригнул верхушки сосен. По коридорам забегали немцы, истошно заголосили: «Аларм!» «Вот бы одна угодила в нас... — усмехнулся Федор. — И сразу бы потемки, пожар, и не надо принимать никаких решений. Все завершилось бы естественно, само собой». Но бомбы легли далеко от них. На шоссе что-то загорелось, донеслись отчаянные крики. Кусок штукатурки упал немецкому полковнику на колени. Хольц коротким точным движением сбросил его на пол, вытер белое пятнышко на брюках. На его лице не дрогнул ни один мускул.

— А у вас завидная выдержка, — сказал Нырко.

Немец, польщенный этими словами, гордо кивнул головой.

— Еще бы. Ведь я воюю значительно раньше, чем

начали это делать наши вооруженные силы. — Отвернув обшлаг накрахмаленной белой рубашки, он посмотрел на часы и вздохнул: — Покорно извините меня, господин майор. Слишком много дел. И долго ждать ответа я не могу.

— Каким временем я располагаю? — мрачно спросил Федор.

— Завтра в девять утра я вас навещу, — проговорил немец, вставая и делая первый шаг к двери. — Думайте, Нырко, думайте, ибо, как говорил один из ваших великих полководцев, «первый выстрел воля, второй неволя». Рюмку коньяку не хотите?

— Стакан, — хрипло согласился Федор.

— Зер гут, — улыбнулся Хольц, — пришлю вам целую бутылку «мартеля». Но утро — последний срок!

10

Мысли, мысли! Всегда ли вами можно управлять, определив в направленный строгий поток ваше бесконечное течение? Как часто бывает, что уводят они человека далеко от той стези, какой хотел он придерживаться в своих рассуждениях, и уводят так быстро, что он и сам поражается этой скорости. Но в нестройном их течении всегда рождается истина: иногда гордая и возвышенная, иногда неизбежно-мрачная и единственная, пугающая своей безысходностью.

Лежа с полузакрытыми глазами, Федор невесело думал: «Когда-нибудь люди, наверное, изобретут самолет, летающий со скоростью звука, а потом какой-нибудь, уже не самолет, а по-другому именующийся аппарат, способный летать со скоростью света, но со скоростью мысли едва ли».

Фашистский солдат, опекавший его в первую ночь, был из комнаты удален, но находился где-то рядом. Вероятно, это он, готовый в любое мгновение появиться на пороге палаты, ходил сейчас по коридору тихими размеренными шагами, что-то себе под нос насвистывая. Федор прислушался и распознал мотивчик. «Черт побери, да это ведь та самая «Роза-мунде», без какой не обходится у немцев ни один концерт и ни один вечер. До чего же, право, незатейливый репертуар у представителей третьего рейха». Взгляд Федора задержался на тумбочке и

тарелке с остатками ужина — желтым куском омлета с запеченным ломтиком ветчины. Рядом с тарелкой блюдце с нарезанным лимоном и бутылка «мартеля» с яркой этикеткой. Из нее он уже выпил несколько рюмок. «Ладно, — вздохнул Федор, — выпью и еще. Пускай коньяк оглушит, тогда легче на что-либо решиться».

Отодвинув в сторону рюмку, он налил коньяк в пустой стакан от чая, наполнив его до половины. Вероятно, он крякнул так оглушительно, что немецкий солдат за дверью даже перестал бубнить свою «Роза-мунде».

Согревающее тепло прошло по жилам. Федор пристально поглядел на прямоугольник окна, задернутый плотной светомаскировочной шторой.

«А что, если тихо-тихо распахнуть эту штору, раскрыть окно, закусив губы от боли, и любой ценой взобраться на подоконник, так чтобы сразу перевеситься всем своим корпусом на ту сторону и загипсованная раненая нога не могла удержать?.. Отставить! — горько скомандовал он самому себе. — Слишком мала высота, и никакое земное притяжение не поможет. Только искалечишься еще больше, а немцы вернут тебе жизнь, чтобы поиздеваться вдоволь перед казнью. Разве не так? И потом, когда не будет уже тебя в живых, действительно, как пообещал этот Вернер Хольц, выпустят фальшивую, но убедительную листовку, оскверняющую память о тебе самым тяжелым из обвинений — обвинением в предательстве!»

Он в одно мгновение представил, как шестидесятилетний отец, оседлав свой крупный нос старомодными очками в небогатой оправе, будет дрожащим голосом читать матери эту листовку, и та, не дослушав до конца, упадет как подкошенная и забьется в страшном плаче. А где-то от них далеко совсем уже в другом городе еще одна женщина, такая ему преданная и близкая, с зелеными задумчивыми глазами, плохо умеющими скрывать нежность, много ночей проведет в тоске и рыданиях. А ребята... Огромный грубоватый Витька Балашов — прежде всего. И у него ведь гримасой страдания передернется лицо, и он, его верный ведомый в недалеком прошлом, воскликнет безотрадно: «Эх, Федька, Федька, неужели проклятые фашисты такую сталь сломили!»

«Нет, не годится такое решение! — сказал самому себе Федор и горько спросил: — А что же остается еще?

Сказать «нет» и пойти на пытки с гордо поднятой головой? Выполнить до конца строку из военной присяги о том, что сдача в плен равносильна предательству? Но ведь и после того, как его замучат в какой-нибудь тюремной камере, все равно подобная листовка будет выпущена и покроет его несмываемым позором. Так что же, Федор? Думай скорее, Федор! Что тебе остается еще...»

Текла ночь, самая быстрая и короткая из всех ночей, какие он прожил за всю свою недолгую жизнь. Правда, была и еще одна такая же короткая у него ночь. Но короткая не от горя, а от счастья. Та ночь, когда Лина спала со счастливой улыбкой на его плече, а он с мальчишеской прямотой думал о том, что не будет у него в жизни больше никогда иной женщины, что только эту, с ее неповторимыми зелеными, чуть грустными глазами, будет он всегда любить с одинаковой силой. Но разве можно сравнивать эти две ночи?! Федор потянулся к бутылке «мартеля», в новый раз наполнил стакан. Эта доза коньяка показалась горькой, противной. Лимон смягчил ощущение. Крупными своими пальцами он взял с тарелки сразу весь кусок яичницы с ветчиной и сунул в рот. Про себя усмехнувшись, вспомнил, что есть в авиации такое слово — «проигрыш». Им называют последнее занятие, происходящее на земле, перед полетом. На нем выясняются самые сложные вопросы, повторяются те правильные решения, которыми должен воспользоваться каждый пилот в опасной ситуации. Бывало, что это занятие иной командир проводил с большой долей примитивизма. Выстроив красивых рослых парней, заставлял их ходить с растопыренными руками в том примерно порядке, в каком они должны были находиться в воздухе в кабинах своих истребителей, на таких же интервалах и дистанциях и даже жужжать, подражая моторам. Федор всегда возмущался и этим примитивизмом, и тем, что такое самое ответственное занятие именовалось в инструкциях «проигрышем».

«Я сейчас провожу такое занятие, — подумал он про себя печально, — но только «проигрышем» его называть не имею права. Я не собираюсь проигрывать, даже если и вышел на свой самый последний рубеж в жизни! Ни этот Хольт, ни даже сам Гитлер никогда не увидят меня сломленным. Надо только притвориться, умно и тонко притвориться и быть в этой игре тем клоуном, что выхо-

дит на арену цирка, только что похоронив единственную дочь». Он вздохнул и сам себя спросил: «А чего ты этим достигнешь?» Набрал полную грудь воздуха, ощущая, как от этого сами собой расправляются плечи и на смену безвольной расслабленности приходит ощущение разбуженной силы.

«Нет, дудки! Не стоит так рано хоронить самого себя, Федор. Сделать попытку совершить побег при переезде в центральную Германию ты сможешь? Сможешь. Значит, это — раз. А если не удастся, то будешь и на территории Германии искать если не своих разведчиков, которых может там и не быть в эту лихую годину, когда все и вся подавлено там фашизмом, то коммунистическое подполье. Не может же быть, чтобы там не осталось стойких тельмановцев. Это — два. Наконец, завоевав доверие, бежать домой на фашистском самолете, — это три. Ну а если придется погибнуть, то погибать надо будет достойно и красиво, так, чтобы у фашистов, начиная с этого вылощенного Вернера Хольца, мурашки по телу прошли и последние волосы стали бы на дыбки. Стало быть, выше голову, Федя, земли советской сын! Докажи, что ты эпикуреец, но эпикуреец особый, не продающий Родину за понюшку табака!»

Утром пришел полковник Хольц, но уже не в штатском костюме, а в мундире полковника гитлеровской армии и, посмотрев на почти полностью опустошенную бутылку «мартеля», пораженно воскликнул:

— О-ля-ля! Судя по этому оскудевшему сосуду, у вас была ночь, полная философских раздумий.

— Вы неплохой психолог, Вернер, — с подчеркнуто дружелюбной улыбкой воскликнул раненый советский летчик.— Эпикур победил во мне все системы и ваших и наших философов. Считайте, что я даю согласие.

11

Прошло полгода. Коричневый приземистый «хорьх» — одна из лучших легковых машин третьего рейха — скользил по мокрому асфальту широкой и совершенно пустынной Унтер-ден-Линден. Сетка моросящего дождя висела над серыми кварталами Берлина, а весенний воздух был пропитан запахом гари, витавшим над мрачными остовами разбитых при бомбежке зданий.

Федор Нырко и полковник Хольц, откинувшись на кожаную спинку заднего сиденья, вели неторопливый разговор. На Федоре была форма офицера военно-воздушных сил, лишь без знаков различия, с нашитыми на парадный темно-синий френч позолоченными эмблемами фашистских люфтваффе. Отдернув занавеску, он всматривался в мелькавшие здания и редких пешеходов в блестящих прозрачных разноцветных плащах с высоко поднятыми над головами зонтиками. Многие несли в руках кошелки со скудным продовольственным пайком военного времени. В руках у чиновников всевозможных фашистских ведомств и канцелярий были коричневые и черные портфели из эрзац-кожи. На темных ноздреватых фронтонах домов висели лозунги, проклинающие до сих пор не уничтоженную Красную Армию, правительство Сталина и его союзников. Злое чувство радости грело Федора, но радость эту никак нельзя было сейчас проявлять. Слишком проницательным был его сосед, прикрывавшийся напускной невозмутимостью. Он и теперь угадал ход его мыслей.

— Любуетесь нашими руинами? — осведомился он сухо.

— Зачем же? — усмехнулся Федор. — Я же все-таки добровольно давал отпечатки пальцев и обязательство работать на новую Германию.

— Это верно, — теплее проговорил Хольц, и тотчас же озабоченно продолжил: — Имейте в виду, господин Нырко, визит, который мы сейчас должны с вами нанести, может сыграть большую роль в вашей судьбе. Высокое лицо, которое нас через несколько минут примет, терпеть не может низкопоклонства. Рекомендую держаться скромно, с достоинством и быть до конца правдивым.

— Постараюсь, — буркнул Федор.

Их долго вели по длинному коридору, и, судя по тому, с каким почтением козыряли Хольцу офицеры в форме люфтваффе, Федор подумал, что этого полковника секретной службы достаточно хорошо знают и в высших фашистских сферах.

У белых дверей с массивными золотыми вензелями их остановили два рослых эсэсовца. Хольца спросили, есть ли у него какое-либо оружие, а Федора быстро и бесцеремонно обыскали, такого вопроса не задавая. По-

том один из них, коротко бросив: «Гут», — растворил обе половины двери, и они оказались в очень обширной приемной с двумя громоздкими столами, один из которых был пуст, а за другим сидел полковник с помятым красным лицом и опухшими веками. Небрежным кивком он указал Хольцу на другую дверь, и это означало: «Можете заходить». Следом за Хольцем, неслышно ступая по дорогому ворсистому красному ковру, Нырко долго пересекал огромный с высокими сводами и картинами в золоченых багетах кабинет, где фигура тучного коренастого человека, стоявшего над столом, уставленным десятками телефонных аппаратов, казалась случайной и явно затерянной. Не подавая ни одному из них руки, он лишь чуть-чуть склонил голову в полупоклоне, так, что даже светлые волосы не разметались над его широким лбом. От заданной улыбки вздрогнул увесистый подбородок этого человека, но голубоватые глаза остались холодными и настороженными. Человек был в охотничьей расстегнутой куртке и высоких, ладно сидевших на его толстых икрах сапогах. На подоконнике лежало ружье с переломленным стволом в роскошной серебряной оправе, а рядом стояли патроны. Очевидно, высокопоставленный хозяин этого кабинета куда-то собирался. Он оперся широкими пухлыми ладонями о край стола, и на пальцах сверкнули дорогие перстни. Холодные глаза цепко и заинтересованно рассматривали Нырко.

— Хольц, — сказал он, не глядя на полковника, — передайте вашему подопечному, что я все знаю о его судьбе. И спросите, известно ли ему, что в воздушном бою над Могилевом он сбил полковника Эриха Ратова?

Майор Нырко щелкнул каблуками и сказал: «Яволь!»

Человек засунул пухлые руки в карманы охотничьей куртки и не то одобрительно, не то порицающе покачал головой.

Чем пристальнее всматривался в него Нырко, тем все больше и больше незнакомец ему кого-то напоминал. Но кого? На этот вопрос Федор ее мог ответить.

— Полковник Эрих Ратов был одним из моих самых любимых асов, — сказал незнакомец и вновь пристально посмотрел на Федора. — Однако это не означает, что я испытываю к вашему подопечному чувство ненависти. Мы, немцы, умеем уважать храброго врага. Передайте,

что я приветствую его согласие воевать на стороне войск фюрера против англо-американских плутократов. Ваша же идея, Хольц, о создании особой эскадрильи для боевых действий против английских ВВС из русских пленных летчиков, заслуживающих доверие, достойна самой большой поддержки, и мы ее осуществим.

Человек в охотничьей куртке подал Хольцу руку, а Федору доброжелательно кивнул. И оба поняли: аудиенция закончилась.

12

Почти на самой окраине города в конце Франкфурталлее была небольшая неброская трехэтажная военная гостиница. Проживал в ней очень пестрый народ, никогда не стремившийся устанавливать друг с другом тесные знакомства. В небольшом ресторанчике, сидя за одними столиками и цедя кружку за кружкой янтарное пиво или проглатывая согревающий стаканчик доппель-кюммеля, постояльцы обменивались лишь самыми общими фразами, не обязывающими к установлению близких отношений. Майору Нырко был выделен скромно обставленный угловой номер с большим окном в виде фонаря, выходящего на людную улицу, по которой беспрерывно катили желтые трамваи.

После приема Федор и Хольц возвратились в этот номер. Федор с некоторым удивлением отметил в своем опекуне резкую перемену. Казалось, обычная ледяная выдержка покинула полковника. Его движения стали суетливыми, речь веселой. Потирая длинные белые ладони, Хольц фамильярно воскликнул:

— А что, дорогой господин Федор, не распить ли нам сегодня бутылочку чего-нибудь крепкого? Давайте-ка ваши продовольственные талоны на сегодняшний день, и я распоряжусь.

Вскоре на столе появилась дешевенькая скатерка, ловко накинутая кельнером, и на ней тарелки с сосисками и тушеной капустой, бутылка водки и рюмки. Федор вдруг вспомнил, кого напоминал ему тучный человек в охотничьей куртке, так уверенно чувствовавший себя в огромном кабинете с редкими полотнами на стенах. Он даже вздрогнул от неожиданной догадки, рожденной сходством с газетными фотоснимками.

— Скажите, Вернер, тот, кто нас сегодня принимал, это не Геринг?

Хольц кокетливо пожал плечами и с веселым смешком ответил:

— Не знаю, не знаю, честное слово, не знаю. Но это, право, не имеет решительно никакого значения. Важно другое. Важно, что тот, кто сегодня нас принимал, поддержал и благословил мою идею. — Серые глаза Хольца, словно в норы, ушли в глубокие глазницы, но и оттуда весело, а не бесцветно, как обычно, глядели на Федора.

— Знаете, кто вы есть для меня, господин Нырко? — спросил Хольц, сбиваясь от волнения на немецкий строй речи. — Вы есть для меня конек-горбунок из сказки вашего волшебного русского сказочника Ершова, и на вас я надеюсь поскакать далеко вперед по лестнице служебных должностей и чинов. Но и вам от этого плохо не будет, господин Нырко. Считайте, что и ваш вопрос решился во время этого визита. В начале будущей недели мы поедем в район Магдебурга в один из наших учебных центров, где вы будете зачислены на должность инструктора. Но, как вы и сами полагаете, чтобы учить других, вам сначала придется учиться самому.

— А если не смогу? — чокаясь, усмехнулся Федор.

Они выпили, и немец возмущенно замахал руками.

— Что не сможете? Научиться пилотировать на «Мессершмитте-109»? Да вы на самом черте сможете научиться летать, если захотите!

— Спасибо за комплимент, — насмешливо отозвался Нырко и налил еще по рюмке.

— Так вот, — продолжал полковник, — когда вы научитесь не только пилотировать «мессершмитт», но и применять его в бою, мы сделаем вас командиром особой группы, куда войдут лучшие асы, пожелающие помогать Германии в этой войне.— Хольц отставил от себя пустую рюмку и вздохнул. — Однако не подумайте, что вас заставят воевать на Восточном фронте против своих. Мы, немцы, не настолько жестоки. Вы будете использованы в интересах противовоздушной обороны, защищать от англичан наши западные города. Вот ваше будущее, господин Нырко, но об этом прошу вас пока молчать, как каменная гора.

— Стало быть, я снова буду летать! — вырвалось у Федора.

— Будете, — важно подтвердил немец. — Слово офицера, будете!

— Спасибо, Вернер! — широко улыбнулся Нырко и вновь наполнил рюмки. — Давайте тогда за мой первый самостоятельный будущий полет на «Мессершмитте-109».

— За него мы еще не так выпьем, — засмеялся Хольц.

— Форвертс! — воскликнул Нырко и высоко поднял рюмку.

13

«Неужели это был Геринг? — с тоской и болью спрашивал себя Федор, затворив за полковником Хольцем дверь. — Геринг, по приказу которого разрушены десятки советских городов, уничтожены или заключены в концлагери тысячи людей? И я не бросился на него, не вцепился в это жирное горло, не схватил за ствол лежавшего на подоконнике ружья и не ударил его по башке прикладом?! Бог ты мой, да какое же может мне быть прощение?!» Федор обессиленно упал на кровать, уткнулся головой в подушку и глухо зарыдал. В незакрытую форточку проник с улицы сырой ветерок, постепенно остудил его разгоряченное лицо. Федор встал, провел рукой по звенящим вискам и жестко себя спросил: «А что бы мне удалось сделать? Высокий, леденяще спокойный, словно покойник, Хольц немедленно повис бы на мне, а на звонок Геринга вбежали бы два эсэсовца и попросту пристрелили бы на месте или замучили бы во время самых изощренных пыток. И осталась бы навсегда безвестной моя судьба неудачника-одиночки. Нет, подобный финал не к лицу. Апофеоз борьбы — это самопожертвование, — горько подумал Нырко. — Но жертвовать собой надо так, чтобы у врага по телу прошли мурашки. Надо погибать, обрекая на смерть и твоих врагов. И чем больше их погибнет, тем возвышеннее будет апофеоз твоей борьбы. Нет, мой час еще не настал!»

Он задумался. Перед глазами сумятицей отрывочных воспоминаний пробежали эти последние месяцы. Вернер Хольц! Едва ли можно представить себе более тонкого и умного, но и изощренного в своей жестокости врага. У него на учете не только каждое твое слово, но и каждый взгляд. Федор вспомнил первое свое искушение. Отлежав два месяца в смоленском госпитале для офицеров

гитлеровской армии, он уже спокойно передвигался по земле с помощью костылика, когда пришел Хольц и объявил: «Завтра уезжаем». — «Куда, если не секрет?» — поинтересовался Федор. «В Берлин, — последовал краткий ответ. — Там будете долечиваться, а остальное потом». В специальном поезде, отходившем из Смоленска в Берлин, все купе мягкого вагона были заняты военными, и только они с Хольцем, одетые в штатское, ощущали на себе вопросительные взгляды. Поезд подолгу простаивал на промежуточных станциях, а под Оршей раздались нестройные винтовочные выстрелы, истошные крики: «Аларм!» Оказалось, что горсточка партизан, сделав завал, обстреляла состав. Перед обедом, захватив полотенце, Федор прошел в уборную умыться и с замиранием сердца остановился у окна за которым проплывали поля и перелески Белоруссии. «Вот бы раскрыть его и на счастье спрыгнуть под откос. Поезд промчится, а я смогу бежать на восток, в надежде пересечь линию фронта, вернуться к своим». Он несколько раз попытался сдернуть вниз окно, окно оказалось закрытым намертво. В ярости он ударил кулаком по стеклу, но оно не дало ни малейшей трещины, осталось безразличным к сильному удару, как надежная каменная стена. Пуленепробиваемое — понял Федор. Он слишком долго пробыл в тесном туалете, а когда вышел в коридор, у самой двери, весь напружинившись, стоял полковник Хольц и укоризненно качал лысеющей головой, не сводя с летчика холодных глаз.

— Господин майор, ах, господин майор. Как же вы забыли о том, что в вагоне-ресторане нас уже давно ждут бифштексы. — Помедлил и добавил как бы между прочим: — К тому же я вас очень прошу, не повторяйте больше этих безнадежных экспериментов.

И тогда Федор окончательно понял, что путь у него только один: отрешившись от необдуманных попыток бежать из плена, зарабатывать доверие Хольца и ждать удобного случая. Он стал чаще ему поддакивать в их длительных беседах, с удовольствием принял его предложение изучить немецкий язык в тех пределах, в каких он мог потребоваться для переучивания на новый для него истребитель «Мессершмитт-109». Ежедневно в двенадцать дня к нему приходил облезлый субъект в древнем пенсне, поношенном пальто с рыжим воротником из

искусственного меха, некогда живший в России, но вывезенный сердобольными родителями в Берлин сразу же, как только грянула революция. Ровно час, минута в минуту, занимались они грамматикой и переводом, а потом Федор отводил его в ресторан и угощал сосисками и чашкой суррогатного кофе. Немец пил кофе мелкими глотками и с увлечением вспоминал, какие были в трактире у Тестова блины с икрой и расстегаи, каким ароматным был шустовский коньяк и как на масленицу залихватски скакали по Тверской на тройках.

— А теперь у вас очень плохо, — говорил пожилой немец, — кушать нечего, а Сталин — тиран, гонит вашу молодежь под немецкие пушки и танки.

— Да, плохо, — подтверждал Федор, — да, Сталин тиран.

Хольц приносил ему газеты и пестрые иллюстрированные журналы, рассказывающие о том, как армия фюрера громит советские войска. У майора Нырко радостно билось сердце, когда читал он скудные сообщения о том, что большевики предприняли под Москвой фанатическое контрнаступление, потеряли при этом много людей и боевой техники, а немецкие войска с целью выпрямления фронта отошли лишь на небольшое расстояние и прочно удерживают те рубежи, на которых высшее командование приказало им остановиться для перегруппировки. Однажды за этим занятием его застал внезапно вошедший Хольц и, сдвинув брови, сухим голосом спросил:

— Радуетесь?

— Да какое вы имеете основание так думать! — возмущенно выкрикнул в ответ Нырко.— Мне дорога туда отрезана.

— Это верно, — протянул полковник, не сводя с него пытливых глаз.— Одевайтесь побыстрее, господин Нырко. Машина у входа в гостиницу. Нам с вами надо посетить еще одно медицинское светило и договориться о процедурах. Я тешу себя надеждой, что в конце марта вы уже сможете танцевать.

«Черт с ним, если это даже был и сам Геринг, — подумал Федор, возвращаясь к действительности. — Нет ничего бездарнее глупой, неосмысленной гибели. Она никогда не была моей целью».

* * *

Федор и предполагать не мог, что он так быстро станет летать на «Мессершмитте-109». Его инструктор, невысокий, но крепко сбитый, удивительно рыжий обер-лейтенант Золлинг, после третьего тренировочного полета на двухместной машине выбрался из кабины, прихрамывая (он был ранен в декабре сорок первого над Клином, когда еле-еле ушел от преследующих МИГ-3 и после этого направлен в учебный центр), подошел к Нырко и протянул ладонь с короткими, будто обрубленными пальцами.

— Зер гут, русский! — улыбнулся он всем своим обветренным лицом, покрытым мириадами рыжинок. — Последний полет ты весь от начала и до конца проделал самостоятельно. И взлет, и набор высоты, и заход на посадку! — все зер гут!

— А вы бы после двух провозных на нашем «ишаке» самостоятельно по кругу слетали бы? — насмешливо спросил Нырко.

Золлинг схватился за живот и оглушительно захохотал:

— Да ты лучше любого конферансье, Федор! Я — и на «ишаке», на этой рус фанера! Шалишь, приятель. А кто потом будет мою дочь Ренату воспитывать? И за десять тысяч марок не согласился бы. — И он горделиво махнул рукой в сторону самолета, из которого они только что вылезли на стоянке. — Разве можно сравнить «ишак» и наш «мессер», как вы его называете!

«А ведь он в сущности прав, — подумал про себя Нырко, — действительно, летать на нашем И-шестнадцать гораздо сложнее и мастерства требуется значительно больше. А тут на третьем полете я уже самостоятельно производил весь пилотаж. Немец только был наготове исправить возможную ошибку».

— Немецкий «мессершмитт» зер гут! — сказал Федор и заулыбался.

Золлинг одобрительно поглядел на него.

— Полагаю, первый самостоятельный полет на «мессершмитте» вы должны сегодня отметить в нашем офицерском казино. Имею ли я, инструктор, право рассчитывать на пару рюмок коньяку?

— За чем же остановка, Вилли? — дружелюбно рас-

смеялся Нырко. — Я же честный и благородный ученик. Так что рассчитывайте на целый русский стакан, а не на две рюмки.

Поздно вечером они поднялись на второй этаж офицерского казино, построенного, как здесь говорили, перед самым наступлением на Советский Союз на окраине авиационного городка. Большие окна были плотно завешены маскировочными шторами. В огромном зале ярко блистали люстры, над стойкой бара поднимались сизые облака папиросного дыма, официанты бегали с подносами, на которых стояли тяжелые кружки с пивом, отчаянно бубнил джаз. Перед возвышением, предназначенным для музыкантов, топтались несколько пар. Подвыпившие черноволосые парни в летной форме танцевали какое-то стремительное танго, самым бесцеремонным образом прижимая к себе густо накрашенных партнерш. Золлинг презрительно передернул широкими плечами.

— Румыны везде остаются румынами, без баб не могут, — сказал он завистливо. — Ну и союзнички! Одно слово — дерьмо. Впрочем, итальянцы не лучше, — покосился он на окутанный табачным чадом угловой столик, облепленный дюжиной офицеров в незнакомой Федору форме. — Только пьют и жрут за наш счет, а в первом же бою норовят показать большевикам свои зады.

Когда на их маленьком столике появилась целая бутылка коньяку, а вместо маленьких, таких обычных для немецких кафе и ресторанов миниатюрных рюмочек, стаканы, соседи завистливо присвистнули.

— За твой успех, русский! — призвал Золлинг.

Они выпили по полстакана густую коричневую жидкость, не смакуя, а сразу, залпом. Нырко в последнее время почти не курил. Но на этот раз он вытащил свою любимую трубку с Мефистофелем, набил эрзац-табаком. Бросив курить перед самым началом войны, он никогда не расставался с трубкой и даже брал ее на все боевые вылеты, вплоть до последнего, в шутку именуя своим талисманом. Но сегодня, после вновь испытанного ощущения скорости и высоты, пусть даже на этом бесконечно чужом ему фашистском «мессершмитте», он был очень доволен. Летчик всегда жил в майоре Нырко и мог умереть только с ним вместе. Федор вспомнил о том, как в первые дни этой огромной страшной войны, заслышав пронзительно нарастающий вой «мессершмиттовского»

мотора где-нибудь под Смоленском или Вязьмой, беженцы в панике бросались прочь от дороги. «Ничего, — зло подумал Федор о «мессершмитте», — скоро ты сослужишь мне службу! Да еще какую!» Золлинг, всем окружающим на зависть, налил еще по полстакана, и в бутылке осталось уже меньше трети. Высоко подняв свой стакан, он почти выкрикнул «форвертс» и залпом опорожнил его.

— Русские должны учиться у немцев воевать, а немцы у русских — пить шнапс и коньяк! — воскликнул он.

Федор, знавший, что Золлинг на Восточном фронте провел всего два воздушных боя и после второго навсегда выбыл из фронтовой авиации, про себя яростно подумал: «Попался бы ты мне над Могилевом или Вязьмой, здесь бы тебе острить не пришлось!» Очевидно, Нырко не смог притушить как следует этой ярости в своих глазах, потому что его инструктор вдруг сказал:

— Почему стал такой мрачный, русский? Надо веселиться. Пилот должен иногда расслаблять нервы.

У входной двери возник какой-то шум, и они оба обернулись. По ярко начищенным паркетным плитам отяжелевшей пьяной походкой шел высокий захмелевший полковник, которого почтительно поддерживали с обеих сторон два майора. Около их столика все трое остановились. На форменном кителе полковника темнели Железные кресты. Федор увидел покрасневшее от алкоголя лицо, высокую шапку светлых волос над обветренным лбом, голубые глаза, в которых еще не померкла способность воспринимать окружающее.

— Это и есть тот самый русский? — спросил полковник, указывая пальцем на Федора.— Терпеть не могу подобных ублюдков. Предатели одинаково опасны как для тех, от кого они сбежали, так и для тех, кому собираются услужить. Он сейчас должен быть не здесь, а в одном из воздушных квадратов над Подмосковьем или Ростовом-на-Дону, где сражаются мои асы, и драться с ними. Если он был в одинаковом со мной звании, я бы его завтра же вызвал на дуэль и застрелил бы. Хоть на земле, хоть в воздухе! — Пьяно покачнувшись, полковник угрожающе поднял кулак, но в эту минуту откуда-то появился Хольц, которого уже несколько дней майор Нырко не видел, и сделал повелительный жест

майорам, поддерживавшим пьяного. Они немедленно поволокли его назад, к выходу.

К Хольцу из-за другого столика подбежал какой-то капитан в форме люфтваффе, которого Федор ни разу еще не видел, и почтительно вытянулся.

— Усилить наблюдение, он становится невыносимым,— торопливо произнес Хольц и, обернувшись, сказал одному только Федору по-русски: — Не обращайте на него внимания, господин Нырко. Алкоголь часто подводит даже самых умных людей. Продолжайте свой дружеский ужин, у вас есть для него повод. Все-таки первый самостоятельный полет на «мессершмитте»!

Когда они вновь остались одни, Нырко спросил у своего инструктора, кивнув на дверь, к которой вели заупрямившегося полковника:

— Кто это такой, Вилли?

Инструктор поднял вверх толстый, как сосиска, большой палец. Лицо его обрело восторженное выражение.

— О-ля-ля! Разве ты не знаешь, русский? Это же Хельдерс. Полковник Хельдерс. Командир нашей самой лучшей эскадры.

Федор постарался сделать веселое лицо:

— Не стоит дальше пояснять, Вилли. У него отличные пилоты. Их огонь над Смоленском и Вязьмой я на своей шкуре испытал.

14

Сжимая зубами трубку, Федор задумчиво смотрел в распахнутое окно своей небольшой комнаты. Борода Мефистофеля была окутана синими облаками табачного дыма. Федор курил не затягиваясь. Просто было приятно посидеть перед сном в одиночестве, когда весь город уже спал, а в тех квартирах, где семьи фашистских летчиков еще бодрствовали, окна были безукоризненно затянуты шторами и ни одна полоска света не пробивалась из них. Где-то неподалеку, очевидно над Магдебургом, стояло зарево прожекторов и глухо били крупнокалиберные зенитки по невидимым отсюда самолетам, скорее всего, английским. В последнее время бомбежки усилились, Федор этому радовался и тосковал, оттого что он не там, не под прожекторами и зенитками, на той высоте, с какой можно сбрасывать бомбы по этим

ненавистным городам и аэродромам. «Хотя бы этот аэродром когда-нибудь зацепили,— со злостью думал он.— Посмотрел бы я, как забегали бы все эти золлинги и хельдерсы, да и румыны в придачу, которые в свободное время норовят не вылезать из казино!» Было тоскливо от сознания, что обстоятельства его существования мало изменились, а роль пленного, решившего служить третьему рейху, дается все труднее и труднее. Еще одна надежда вырваться из плена померкла навсегда. Он рассчитывал, что не сразу, а со временем удастся овладеть двухмоторным бомбардировщиком, тайком проникнув в его пилотскую кабину, взлететь поперек старта и взять курс на восток, к своим. Но в этом учебном центре будущих фашистских пилотов учили летать исключительно на «мессершмиттах», радиус действия которых позволил бы долететь только до бывшей немецко-польской границы, не дальше. К тому же контроль за каждым его шагом все усиливался.

Правда, теперь ему разрешали в качестве инструктора летать на двухместном самолете с очень лаконичным объемом задания: взлет, зона, посадка. В передней кабине всегда сидел курсант, которого надо было готовить к самостоятельному пилотированию, обычно румын или итальянец, реже — немец. Лишь изредка разрешали ему полет на одиночном боевом «мессершмитте», но всякий раз как бы случайно горючего заливали в баки лишь на тридцать минут, не больше. «Вот и выходит, что я своими руками обучаю всю эту сволочь, которая потом проследует на Восточный фронт,— мрачно думал Федор.— Может, взять в очередном полете да и врезаться в землю с одним из таких пассажиров?» Но, задавая такой вопрос, он тотчас же себя пресекал: «Невелика честь отдать свою жизнь за какого-нибудь воспитанного Муссолини, пропахшего макаронами сопляка. Уж чего бы проще было тогда руками задушить самого Хольца. Все-таки полковник». Прикрывая широкой ладонью трубку, чтобы при очередной затяжке ни одна искра не нарушила светомаскировки, Нырко выпускал за окно в звездное небо одно облако за другим, продолжая свои размышления. «Нет, бездарное самоубийство — удел слабых. Самопожертвование — акт совершенно иной. Но оно должно быть таким, чтобы гибелью своей ты ошеломил врага, содрогнул его и, если можно, уничто-

жил как можно больше людей, одетых в фашистскую форму. Нет, мой час еще не настал, и я дождусь своего часа!»

Вынув изо рта догоревшую трубку, Нырко на ощупь отыскал на столе пепельницу, пододвинул к себе. Он вдруг вспомнил, что когда-то, уже давно, увидев эту трубку в его руках, Лина оживленно воскликнула: «Какая красивая! И чертик что надо. Дай посмотреть.— Она нежно погладила трубку и улыбнулась.— Федя, а можно я оставлю ее себе. Ты летчик, и тебе вредно курить».

Тогда он застенчиво улыбнулся и неуверенно возразил: «Бери, конечно. Только эта трубка, она, знаешь... она со мной всегда и на земле, и в воздухе. А курить я не курю, только понарошку дым пускаю».— «Она у тебя как талисман,— догадалась Лина.— Тогда ты мне ее не давай, пускай у тебя остается».

Потом эту трубку в обломках его разбившегося истребителя нашел Сережа Плотников и вернул уже в госпитале во время своего единственного, первого и последнего визита. Брал ее в руки и веселый интендант Птицын и, возвращая, сказал: «Хороша, едят тебя мухи с комарами». Федор заботливо обернул ее носовым платком и спрятал в карман грубошерстных брюк немецкого покроя. «Нет, дорогие друзья, погибшие и сражающиеся,— прошептал он грустно,— никто из вас не имеет права сказать, что майор Нырко когда-нибудь может дрогнуть перед врагом. Никто!»

15

Рано утром неожиданно появился полковник Хольц. В последнее время он всегда появлялся неожиданно. Потолкается в учебном центре несколько часов, забежит в ресторанчик чего-нибудь наскоро перехватить и так же внезапно, как я появился, исчезнет. Сейчас он был в новом парадном мундире с ярко начищенными пуговицами, и на обычно худощавом лице сияла откровенная радость.

— О, дорогой господин Нырко, пока вы безмятежно спали, солдаты вашего гарнизона за одну ночь построили трибуну на целых двести персон. Послезавтра под ажурным тентом на новеньких скамеечках будут сидеть са-

мые почетные гости, в том числе и ближайшие помощники министра авиации.

— И в честь чего все это произойдет? — деликатно улыбнулся Федор.

— Мы будем проводить большой праздник по случаю выпуска первой группы пилотов, состоящей из румын, немцев и итальянцев. Так сказать, символ того, что вся Европа сражается против большевизма. Не буду от вас скрывать, начинается наше генеральное наступление на юге России, и этому отряду летчиков предстоит сражаться у Волги, сопровождать могучие колонны наших «юнкерсов», которые будут бомбить Сталинград,— захлебнулся Хольц.— Но это еще не все, господин Нырко. Я не сказал самого главного. Вам доверяется, как лучшему инструктору, открыть пилотажем этот праздник.

— И мне на этот раз зальют горючего в баки больше, чем на тридцать минут полета? — издевательски спросил Федор.

Хольц поморщился.

— О, господин Нырко, это была недопустимая выходка, к которой я не имею никакого отношения, и еще накажу виновных!— воскликнул он с фальшивым возмущением.— Но давайте забудем... Вы покажете мастерский пилотаж, а потом после завершения праздника, вам на этой только что построенной трибуне будет торжественно присвоено звание капитана люфтваффе.

— Неужели! — воскликнул на самом деле удивленный Федор, и вдруг широкая ликующая улыбка появилась на его лице.

— Рады? — всмотрелся в него холодными серыми глазами Хольц.

— Так ведь еще бы!— взмахнул руками Федор.— Звание капитана... это же новенькая форма, да и оклад побольше, чем я получаю. Ведь так же, Вернер?— Он давно уже усвоил, что в тех случаях, когда называет Хольца по имени, тот сразу добреет.

— О да, Федор! — воскликнул он и сейчас.— Я вижу, в вас просыпается настоящий эпикуреец. Еще немножко внимания. Сегодня вы отдыхаете, завтра весь день готовитесь к полету, послезавтра в десять ноль-ноль полет... а дальше почести.

— Послушайте, Вернер,— не переставая улыбаться, обратился к нему Нырко,— а нельзя ли мне сегодня ча-

сика на три уехать на прогулку в город. От нашей проходной до его центра каких-нибудь двадцать минут езды на трамвае. К ужину буду у себя дома, как штык.

Хольц сунул руки в карманы парадного кителя, игриво прищурился.

— О! Я вижу, господин эпикуреец хочет познакомиться с хорошенькой медхен или молоденькой фрау?

— Главным образом прогуляться по центру, но ваше предположение не исключается,— подтвердил Нырко.

Хольц склонил в знак одобрения лысеющую голову.

16

На конечной остановке Федор вышел из старенького желтого трамвайчика, расписанного готическими буквами. Лозунги призывали немцев любить фюрера, ожидать скорой победы и отдавать все возможное героям Восточного фронта. В этот послеобеденный час погода резко испортилась, над серыми домами и лабиринтами узко сплетающихся улочек висело низкое небо, ронявшее капли дождя. В самом центре городка на чахлой башенке мок облезлый железный петух, видимо относившийся к памятникам старины. Большие часы с заржавелыми стрелками на ратуше медленно отсчитали три удара.

Федор куда глаза глядят брел по центральной части города и думал: «Черт побери, кажется, мне наконец улыбнулась судьба за долгие месяцы плена. Но ведь если я сделаю это, они же вытопчут мое имя, сотрут всякое воспоминание обо мне в порошок, и никто из моих родных и близких— ни Лина, ни отец с матерью, ни Витька Балашов никогда не узнают о последних минутах жизни майора Красной Армии Федора Васильевича Нырко». Он остановился и сам себя строго спросил: «А для чего тебе это, собственно говоря, нужно? Тщеславие? Стремление, чтобы тебе отгрохали где-нибудь мемориальную доску?—И тотчас же ответил:—Нет. А честь командирская? Разве она не требует, чтобы о тебе, сыне земли советской, все знали? Разве не так? Какое же в этом тщеславие? Ведь если надо, готов я навечно остаться в звании неизвестного солдата. И все-таки как будет тоскливо оттого, что никто из близких тебе людей может никогда не узнать о том, что произойдет скоро. Если бы он имел возможность кому-нибудь довериться! Но разве легко сейчас, когда у немцев уже остыла боль от пора-

жения под Москвой и они готовятся к новому броску на восток, мечтая о выходе на Волгу, найти в этом тыловом городе единомышленника?» Вот на перекрестке стоят два почтенных поседевших чиновника в черных шляпах и черных плащах. У одного зонтик, и он что-то им чертит на асфальте. Зонтик, словно карандаш в руках полководца, намечающего на карте направление главного удара. Жесты у них широкие, уверенные. Они говорят громко, а голоса пропитаны радостью. Задержав шаг, Федор прислушался. Обладатель зонтика гортанным голосом восклицал: «О! Это колоссально! Провидение фюрера — это счастье немецкой нации. Теперь бросок к Волге отрежет юг Советской России от ее центральной части». Его себеседник, видимо далекий от столь высоких категорий, бубнил о посылке, которую ему прислал именно из тех районов племянник Отто. «Сало! — восклицал он.— Роскошное сало. Это нечто необыкновенное». Федор с тоской подумал: «Откройся одному из таких и через пятнадцать минут будешь в гестапо».

А вот быстро шагает, почти бежит, пожилая, очень худая женщина в ветхом пальто с грустным изможденным лицом. В руках корзинка, а в ней, по всей вероятности, скудный паек на большую полуголодную семью, где только старики и дети, потому что молодых сыновей давно уже забрал вермахт, погнал завоевывать жизненное пространство. Поделись с такой, и она в ужасе бросится, не оглядываясь, бежать, лишь бы поскорее исчезнуть из глаз опасного собеседника.

Незаметно для себя Федор свернул с площади, зашагал по гулкой мостовой вниз и оказался на набережной Эльбы. Ветер здесь был сильнее, дул порывами. У причала на вспененной волне покачивались веселенькие лодки и два черных моторных баркаса. Набережная была пустынна, лишь напротив причала стоял в старенькой короткой курточке из водоотталкивающей ткани парнишка лет двенадцати — четырнадцати и грустно глядел на противоположный берег. Нырко на всякий случай огляделся по сторонам, не послал ли за ним полковник Хольц соглядатая. Но на всей набережной не было больше никого. Подошедшему человеку в облачении немецкого офицера парнишка нисколько не удивился.

— Гутен таг,— приветствовал его Федор.

— Таг,— не оборачиваясь, ответил он.

— А почему ты пропустил слово «добрый»? — осведомился летчик.

— А потому что день этот для меня вовсе не добрый. Какой же он добрый, если дома жрать нечего?

— Разве отец перестал тебе посылать с Восточного фронта гостинцы? — язвительно осведомился Федор.

У мальчишки страдальчески искривилось лицо.

— Зачем вы об отце? — испуганно всхлипнул он.— Мой отец ни в чем не виноват. Его оправдали и освободили из концлагеря «Заксенхаузен»... а потом... потом он умер от туберкулеза.

— Прости,— растерялся Нырко,— я не мог и предполагать. Вот, оказывается, как. Мне тебя очень жалко.

Пристально вглядываясь в бедно одетого паренька, Федор с горечью подумал: «Вот ведь какие встречи возможны на фашистской земле. Значит, верно, что не все немцы кричат как оглашенные «хайль Гитлер». Такому, кажется, можно довериться. Тем более что лучшего варианта может не оказаться».

— Да, парень, судя по всему, ты действительно родным племянником рейхсмаршалу авиации Герингу не доводишься. Да и министру пропаганды Геббельсу тоже. На-ка лучше, прими от меня,— и, порывшись, вынул из кармана три бумажки по десять марок.

— Это мне? — задохнулся от удивления мальчишка.

— Тебе, тебе,— быстро подтвердил Федор,— а теперь внимательно слушай, потому что у нас мало времени. Не исключено, что ты когда-нибудь после войны попадешь в Москву или какой-либо другой русский город, тогда подойти к первому человеку, который покажется тебе заслуживающим доверия, попроси его разыскать летчика Балашова и скажи ему, что майор Нырко ушел из жизни несломленным. У меня один шанс из тысячи, но больше довериться некому. Ты сможешь прийти на это место послезавтра и постоять от двенадцати до часу?

— Смогу,— твердо ответил мальчик.

— И еще одно,— спокойным приказным тоном договорил Нырко.— Сейчас я уйду и в двух шагах от тебя положу на асфальт вот эту трубку. Возьми ее, но не сразу, а минуты через две после моего ухода, и если доведется тебе когда-нибудь увидеть летчика Балашова, передай ему.

17

Два «Мессершмитта-109», окрашенные в грязно-зеленый цвет, стояли на аэродроме рядом. На фюзеляже одного из них был нарисован желтый скрюченный удав, на другом — ничего. Машина с удавом принадлежала обер-лейтенанту Золлингу, вторая была закреплена за майором Нырко. Утро было ясное и тихое. После вчерашнего нудного, мелко моросящего дождя небо сияло голубизной, блестки солнца играли на фонарях самолетов, на жгуче-зеленой низкой траве только-только просохли последние капли росы.

Приближаясь к самолетной стоянке, Федор определил, в какую сторону ему придется взлетать. Когда его самолет побежит по широкой бетонированной полосе, синеватый гребешок леса, ограничивающий аэродром с юга, останется слева, а справа будет Эльба и городок, где побывал он вчера. Затем, задержав взгляд на «мессершмиттах», Федор не к месту подумал о том, что на земле они вовсе не кажутся такими тонкими, как на воздухе. Под Москвой, когда он еще был в боевом строю, их называли не иначе, как «худыми», «осами», «тонкими». Под легким летным кобинезоном с многочисленными застежками-«молниями» он чувствовал свое тело упругим, налитым силой. Было легко и спокойно от сознания принятого решения, и если он о чем лишь и жалел, то только том, что полетит на «мессершмитте» без боекомплекта. У коричневого трехэтажного здания, где помещались штабы учебных подразделений, а на самом верхнем этаже командный пункт, на широких бетонных плитах с десяток солдат, вооруженных метлами, наводили чистоту. Красная пожарная машина стояла рядом и должна была, по-видимому, потом полить эти плиты. «Рановато ты приехала,— усмехнулся Федор,— несколько позднее в тебе появится иная необходимость». Федор перебирал в памяти свои воздушные бои. С различным настроением начинал он их на фронте. Иногда спокойно и даже лениво, как бы желая усыпить противника, иногда стремительно, а иной раз и с такой необузданной яростью, что не мог обойтись без досадных, а порою опасных для жизни просчетов. Сейчас им владела тихая спокойная радость и отрешенность от всего окружающего. Он думал теперь только о том, как взлетит, наберет вы-

соту, как сделает первый разворот. По старой привычке планшетку с заложенной под целлулоид картой района полета он не стал надевать через плечо, как это делали летчики, а нес в руке, намотав на ладонь ремешок.

На стоянке озабоченно суетились авиамеханики, а обер-лейтенант Золлинг грозил им красным кулаком.

— Скоты негодные,— выругался он, ответив на приветствие.— Нырко, вы знаете, что произошло?

— Никак нет,— почтительно вытягиваясь, произнес Федор.

— На вашей машине выбивает масло, а они только сейчас спохватились. И это когда до вашего взлета меньше часа осталось! Если узнает об этом командир, разразится страшный скандал и мне несдобровать! Чего доброго, опять на Восточный фронт погонят. Послушайте, Нырко,— просительно заглянул ему в лицо Золлинг,— выручите из беды на этот раз. Я, разумеется, не имею права этого делать, но, как говорится, из двух бед выбирай наименьшую. Слетайте на моем самолете.

Федор даже вздрогнул от волнения. Не сразу взяв себя в руки, спросил:

— Но ведь он же у вас с боекомплектом и, стало быть, тяжелее в пилотировании.

Золлинг взял его за локоть, почтительно отвел в сторону, так, чтобы не слышали механики, заговорил:

— Это верно, что тяжелее, но, мой дорогой Федор, такой ас, как вы, и в этом случае справится с пилотажем. Ведь вы прекрасно знаете, они же умышленно оставляют вашу машину без боекомплекта, все боятся, что вы попытаетесь улизнуть к своим. Чудаки! Куда же отсюда можно улететь на «мессершмитте» с его радиусом действия. Фантастика.— Он внимательно поглядел на притихшего Нырко и, щуря и без того узкие глаза, спросил: — Ну так что? Идет?

— Чего не сделаешь ради дружбы, Вилли!— с напускной ворчливостью произнес Нырко.— По рукам!

— О-ля-ля! — воскликнул торжествующе обер-лейтенант.— Летите, а за мной дело не станет. В знак благодарности выставлю вечером коньяк.

— Нет, Вилли,— возразил с взволнованной приподнятостью Нырко.— Уж если кому и положено сегодня выставлять коньяк, так это мне. Скажу по большому секрету, полковник Хольц сообщил, что мне сегодня после

этого праздника присвоят офицерское звание. И знаете что? Меня, возможно, уволокут на какой-нибудь банкет, а чтобы слово свое я сдержал, вот вам марки для расплаты. Закажите бутылку и, если даже меня с вами вечером не будет, выпейте за мое здоровье!

Золлинг с удовольствием принял от Нырко пачку смятых марок и сунул в свой карман. Он посмотрел на солдатские ботинки Федора из эрзац-кожи и, желая быть еще добрее, сказал:

— Между прочим, господин Федор, я узнал от верного человека, что во вторник в нашем магазине для офицеров-летчиков будут продаваться итальянские ботинки из настоящей кожи. Постараюсь добыть и для вас. Говорят, элегантные и такие крепкие, что до самой смерти хватит.

Федор вдруг звонко рассмеялся.

— Спасибо, Вилли, вы настоящий друг. Но мне и этих ботинок до самой смерти хватит.

Обер-лейтенант не успел ничего ответить. Оба увидели, как поперек всего летного поля к ним несется бежевый «мерседес-бенц». Шофер лихо затормозил у самой самолетной стоянки. Распахнулась дверца, из машины молодцевато выпрыгнул высокий худой Хольц в хорошо пригнанной парадной форме, дружески схватил майора Нырко за плечи и крепко встряхнул:

— Я рад, что у вас такой чудесный бравый вид, господин Нырко. Надеюсь, что с завтрашнего дня я буду говорить вам уже не господин Нырко, а капитан Нырко. Высокие гости уже прибыли. Вы видели, как заполнена трибуна?

Федор обратил свой взгляд на здание штаба, увидел, как развевается над тентом большой флаг со свастикой, как в белых халатиках снуют официанты с подносами, на которых бутылки с лимонадом и пивом, увидел густо заполненные ряды скамеек, потом опустил глаза ниже, отметил с десяток синих, коричневых и черных «оппелей», «хорхов» и «мерседесов» у входа в штаб, замерших на тех самых бетонных плитах, с которых совсем недавно фашистские солдаты сметали пыль.

— Вижу,— ответил он громко.

— Вот и хорошо,— отозвался Хольц.— Я надеюсь, вы покажете сегодня пилотаж, достойный такого аса, как вы!

— Покажу, дорогой Вернер,— фамильярно произнес Нырко. Хольц внимательно вгляделся в его успевшее загореть лицо, остался доволен сверкающими глазами. А Федор закончил: — Обязательно покажу самый лучший пилотаж в своей жизни. А вечером выпьем коньяк по этому поводу!

Вернер прикоснулся пальцами к козырьку своей форменной фуражки с высокой тульей, так, словно это была шляпа.

— О! — воскликнул он одобрительно.— Я вижу, в вас опять просыпается настоящий эпикуреец. Имейте в виду, выруливаете после второй зеленой ракеты, взлет после третьей. Все команды, разумеется, будут продублированы и по радио. Желаю успеха! Хайль фюрер! — И он высоко выбросил вперед правую руку.

— Хайль фюрер! — первый раз в своей жизни гаркнул майор Нырко и тоже выбросил вперед правую руку. Хлопнула бежевая дверца, и «мерседес» умчался.

18

Тонкий винт «мессершмитта» на малых оборотах молотил синеватый воздух. С конца взлетной полосы Нырко тревожно поглядывал на трибуну, заполненную приехавшими на праздник средними и высокими чинами фашистских люфтваффе. Все происходило по плану. Уже взметнулись над летным полем и рассыпались в вышине две сигнальные ракеты, после которых надо было выруливать на старт. Сейчас он ожидал третью, но ожидал беспокойно, ощущая, как нарастает волнение. «Летчики самые наблюдательные люди,— думал Нырко.— Черт бы побрал этого тупицу Золлинга, который, чтобы хоть чем-нибудь походить на подлинного аса, нарисовал на фюзеляже своего самолета этого рахитика-питона. Все знают, что на моей машине его нет. Вот и выходит — с одной стороны, такой неожиданный подарок в виде «мессершмитта» с боекомплектом, а с другой — опасность, что эту подмену обнаружат и немедленно прикажут прекратить взлет». От сильного напряжения пот выступил на загорелом обветренном его лбу. Минутная стрелка на циферблате самолетных часов будто бы омертвела. Без трех минут десять, без двух и вот, наконец, без одной. Вздох

облегчения приподнял под брезентовыми привязными ремнями его широкие плечи.

— Ахтунг, ахтунг,— услышал он в наушниках и увидел, что третья, последняя из всех сигнальных ракет разорвалась над этой чужой для него землей, которую он, простой открытый парень Федор Нырко, рожденный русской матерью и воспитанный далекой отсюда Советской Россией, мечтал теперь поскорее покинуть. Плиты взлетной полосы все быстрее и быстрее помчались навстречу и уже слились в единую серую ленту, бросившуюся под покрышки самолетного шасси, и даже тонкий звон чужого мотора показался ему в эти мгновения предвестником избавления. Сделав первый разворот, он заложил крутой вираж и повел машину над сверкающей от солнца поверхностью Эльбы, глазами отыскивая то место на набережной, куда обещал прийти вчерашний парень. Увидев его зябкую одинокую фигурку, Нырко покачал свою машину с крыла на крыло и помахал, приветствуя рукой в кожаной краге. Потом, сделав новый разворот, опять промчался над парнем и набрал высоту как раз в тот момент, когда вдалеке от него, но точно на линии маршрута распылились три зенитных разрыва. И сразу же в наушниках он услышал суровый повелительный голос, назвавший позывной его самолета:

— Немедленно прекратить полет. Немедленно на посадку! — потребовал невидимый отсюда руководитель полетов, и Федор удивился тому спокойствию, с каким он отметил: «Значит, обнаружили подмену машин и станут сейчас охотиться».

Чтобы выиграть хотя бы какое-то время, он с подчеркнутой исполнительностью ответил по передатчику:

— Вас понял. Команду выполняю.

«Мессершмитт» с желтым скрюченным питоном на борту стремительно набрал высоту, но, вместо того чтобы зайти на полосу, метнулся в сторону леса, снизился над самыми верхушками темных остроголовых елей и поперек аэродрома на бреющем ринулся точно к трибуне, заполненной гостями. В смотровом стекле, расчерченном сеткой прицела, Федор видел фантастически быстро вырастающие очертания верхнего этажа и сооруженной над ним трибуны, фашистский флаг, полоскавшийся на ветру, фигурки оцепеневших людей, еще не верящих в случившееся. На той дистанции, что считалась наилуч-

шей для поражения наземных целей с «Мессершмитта-109», он нажал на гашетки, и желтые трассы бичами ударили по трибуне, сметая на своем пути все живое. Вспыхнул легкий матерчатый тент, и охваченная паникой толпа оказалась как бы раздетой. Коротки мгновения атаки, но и тогда успевает врезаться в память раз и навсегда картина разгрома. Федор увидел, как падают одни и в ужасе мечутся по крыше штаба другие, за ревом мотора он не смог только услышать стоны и крики. Чуть потянув на себя ручку, он словно бы перепрыгнул здание и снова развернулся для атаки. Голубое небо было уже густо запятнано разрывами, но поразить его самолет на высоте бреющего полета было не так просто. Радиостанция еще работала, в наушниках потрескивал эфир. Ни страха, ни оцепенения Федор не ощущал, одну только захватывающую радость атаки, рождавшуюся, когда летчик был в состоянии видеть ее разрушительные последствия.

— Слушайте все радиостанции мира! — закричал Федор.— Я первый летчик Страны Советов, который бьет фашистов в их глубоком тылу на их территории!

Снова верхний этаж штабного здания стремительно набегал на нос, и видел теперь Федор упавший вниз тент, сбитый его снарядами фашистский флаг и между поваленными скамейками бессильно распростертые тела. И он еще раз ударил из всех огневых точек по тем, кто остался в живых. Бил до тех пор, пока не оборвались трассы. Набирая высоту, проносясь через целый клубок зенитных разрывов, Федор понял, что боеприпасов уже нет и осталось последнее, то, ради чего затевал он весь этот полет. Километрах в двух от здания штаба, на восточной окраине аэродрома, заваленного сломанными ветками хвои, возвышалось над землей приземистое здание бомбового склада. Федор выровнял на высоте «мессершмитт» и, совместив нос с центром бетонного колпака бомбохранилища, отдал ручку от себя. Он пикировал с самым крутым углом. Ветер свистел за фонарем кабины, словно прощался навсегда с летчиком. Близкий разрыв зенитного снаряда встряхнул машину, вздыбил обшивку на правом крыле, и тотчас же побежали по нему ровные султанчики огня. «Апофеоз борьбы— это самопожертвование! — подумал Федор.— Меня никто не осудит. Я ухожу с чистой душой и незапятнанной совестью!»

Хвост огня и дыма широким конусом тянулся за его истребителем. «Это меня зажгло,— устало прошептал майор пересохшими губами.— Впрочем, быть может, это и лучше, ведь бомбы наверняка взорвутся, если я упаду на них таким факелом».

Контуры леса, казавшиеся с высоты не так уж широко очерченными, все расширялись и расширялись, щетинились острыми верхушками сосен и елей. Оцепеневшие от напряжения глаза Федора отчетливо видели теперь каждую тропку и маленькие фигурки часовых, торопливо разбегавшихся от входа. Пальцы майора Нырко все сильнее и сильнее сжимали рукоятку ручки управления, будто в это усилие стремились вложить все нервное напряжение и всю отчаянную решимость летчика. Неожиданно белый столб пламени, чистого, ясного, встал перед глазами Федора, и он подумал: неужели такая бывает смерть. Из белого пламени явственно надвинулось на него широкое лицо интенданта Птицына с решительно сомкнутыми бровями и донесся его суровый голос: «Бейте фашистов, Федор Васильевич, едят меня мухи с комарами!»

Погибший Сережа Плотников и живой Виктор Балашов стояли в обнимку и, печально кивая головами, произносили вместе: «Ты молодец, Федор, надо только так!»

Мать держалась обеими руками за острые доски частокола, боясь от горя упасть, всеми силами боролась с рыданиями.

«Ты иначе не мог, сыночек! Ты всегда до конца был честным!» — шептала она.

Потом он увидел Лину, ее сведенные болью и ожесточением глаза, и в них тоже ни единой слезинки. Голос ее был таким же мягким и нежным, как и тогда, когда она говорила о любви.

«Правильно, Федя!» — шепотом произнесла она, и белый свет внезапно погас.

Оглушительного взрыва, потрясшего землю на десятки километров окрест, бывший командир сорок третьего истребительного авиационного полка, майор Федор Васильевич Нырко так и не услыхал...

19

Жаркое летнее солнце врывалось со стороны Красной площади в распахнутое окно, и от этого в скромном тес-

ном номере у Бурова было душно. Кроме Бурова и пожилого инженера Гределя, за столом еще сидел грузный, поседевший генерал-лейтенант авиации в кителе, отяжелевшем от множества орденов и медалей, над которыми блестела пятиконечная Золотая Звезда, с грубыми чертами лица и шрамом, косо проложенным на правой щеке от мочки крупного уха до самого подбородка с крупной упрямой челюстью. В комнате висела напряженная тишина. Пауль Гредель только что закончил свой рассказ, и все трое долго молчали. Он первым нарушил молчание, откинув назад светлые мягкие волосы:

— Какая досада, совсем забыл. Когда я впервые рассказал товарищу Бурову всю эту историю, я позабыл упомянуть о двух важных деталях. После взрыва на аэродроме через два дня по нашему городу на кладбище провезли тридцать два гроба с погибшими фашистами. А двенадцать гробов с высокими генералами и офицерами самолетом отправили в Берлин. Это одно обстоятельство. А второе, и самое важное, это то, что при нашей встрече, попросив меня разыскать во что бы то ни стало летчика Виктора Балашова, ваш пилот, переодетый в форму немецкого люфтваффе, оставил мне эту вот трубку.

Инженер полез в карман и медленно извлек оттуда старую, модную в довоенное время, чуть изогнутую трубку с потускневшим мундштуком и коварно ухмыляющимся бородатым чертом — Мефистофелем. Генерал Балашов взял ее крупными жесткими пальцами, долго и напряженно рассматривал. Глаза его стали теплыми и печальными, а голос дрогнул, когда он бережно отодвинул от себя облупившегося от времени Мефистофеля.

— Да,— сказал он сухо и горько свел над переносьем седые лохматые брови.— Это его трубка... Федина.

— Я очень рад, что восстановилась ясность,— проговорил в эту минуту Пауль Гредель.— Ведь около тридцати лет майор Федор Нырко, вероятно, числился у вас без вести пропавшим. А без вести пропавшим может быть и трус и герой.

Генерал Балашов медленно поднял голову:

— Правильно отметили. Но мы год от года узнаем

о судьбах тех, кто числится пропавшим без вести. У нас никто не забыт и ничто не забыто. Спасибо вам. Правда о моем друге и командире Феде Нырко станет теперь правдой для всех наших людей.— Генерал помолчал, потом, громко и тяжело вздохнув, прибавил: — Он здорово дрался и пилотировал... наш Федя. В особенности на высоте. Впрочем, это не самое главное. Главное в том, что он всегда был на высоте сам... на высоте человеческой!

Содержание

Геннадий Александрович
Семенихин

НРАВОУЧИТЕЛЬНЫЕ
СЮЖЕТЫ
Рассказы, повесть

Редактор **Ю. Бондарев**
Художник **К. Остольский**
Художественный редактор **Н. Егоров**
Технический редактор **Л. Анашкина**
Корректоры **Т. Люборец, Л. Антонова**

ИБ № 1416. Сдано в набор 25.10.78. Подписано к печати 17.05.79. А10502. Формат 84×108$^{1}/_{32}$. Бумага тип. № 2. Гарнитура литерат. Печать высокая. Усл. печ. л. 15,12. Уч.-изд. л. 15,31. Тираж 100 000 экз. Заказ № 1497. Цена 1 р. 30 к.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР
121351, Москва, Г-351, Ярцевская, 4

Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Просим Вас отзывы о книге, ее содержании, художественном оформлении и полиграфическом исполнении, направлять по адресу:

121351, Москва, Г-351, Ярцевская, 4
Издательство «Современник»







1р. 30 к.

СОВРЕМЕННИК


Геннадий Семенихин
НРАВОУЧИТЕЛЬНЫЕ
СЮЖЕТЫ